

43188
ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА

2143
ЛИЛИ БРАУН

25
ТОМ ПЕРВЫЙ

ПИСЬМА
МАРКИЗЫ

ПЕТЕРБУРГ
MCMXIX

6N $\frac{43}{27}$



ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА

ГЕРМАНИЯ

ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ

ЛИЛИ БРАУН

LILY BRAUN

1865 — 1916

ПОД РЕДАКЦИЕЙ
ВЛАД. АЗОВА



ИЗДАТЕЛЬСТВО „ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА“
при Народном Комиссариате по Просвещению

W 43/27
А
В С Е М И Р Н А Я Л И Т Е Р А Т У Р А

Л И Л И Б Р А У Н

Т О М П Е Р В Ы Й

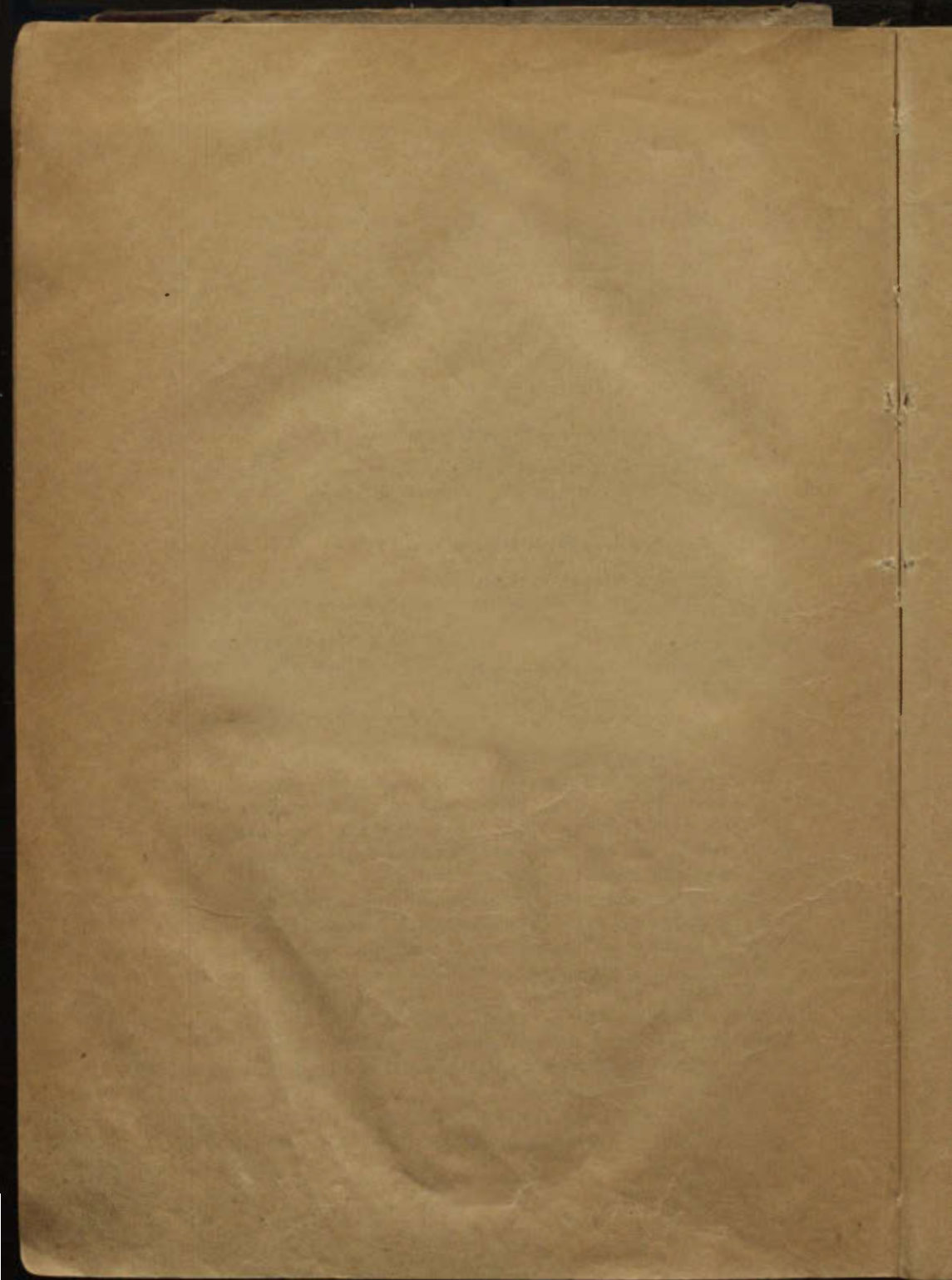
П И С Ь М А М А Р К И З Ы

П Е Р Е В О Д
Э. К. П И М Е Н О В О Й
П Р Е Д И С Л О В И Е
Р. Г Р И Г О Р Ь Е В А



XIX-11025 Y

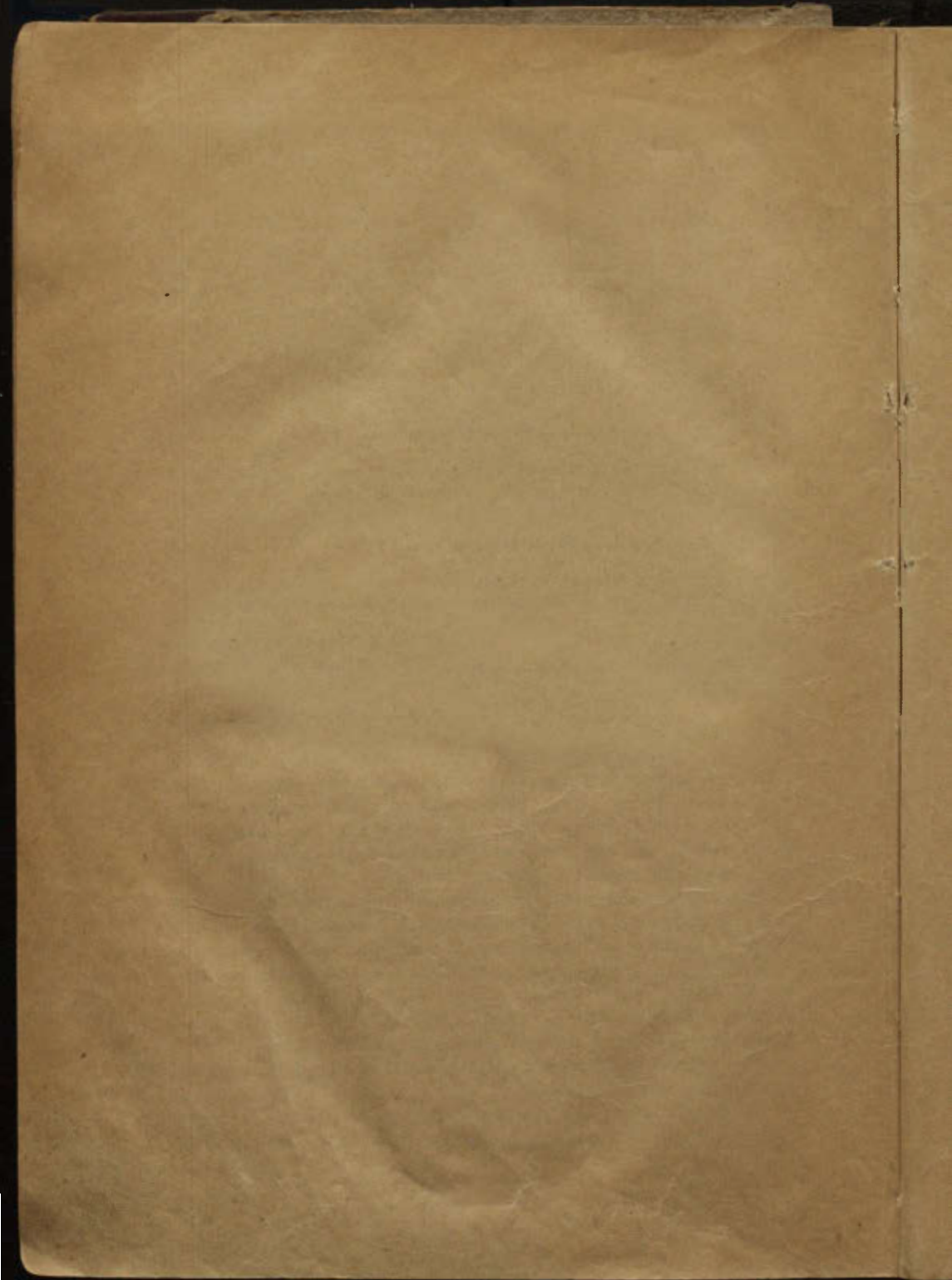
А“
И Ю
П Е Т Е Р Б У Р Г М С М Х І Х



ПИСЬМА МАРКИЗЫ

DIE LIEBESBRIEFE DER MARQUISE

1912.



ЛИЛИ БРАУН.

(Критико-биографический очерк).

Есть в духовном облике и жизненных этапах, пройденных Лили Браун, нечто, роднящее ее с героической плеядой русских революционерок-народниц, генеральских и сенаторских дочерей, „кающихся дворянок“, выплачивающих „долг народу“.

Правда, в биографии Лили Браун нет ни смертных приговоров, ни тюрем, ни ссылок, нет конспиративных и эмигрантских мытарств, словом, всего того ореола мученичества, который окружает в прошлом русскую женщину-революционерку.

И все же Лили Браун—„из того же теста“, явление того же психологического типа, получившего лишь в иных социально-политических и бытовых условиях соответственно другую „формулировку“ и выражение.

Можно смело утверждать, что в неомраченной никакими полицейскими катастрофами жизни немецкой писательницы проявилось мужество духа, настойчивости воли, идейного бесстрашия, словом, всего того, что именуется „героизмом“—в мере, отнюдь не меньшей, чем у славного поколения наших „девушек“, стоявших у рокового „порога“.

Ибо нельзя забывать, что Германия последних двух десятилетий прошлого века, Германия эпохи закона против социалистов, являла собою страну столь отчетливо сложившихся социальных группировок, столь враждебно обособившихся классов, что переход „с одной стороны баррикады“ по другую требовал неизмеримо более напряженного преодоления моральных и бытовых преград, чем в рыхлой и аморфной России с широко распространенной вплоть до аристократических кругов противоправительственной фрондой.

Дочь разорившегося, но знатного прусского генерала, светская красавица, блиставшая на придворных балах, внучка „не-

законной" дочери французского короля, едва ли не невеста одного из германских принцев — и впоследствии социал-демократка, митинговая ораторша, жена социалиста и, к тому еще, еврей!

Кто знает Германию, хотя бы по наслышке, кто имеет хоть отдаленное представление о том, что такое прусское юнкерство с его окостеневшим кастовым высокомерием, — тот легко представит себе всю революционность, всю глубину этого „падения“, бесповоротно отрезавшего Лили Браун от родной среды.

Следя за этим процессом по ее замечательным „Мемуарам одной социалистки“, — являющимся, несмотря на многие свои недостатки, одним из выдающихся автобиографических произведений, как по художественным достоинствам, так и по мастерству психологического самоанализа, — мы не можем вырвать из общей цепи пестрых и перекрещивающихся явлений жизни Л. Браун ни одного фатального звена, от которого бы можно истодить, как от отправного поворотного пункта, предопределившего столь крутую и резкую „переоценку ценностей“.

Исключительная даровитость и самостоятельность натуры, не особенно глубокий, но тонкий и блестящий ум, помогли Л. Браун больше всего эмансипироваться от суровых велений родной социальной среды, разглядеть всю ее мишурность и удручающую духовную нищету.

В своих „Мемуарах“ Лили Браун вспоминает, как ее в раннем детстве возили на елку ко двору кронпринца:

„Шар, полученный мною с одной такой дворцовой елки, до сих пор отражающий в себе ежегодно огни наших елок, — вот все, что у меня осталось на память от этих праздников. Тогда я думала, что он из чистого серебра. Но он просто стеклянный и давно уже треснул“.

Только „тогда“, только 7—8 летним ребенком, принимала она стекло за чистое серебро, но уже подростком ее юный строптивый дух раздражался бунтами против всяких канонов и установлений окружающей среды.

Толчки, направившие Лили Браун из блеска и великолепия „большого света“ на торный путь служения рабочему классу, — исходили изнутри, из глубин ее столь мятежной, столь страстной, и не понемецки неуравновешенной души. Они питались и вечной неудовлетворенностью всегда идущего интеллекта, и несомненным честолюбием, желанием выдвинуться, и интимными драмами, которые неоднократно повторялись в жизни этой ори-

гинальнейшей женщины, наследственно оделенной тевтонской волей и гальскою чувственностью.

Конечно, были и длительные, внешние влияния и отдельные эпизоды, регулировавшие этот „уход влево“, способствовавшие освобождению от цепких пут кровного быта.

Обильный посев гуманитарных мыслей и чувствований был заронен в молодую душу бабушкой,—прекрасной, умной и человечной женщиной,—единственно о ком холодноватая к людям Лили Браун неизменно вспоминает с горячеей и любовной нежностью. Благоговорно, но не столь глубоко сказались уроки домашнего учителя Гуго Майера. Неизгладимым огнем опалили ее и первые прочитанные „запретные“ книги,—среди них, прежде всего, „Сумасшедший Гофман“.

Ничего исключительного, чрезвычайного, „катастрофического“, что выделило бы воспитание этой детской души, что могло бы пролить свет на историю превращения аристократки в деятельницу социал-демократического движения.

В „Мемуарах“ упоминается лишь один эпизод, любопытный именно с этой стороны: Лили Браун рассказывает, как она впервые реально столкнулась с „социальным вопросом“.

Ей было 12 лет. Семья жила в Познани, польские кварталы которой, заселенные беднотой, сильно пострадали от разлива Варты. Дамы-патронессы принялись за излюбленное занятие: устройство благотворительных спектаклей. Их репетиции посещала девочка и тут впервые узнала о „несчастных“:

— „Бедность была для меня до тех пор совершенно неопределенным понятием. Я могла плакать над страданиями голодающих рабов Рима во времена Нерона, над воплями парижских женщин, требовавших хлеба в начале великой революции, или над нищетой силезских ткачей. Но ведь все это было давно, а теперь, во времена могущества германской империи, под скипетром доброго старого короля, —какая же теперь может быть бедность? Напротив нас, у дверей польской харчевни, изо дня в день сидели пьяные, напивались даже женщины и спяна попадали в канавы, но это возбуждало во мне только отвращение, а не жалость. Ведь это порок, а не нищета... И я решила отправиться на поиски бедности, вся трепеща от страха, что еще усиливало романтичность моего предприятия. Перед глазами у меня стояли необычайные приключения героев рассказов Гофмана“.

Для этого девочка выбрала время урока музыки, бывшего

сий в тягость, и в одно „серое, холодное, мартовское утро“ очутилась на залитых водою „узких, темных улицах“. Впервые увиденное ею зрелище: грязь, полуодетые ребятишки, жалкие хибарки, переполненные обитателями в лохмотьях, брань, проклятия, пьяный, размахивавший бутылкой, — все это заставило ее содрогнуться. — „Впечатление ужаса усугубила печальная процессия со священником и позванивавшим мальчиком-клирошником во главе, за которыми шли „мужчина и женщина“, оба худые, согбенные. Желтые, как солома, волосы женщины спутанными прядями унадали ей на распухшее от слез лицо; серые, костлявые пальцы крепко цеплялись за ручку узенького, черненького гробика, который она несла вместе с мужем... Молча, как и они, следовала за ними толпа — длинной процессией нищеты... Слышно было только хлопанье воды под ногами идущих. Я вздрогнула, словно очнувшись от кошмара... Мне надо было пройти мимо растворенных настежь дверей дома, откуда только что вынесли гроб. Там внутри было совершенно темно, но я видела, как что-то поднялось с пола и уставилось на меня огромными пустыми глазами—это была—Нищета. Я бежала так скоро, как только несли меня мои дрожащие ноги... На другой день я уже лежала в бреду и никого не узнавала“.

Несколько недель провела девочка между жизнью и смертью, но долгие годы она не могла без ужаса вспомнить душившие ее во время болезни кошмары: „Я видела собор, но вместо священника пред алтарем служил скелет и чьи-то грязные костлявые руки толкали меня на пол, в бездонную черную грязь; я бежала, задыхаясь, по желтой воде, а за мной бежали целые толпы мужчин и женщин, налитые кровью глаза которых сверкали голодом, опьянением и жадной убийства“.

Мы остановились на этом происшествии, ибо пред нами единственный яркий эпизод, который способен был оказать некоторое влияние на формировавшуюся душу подростка.

В автобиографии Л. Браун мы не встречаем других явлений подобного рода, которые могли бы служить стимулами ее нового „духообразования“.

„Мемуары“ вполне убеждают нас в том, что „обращение“ Лили Браун не носило характера внезапной катастрофы, обусловленной неожиданным, извне пришедшим прозрением. Это был длительный и постепенный процесс. Уже взрослой, вполне критически относившейся к окружающему миру, она была

еще довольно враждебна к социал-демократии, к которой примкнула лишь пройдя ряд предварительных этапов — через феминизм и „Общество Этической Культуры“, основанное ее первым мужем профессором Гигинцем. (История ее платонического, чисто духовного брака с прикованным к креслу калекой бросает новый, неожиданный свет на яркую личность этой женщины, много требовавшей от жизни, но и многим умевшей жертвовать). Труды ее — печатные и выступления на съездах и собраниях — в области женского вопроса, даже в эпоху, когда Лили Браун еще официально не принадлежала к социал-демократической партии, были густо окрашены социальными и социалистическими тонами. (Главные ее работы: „Женский вопрос, его историческое развитие и экономическое значение“, „Женский труд и домашнее хозяйство“, „Женское движение в Англии и Германии“).

Второй брак — с Генрихом Брауном, основателем известного „Brauns Archiv“, впоследствии депутатом рейхстага, — еще более приблизил ее к рядам рабочей партии, вступление в которую, наконец, и состоялось по весьма характерным для Лили Браун мотивам: в это время „с высоты трона“ молодым императором Вильгельмом Вторым был поднят крестовый поход против „не имеющих отечества“ смутьянов.

Лили Браун, открыто симпатизировавшая социал-демократии, считала своим нравственным долгом официально вступить в ее ряды именно в это, исключительно тяжелое, напомиравшее годы „закона против социалистов“, время.

Второй том своих „Мемуаров“ („Годы борьбы“) она посвящает изображению своей партийной деятельности. Вместе с мужем, она примкнула к ревизионистскому крылу партии. О радикалах, даже о Бебеле, она пишет с худо скрываемым раздражением и пристрастностью. Бунтарка по натуре, она не выносила дисциплины, подвергалась жестокой трепке за ее нарушения, беспрерывно переживала столкновения и всякие неприятные инциденты. В тоне ее записок все чаще и больше проступает яд и горечь. Ее тяготят „партийные инквизиторы“, стесняющие „свободу личности“.

Некоторым ее обличениям нельзя отказать в объективности: элементы мещанского духа, во многом пропитавшего быт германской социал-демократии, вскрыты ею, порой, с беспощадной правдивостью.

Но есть нечто во всех ее писаниях о партии, неизменно оставляющее неприятный осадок какого-то уязвленного самолюбия и поверхностного „разочарования“ чужого, стороннего человека. Ревизионистка, она не щадит нередко и своих единомышленников,—ибо ее „ревизионизм“ ничего общего не имеет с тем органически сложившимся в рабочем классе течением, которое отразило мирную эпоху легалистического „врастания“ социальных реформ в высоко развитое буржуазное общество и питалось расцветом молодой германской промышленности.

„Ревизионизм“ Лили Браун исходил из совершенно иных источников. Кровной связи с рабочим классом она не ощущала. Социализм являлся для нее „материализованной формой“ „нищенской любви к дальнему“: любви к „ближнему“, „к меньшему брату“, как выражались у нас прежде, у нее этого чувства не было.

Во II томе „Мемуаров“ Лили Браун передает любопытный разговор, который она имела (по поводу какой-то партийной дразги) с известным ревизионистом Ауером.

— Примите вы от старика совет,—говорил он ей:—кто стоит на вершине, тому должны внушать лишь жалость те, кто снизу, в поте лица трудится, бросая в него камнями. Он должен смотреть поверх их голов. И не политик тот, кто не умеет соблюдать дистанцию.

— Соблюдать дистанцию — значит, стоять поодаль, в стороне;—ответила я с легким вздохом:—а я люблю людей и хотела бы, чтобы они любили меня.

Увы, то была одна лишь казенная фраза, ибо безо всякого протеста и ответа оставила Л. Браун реплику Ауера.

— Вы любите людей?—этих людей? Вы шутите! Если бы мы их любили, они остались бы такими же, как они есть. А мы хотим их покорить и перевоспитать насильно, при помощи крупной воспитательной меры,—нового общественного строя—следовательно, мы их ненавидим.

И Лили Браун, „любящая людей“, меланхолически заносит на бумагу:

„Я покачала головой. Выранду ли это значит стоять на высокой башне? Выйду ли я когда-нибудь на эту башню—захочу ли взойти?..“

Эти строки, если и не выражают полной солидарности со взглядами, вкладываемыми ею в уста Ауера; если и не было в

Лили Браун „ненависти“ к „стоящим внизу“, — то отчужденность, разглядывание со стороны или сверху было ей присуще на всем протяжении ее социал-демократической работы.

Соприкосновение с рабочей средой вызывало в ней гримасы пренебрежения и недоверия.

Ее шокировала резкая и лишенная тонкости прямолинейность передовых пролетариев и пролетарок; ее оскорбляло сознание, что „там“ ее „обращение“, стоившее ей столь тяжелых жертв и мучительных борений не дооценивается, не встречает восторженного энтузиазма, а напротив, расхолаживает и вызывает скептическое к себе отношение.

Все эти типично интеллигентские настроения сразу обнаряживают человека с психикой органически чуждой и в существе враждебной живому, „всамделишному“ рабочему классу и его движению.

Нам думается, что в Лили Браун классически отразился наиболее совершенный, наиболее высокий тип того общественного явления, который получил в Германии удачное имя: „Mittläufer“ („попутчик“).

Только под конец своей жизни Лили Браун получила полное моральное удовлетворение от пребывания в социал-демократической партии: она целиком поддерживала ту роковую „линию“, которую избрало шейдемановское большинство 4-го августа 1914 года.

К счастью, ей не довелось увидеть своими глазами плоды этой политики. Лили Браун скончалась в 1916 году, пятидесяти двух лет от роду.

Если „Мемуары социалистки“ имеют, прежде всего, ценность „человеческого документа“, свидетельствующего о богатой и яркой душевной жизни человека современной нам эпохи; если труды в области женского вопроса выдвигают Лили Браун как серьезную и вдумчивую исследовательницу социальных отношений, — то „Письма Маркизы“ („Die Liebesbriefe der Marquise“) с исключительно сконцентрированной силой раскрывают нам в этой многогранной женщине художника и историка.

Эпистолярная форма художественного творчества — наименее благодарная, наиболее отталкивающая среднего читателя. Нужно исключительное мастерство, чтобы заставить в „Письмах“ ощу-

тить трепет и теплоту жизни, вызвать живые образы, заразить волнением, заставляющим нетерпеливо переворачивать листы книги.

Мы затруднились бы назвать другое произведение этого типа во всей новейшей европейской литературе, которое так совершенно, так блестяще справилось бы со всеми трудностями, — как „Письма“ Лили Браун.

Первое „письмо“ датировано 16 июня 1771 года, последнее (не считая эпилога) — 6 августа 1789 года. Пред нами, таким образом, период, непосредственно предшествовавший Великой французской революции.

К очаровательной Дельфине Монжуа стекаются послания ее возлюбленных и воздыхателей. Какое разнообразие типов, какое богатство красок! Как преломляются взгляды, интересы, настроения этой незабываемой эпохи!

Среди корреспондентов мы встречаем рыцарственного принца Монбельяра; легкомысленного блестящего графа Шеврез, — это типичное дитя отмирающего века придворной галантности; идеалиста немца фон-Альтенау, в котором уже предчувствуется высокий культурный дух жироидистских салонов; интригана и дипломата в кардинальской мантии — принца Луи Рогана; сверкающего Бомарше, бессмертного творца „Фигаро“; сына уличной девки и аристократа Люсьена Гальяра, — несомненного якобинца в будущем.

Личные драмы, любовная лирика, изящная игривость развратной эпохи, интимные трагедии сердца, муки безрадостного материнства прорезываются всплесками исторических молний, при свете которых различаются роковые и таинственные фигуры Марии Антуанеты, Людовика XVI, Тюрга, Неккера, Лафайета, Калиостро.

Ничего сусального, фальшиного, мелодраматического во вкусе Дюма. Поражает не только гибкий, богатый оттенками стиль произведения, одновременно переносящий нас и в атмосферу XVIII столетия, и передающий все индивидуальные особенности героев, — но и глубоко научная историческая правдивость.

„Отдельные факты, черты быта, малейшие подробности так точно отвечают исторической действительности, что предполагают очень тщательное изучение эпохи“.

Эта рекомендация исходит от такого авторитетного и солид-

ного исторического издания, как „Голос Минувшего“, впервые опубликовавшего произведение Лили Браун в России.

Редакция журнала высказывает даже предположение, что быть может, „пожелтевшая связка писем“, о которой говорит Лили Браун во вступительных строках „не целиком продукт вымысла“. Указывая на то, что бабушка писательницы—незаконная дочь короля и эльзаска родом, и что героиня „Писем“—тоже эльзаска,—редакция из этого сопоставления делает такой вывод:

„Кто знает, быть может, в какомнибудь потайном ящике бабушкиного секретера и хранились эти листки, письма обожаемых, действительно существовавшей, действительно блиставшей эльзасской красавицы“.

Гипотеза вполне законная: идею об историческом романе в письмах, действительно, могла бы дать счастливая находка начки пожелтевших листков.

Но кажется совершенно невероятным, чтобы эти реально существовавшие письма могли представлять собой такую полную, всестороннюю и исчерпывающую картину эпохи, какую мы встречаем у Лили Браун, чтобы в них, по небывало счастливому совпадению, отразились настроения и чаяния различнейших общественных классов—от разнеженной придворной клики до пауперизирующего крестьянства, в глазах которого уже вновь зажигались злоеющие огни жакерий.

Нет надобности строить догадки и предположения: „Письма маркизы“ не архивный документ, а крупное художественное произведение, в котором видна умелая и творческая рука мастера, тонкий и культурный ум ученого, вполне „владеющего предметом“, и нервное горячее сердце женщины, могучим инстинктом постигающей тайны Эроса.

Раф. Григорьев.



ПИСЬМА МАРКИЗЫ.

Когда старая графиня Лаваль, удобно развалившись в своем глубоком кресле, заговаривала о Дельфине Монжуа, причем на ее тонких губах появлялась веселая, чувственная улыбка, ее строгая дочь, многозначительно взглянув на собравшуюся в комнате молодежь, неизменно восклицала тоном предостережения: «Но, мама!»...

Графиня умолкала, и на лице ее, цвета слоновой кости, появлялся легкий румянец. Было ли то выражением досады или смущения—неизвестно, но только всю остальную часть вечера она бывала необыкновенно молчалива.

Когда же одна из ее внучек приходила к ней и заставляла ее одну, ее не приходилось долго упрашивать. Она охотно рассказывала слушавшей ее с жадностью внучке о Дельфине, обладавшей чудесным свойством приховывать к себе все сердца. Игривый гений Рококо, полу-Амур, полу-Фавн, напевал свои пастушеские песни над ее колыбелью, героическая эпоха Наполеона наполняла своим шумом ее старость. Вдруг ее благоухающей кудрявой головки бушевал ураган 89-го года, а гроза июльской революции коснулась уже ее седых волос. Скользящая поступь менуэта, шелест шелковых платьев, стук каблучков, звон набата, гром пушек, а в промежутках—топот, тихий смех, сдержанное рыдание,—вот была ее история!

В одну из зим, когда мягкий глубокий снег, окружавший ее замок у подножия Вогез, заглушал все звуки, ее жизнь тихо угасла.

— Незадолго до своей смерти,—рассказывала графиня Лаваль,—Дельфина еще раз тщательно занялась своим

туалетом. Мне показалось даже, что она слегка нарумянила щеки и чуть-чуть подвела свои красивые черные глаза. «Мой последний гость,—сказала она,—не должен иметь повода жаловаться на недостаток благовоспитанности с моей стороны»...

Ее внуки получили в наследство старый замок, откуда отлетело, казалось, всякое дыхание жизни, а длинные нити жемчуга потускнели, словно тоскуя по белоснежной шее и рукам, которые они некогда украшали...

Графиня Лаваль, племянница Дельфины Монжуа, взяла оттуда только пачку старых писем. Для нее они ценнее всех мертвых сокровищ, потому что в этих пожелтевших чистках она чувствовала биение сердца маркизы...

ГОДЫ ДЕВИЧЕСТВА.

Принц Фридрих-Евгений Монбельяр—Дельфине

Замок Этиуп, 16 июня 1771 г

Прелестная Дельфина, грациознейшая из нимф!

Со вчерашнего дня я не смыкал глаз. Я постоянно видел вас перед собой,—вас, ускользающую от меня, самого влюбленного из пастухов, и исчезающую в аллеях, за водопадами, точно погружаясь в их прохладные струи. Но тот миг, когда толпа гениев, спасаясь от преследований, искала защиты в храме Венеры,—именно там я приобрел вас, победив в борьбе моего соперника барона Вурмсера,—этот чудный миг я не осмеливаюсь вызывать в своем воспоминании. Биение моего сердца, трепетание пульса, жгучий румянец моих щек слишком ясно указывают лихорадку, которая овладела мной.

Мой дядя, герцог, не хотел верить, что это мы, дети, импровизировали этот праздник в честь его, и он совершенно не допускает мысли, чтобы Дельфине Лаваль, этой грациознейшей из всех танцовщиц, было только тринадцать лет! «Версаль почел бы за счастие открыть ей свои двери, и король был бы первым ее почитателем», сказал он. Я слышал, как он уговаривал мою мать позаботиться о том, чтобы «прелестная Дельфина» была представлена ко двору в Штутгарте, в свите моей сестры.

И вот, хотя меня все еще причисляют к детям, и г. фон-Альенау больше всего желал бы, чтоб я был глух и слеп порою (между прочим, я еще не знаю, как избежит это письмо его аргусовых взоров), но одно я знаю на верное: моя прелестная подруга будет в большей безопасности при Версальском дворе, во главе которого находится старик, нежели при Штутгартском.

Я бы сумел со шпагой в руке защитить вас против всех навязчивых поклонников, хотя бы они занимали самое высокое положение в свете, но я должен от вас самих получить на это право. Я чувствую это: со вчерашнего дня мы уже не дети! Невинные игры прошлых лет сменяются уже другими, более сладостными играми...

Я уговорился с Францей, моим самым молодым рейткнехтом. Он поклялся мне, что передаст это письмо вам лично и только от вас примет ответ. Не заставляйте меня надеяться тщетно! В ваших глазах сияло мне сияние, когда я, бедный пастух, упал к ногам своей богини. Не заставляйте же меня думать, что это было лишь отблеском огненных фонтанов, поднимавшихся к небу вокруг храма богини!

Моя сестра ждет вас к себе в воскресенье. Если до тех пор я получу от вас несколько слов, в которых будет заключаться хотя бы слабый отзвук на то, что я пишу вам, я постараюсь устроить так, чтоб мы могли встретиться с вами один, без свидетелей...

Принц Фридрих-Евгений Монбельяр—Дельфине.

Замок Монбельяр, 12 декабря 1771 г.

Дорогая Дельфина! Вы глубоко ранили сердце, полное любви к вам. Я мог скорее вообразить себе все несчастья в мире, ожидающие меня, нежели то, что горизонт моего счастья может вдруг так омрачиться! Неужели вы могли так быстро позабыть то, что обещали мне в гроте Посейдона, когда я собственными руками осмелился развязать розовую ленту на вашей шейке, ослепительная белизна которой заставляла лебедей, каждый раз, когда наша ладья проплывала мимо них, завистливо хлопать крыльями и грозно поднимать их на вас.

Это было двадцатого июня. О, я никогда не забуду тот день и час и постоянно буду напоминать вам о нем!

С тех пор, как мы вернулись в Монбельяр, и чудная свобода снова уступила место придворным стеснениям, ваше обращение со мной совершенно изменилось.

Но я был слеп и не понимал этого. Я видел в вашей осторожности только результат требований церемониала,

в вашей боязни встречаться со мной наедине—опасение попасться на глаза моему гофмейстеру и вашей гувернантке, а в ваших стараниях всегда находиться в обществе моей сестры—лишь коварное намерение придать нашей встрече вполне невинный характер.

И вот, когда счастье,—или вернее: восхитительное легкомыслие моего дяди,—почти насильно доставило нам случай быть наедине, вы сами постарались избежать этого, чтобы остаться в обществе моего гофмейстера, г фон-Альтенау. И он читал вам перед камином стихи да еще при том—немецкие стихи!

Когда же я возвращался в санях моего дяди из своей поездки, продлив ее нарочно до самой ночи,—Боже, как приятно было бы, еслиб я мог увести с собой мою престелственную подругу, под белой меховой полостью, в этих санях, имеющих форму гигантского лебеда с распростертыми крыльями!—то в душе моей была надежда, что я увижу, по крайней мере, выражение тревоги в ваших глазах, но вместо этого я услышал удивленный возглас: «Уже вернулись?» и увидал взор, затуманенный слезами, сопровождавший пожатие руки г. фон-Альтенау.

Я был настолько безумен, что до сих пор считал г. фон-Альтенау своим другом. Мое доверие к нему и детское восхищение богатством его знаний было так безгранично, что я ничего так не желал, как познакомиться с ним и мою очаровательную Дельфину, для того, чтобы и она могла пользоваться тем, чем я пользуюсь.

И теперь такое разочарование! Мой друг оказывается изменником, а моя возлюбленная бросает меня ради него!..

Но не надейтесь, что я так легко откажусь от вашего ветреного сердца. Ревность и ненависть научат меня как нанести чувствительный удар моему сопернику.

Иоганн фон-Альтенау—Дельфине.

Замок Этюп, 16 января 1772 года.

Всемиловейшая графиня! Г-жа Ларош только что сообщила мне, что вы больны, и что мы не можем ожидать вас на будущей неделе в Монбельяре. Это глубоко огор-

чает меня. Часы, проведенные с вами, когда мне было дозволено развернуть перед взорами вашей чувствительной души неведомые вам сокровища немецкой поэзии, составляют светлые мгновения в моей печальной жизни.

Разрешите мне прислать вам сегодня французскую книгу, принадлежащую к самым прекрасным и возвышенным произведениям, созданным французской литературой. Это «Новая Элоиза» Жан-Жака Руссо, того самого непризнанного писателя, о котором я так часто рассказывал вам. Чтение его произведений предъявляет большие требования как чувству, так и уму, но я думаю, что вы уже находитесь на высоте этих требований.

Я считаю своим долгом сообщить вам, что принц Фридрих-Евгений обнаруживает в последнее время еще большую склонность к учению, нежели прежде, что я и приписываю вашему влиянию и примеру. Он проводит больше времени в моей комнате, нежели в своих охотничьих владениях, и больше занимается книгами, нежели собаками и лошадьми. Если его легко воспламеняющееся сердце до сих пор приходило в восторг от всего возвышенного и красивого, с чем я имел возможность познакомиться, то теперь он уже начинает серьезно интересоваться высшими вопросами современной эпохи. Будем надеяться, что такое направление его ума не окажется скоропреходящим. По примеру короля Пруссии, именно владетельные князья, мысли и деяния которых так ясно отражаются на мировой сцене, должны выбирать своими спутниками гениев искусства и науки. Между тем, именно государи, привыкшие только к преданной покорности своих подданных, склонны обращать и эти высшие существа божественного происхождения в простых прислужников своих наслаждений.

Принц Фридрих-Евгений Монбельяр—Дельфине.

Замок Монбельяр, 19 июня 1772 г.

Обожаемая Дельфина! После стольких месяцев раздражения и упреков самому себе, я, наконец, получил возможность снова припасть к вашим ногам. Графиня де-Шеврез гостит у нас со своим сыном. У меня сердце за-

мерло в груди, когда он заговорил со мной об очаровательной графине Лаваль, с которой счастливец имел право танцевать на детском балу маркизы Мортемар. Я старался оставаться хладнокровным. Я со скучающим видом слушал его, когда он мне описывал вашу прическу à l'amoureuse, ваше затканное золотом платье из голубой парчи, хвалил ваши грациозные движения в менуэте. Но когда он выразил восхищение даже при одном только воспоминании о ямочках на ваших щечках, над улыбающимся розовым ротиком, у правого угла которого посажена была мушка—как будто ваш ротик нуждается в таком украшении!—самообладание окончательно покинуло меня. Я доверился ему. Он дал мне слово передать вам это письмо при первом же удобном случае.

Да, Дельфина, я виноват, но за свою вину я так страшно наказан вашим отсутствием, что, по крайней мере, вы должны меня выслушать.

Когда я, при помощи моего рейткнехта, подкупил слугу г. фон-Альтенау и таким путем открыл вашу переписку с моим гофмейстером, моему бешенству не было границ. Никакое средство не казалось мне слишком низким, чтобы достигнуть цели и охладить вас. Я из всех сил старался подделаться к г. фон-Альтенау, чтобы заслужить его доверие, и от меня не остались скрытыми его тайные сношения с парижскими философами. Я находил в его библиотеке одни только книги, публично осужденные и сожженные парижским парламентом, авторы которых должны были, по указу короля, нести наказание в Бастилию, в Венсенне и Фор-Левеке за свои мятежные речи. Я прочел эти книги и открыл, что именно из них г. фон-Альтенау почерпнул все те мысли, все те знания, которые он передавал нам в своих уроках.

О, Дельфина, я перенес тяжелую борьбу с самим собой! Но страстное желание удалить от вас г. фон-Альтенау заглушило голос моей совести. Я сообщил герцогу о моем открытии, и мой гофмейстер был уволен в тот же день. Он не удостоил меня даже взглядом, и я, пристыженный и расстроенный, не осмелился выйти из своей комнаты, пока он не уехал. Не я оказался победителем,—это я глубоко чувствовал прежде даже, чем узнал о том, что мой

поступок заставил вас страдать. Я бы отдал полжизни, если бы мог вернуть это!

«Благочестивая атмосфера монастыря быстро изгонит дыхание ада, которое вдохнула наша милая графиня», умильным тоном проговорила ваша гувернантка, эта старая змея, сообщившая нам о вашем отъезде в аббатство О-Буа. Но когда Гюи нарисовал нам жизнь в этом монастыре, когда он рассказал нам, что Доберваль—первый танцор парижской оперы, и там руководит танцами, и что вы, прелестная Дельфина, возбуждаете всеобщую зависть, так что даже сестра Гюи, получившая первый приз за историю, завидует вам, когда он сообщил, что вы получили первый приз за танцы, и герцогиня Лавальер, придя в восторг, подарила вам веер, который держала в руках (хотя он был украшен не изображениями святых, а только грациями и музами)—тогда м-ме де-Ларош набожно перекрестилась и пожаловалась на испорченность Парижа.

Мы сидели в тот вечер (в первый раз в этом году) на большой террасе замка Этьюп. Все фонтаны были пущены. Позади последнего боскета раздавалось мелодическое пение,—это пели наши косари и косильщицы, работавшие на дугу. Наш новый дворецкий научил их в течение зимы этим грациозным напевам, чтобы веселить нас и приводить в восторг наших гостей. Но не легко было этих, обыкновенно столь покорных людей, заставить заниматься искусством! Некоторые, черезчур строптивые, имевшие дерзость заявить, что «герцогу нужны их руки, а не их голоса», попали в Монбельяр в темницу. С тех пор уже хор всегда оставался в полном составе.

Число наших гостей больше обыкновенного, но как ни много их, а все же они не могут наполнить ту пустоту, которую я постоянно ощущаю. И, тем не менее, как ни велика эта пустота, но маленького клочка бумаги с тремя словами: «я прощаю вас!» было бы достаточно в этот момент, когда все слишком смелые желания должны умолкнуть, чтобы заставить меня забыть о ней. Неужели я буду тщетно ждать этого?

Иоганн фон-Альтенау—Дельфинг.

Париж, 3 июня 1772 г.

Самые толстые монастырские стены становятся тонкими как шелковая бумага, если они находятся в Париже и за ними воспитываются дамы высшего круга! Я бы счител себя обязанным, конечно, тайно доставить вам те книги, из-за которых мне пришлось оставить замок Монбельяр. Я постарался бы избежать на этот раз того, чтобы еще какой-нибудь принц Фридрих-Евгений злоупотребил моим доверием, а другая m-me де-Ларош наказала бы вас. Но я не хочу беспокоить вас теперь. Если бы я еще находился в атмосфере замка Монбельяр,—где настолько царит дух XVII века, что только гроза восемнадцатого века могла бы рассеять его,—я бы низко склонился перед вами и поцеловал вашу ручку, просил бы у вас прощения, потому что я без вины виноват и в вашем изгнании. Но я, как и вы, нахожусь теперь в столице и поэтому знаю, что даже монастырь в Париже следует предпочесть старому замку в Эльзасе!

Я приехал сюда со своими запрещенными книгами и тотчас же увидел, что я напрасно затруднял себя таким образом. Идей, заключающиеся в этих книгах, уже наполняют воздух Парижа, так что каждый неизбежно вдыхает их. Они проникают даже в салоны большого света, потому что прекрасные дамы,—в чьих белых ручках каждое оружие превращается в интересную игрушку, а мысль—в острое слово,—утомились, наконец, пастушескими играми и теперь жонглируют, точно сверкающими шариками, произведениями человеческого духа, не подозревая, что в них заключаются взрывчатые вещества.

Не бойтесь поэтому, милая маленькая графиня, если вы откроете у себя, в своей головке, остатки мыслей Новой Элоизы, а в своем сердечке найдете чувства, за которые должна была бы краснеть девица, живущая в монастыре. В Париже это теперь в большой моде. Нечего вам также бояться и свидания со мной, бедным немецким бароном, у которого «Contrat social» находится не только в кармане, но и в голове. Подобно

тому, как аристократы пользуются почетом в высших финансовых кругах, так и литераторы пользуются таким же успехом в придворном обществе. Они занимают там место шутов и поэтому могут все позволять себе, если только сумеют приятно щекотать чувствительные нервы высоких и высочайших особ.

Но это, моя маленькая графиня, в сущности вас не касается. Я вижу, что ваши глаза так же широко раскрываются от изумления, как тогда, когда я рассказал вам, что за изгородью роз и лавровых деревьев в Этиопе я видел детей, которые дрались с собаками из-за старой сухой корки хлеба. Впрочем, то, что я тогда сказал вам, я повторил и родителям этих детей: крестьяне не должны думать, что драться с собаками из-за корки хлеба,—это судьба, предназначенная им Богом! Г. герцог, вероятно, будет удивляться, какое действие оказывают книги, хотя он и позаботился о том, чтобы его люди не умели читать...

Граф Гюи Шеврез—Клариссе.

Париж, 8 августа 1772 года.

Дорогая сестра! Я посылаю вам обещанную бонбоньерку. Надеюсь, что святая мать Батильда в своей божественной простоте примет амурчиков за небесных ангелочков и будет думать, что единственное содержимое бонбоньерки составляет сладкое драже. Вы знаете, однако, на каких условиях я обещал доставить вам ответ Шевалье. Сегодня вы должны выполнить это условие. Передайте маленькой Лаваль письмо, которое найдете на дне коробки, и постарайтесь, как старшая подруга, употребить все свое влияние на нее и в таких блестящих красках изобразить мои внешние и внутренние качества, чтобы мой образ наполнил собой мечты Дельфины. Фридрих-Евгений красивый юноша, но он слишком немец, и мне было бы нетрудно вытеснить его, если бы не та, в некотором роде современная сентиментальность, которая приказывает слово «любовь» произносить трагическим тоном и которая теперь овладела вашей подругой. Вы должны объяснить ей, что

обаятельная сила влечения, существующая между полами, предназначена не для того, чтобы отягощать жизнь, а чтобы делать ее легкой и приятной. Амур ведь имеет крылья! Только пленники со свинцовым грузом, привязанным к ногам, уныло топчутся на одном и том же пространстве...

Граф Гюи Шеврез—Дельфине.

Париж, 8 августа 1772 года.

Очаровательная Дельфина! Одна мысль о вас могла бы заставить меня совершить величайшее преступление, не сдержав своего кавалерского слова. Может ли быть что-нибудь тягостнее для молодого человека, чем играть роль посыльного любви у той, которую обожает его собственное сердце?!

Но я подчиняюсь своему долгу, как вы видите, и посылаю вам письмо принца. Могу ли я надеяться, что вы, по крайней мере, будете вспоминать обо мне с чувством благодарности, которое все же не лишено некоторой теплоты.

Мы с вами увидимся на балу герцогини Люксембург. Даже рискуя навлечь на себя ваши упреки в том, что я нарушаю права дружбы Фридриха-Евгения, я все-таки должен вам признаться, что мое сердце уже теперь трепещет от радости. Если это правда, что вы будете участвовать в спектакле у m-me де-Рошшуар, то я употреблю все усилия, чтобы мне передали роль любовника. Пусть верность дружбе не позволяет мне поклоняться вам так, как этого требует мое восхищение вами, зато, по крайней мере, на сцене, повинувшись требованиям поэта, я буду освобожден от этого тягостного долга.

Принц Фридрих-Евгений Монбельяр—Дельфине.

Замок Монбельяр, 29 сентября 1772 г.

Драгоценнейшая Дельфина! Ваша записка привела меня в состояние восторга. Вы прощаете меня! Правда, когда я перечитываю ее, то эти четыре слова: «Я больше

не сержусь», теряют то сладостное значение, которое я хотел бы им придать, вследствие добавления к ним других слов: «потому что здесь чудесно!» Но я не хочу раздумывать об этом, не хочу допускать мысли, что ваше прощение вызвано не теплотою вашего чувства, а холодом забвения. «Что представляет Этьеп в сравнении с садами Версаля, что такое Монбельяр в сравнении с Парижем?»—пишите вы и развертываете передо мной головокружительную картину балов, маскарадов, опер и балетов. У меня хватило бы жестокости желать, чтобы вы лучше оставались в монастыре, как хотела этого *in-pis* Ларош, еслиб я не надеялся—я едва осмеливаюсь выговорить это и думать об этом!—через несколько месяцев принадлежать к числу тех счастливых, которые имеют право окружать своим поклонением прекрасную Дельфиню.

Помните ли вы маркиза Монжуа, которого мы называли Людовиком XIV из-за его напыщенной важности? Он гостить теперь у нас вместе со своим отцом, и я, оставшись с ним наедине, попросил у него извинения за все те шутки, которые мы позволяли себе с ним, потому что именно он убедил герцога взять меня с собой, когда он поедет в Версаль, чтоб явиться ко двору. Представители старинного французского дворянства, по словам маркиза, должны своевременно сплотиться вокруг дофина. Маркиз не может достаточно нахвалиться его простотой и благочестием и говорит, что младшие сыновья владетельных князей, связанных с королевским домом, должны непременно поступить на службу дофина.

Должен ли я говорить вам, обожаемая Дельфина, что вовсе не мой интерес к дофину и его добродетелям привлекает меня в Париж? Но все соблазнительные удовольствия Парижа, которые мой друг Гюи не устает описывать мне, бледнеют перед одним единственным взором ваших чудных глаз. И я снова имею право надеяться увидеть их!

Но я боюсь, что черные звездочки нетерпеливо пробегают строки, продиктованные моей любовью и тоской. Ведь я не вижу, человеческие ли это глаза, являются ли они зеркалом чувствительного сердца, или же это

только брильянты, отражающие свет всего мира, но все же—только камни?

Вы требуете новостей с родины. О последнем долговременном пребывании герцога Вюртембергского в Эрмитаже вам уже, вероятно, писала моя сестра. Он вел очень замкнутую жизнь, желая отдохнуть от правительственных дел. Мы пригласили танцовщиц из Вены для его развлечения. Они представили балет Новерра «Медея», который привел в восторг всех зрителей. Герцог собственноручно роздал девицам драгоценные сувениры.

В честь его и многочисленных других гостей предполагалось устроить большой сельский свадебный пир. Мой отец приказал возвестить, через Этюпского капеллана, что он подарит каждой из десяти молодых девушек по свинье, если они согласны будут выйти замуж, а моя мать уже рассказала нашим гостям об идиллическом празднике, который имеется в виду. Вместо этого, как вы думаете, что вышло! Один из наших форшнейдеров заявил дворецкому, настаивавшему на скорейшем решении,—так как гости уже начали выказывать негерпение,—что девушки и молодые парни, находящиеся в брачном возрасте, отказываются от брака, в виду господствующей среди крестьян сильной нужды. «Нам труд пожирается податями, и наши дети могут погибнуть от голода», прибавил этот дерзкий человек.

Наши гости были вознаграждены облавой за петальную неудачу этого сельского праздника. Пространство, отведенное для охоты, было громадно, но даже старый принц Конде, дрожащие руки которого едва могут держать ружье, всетаки не дал ни одного промаха. Правда, зверей гнали прямо к нему. Потом ужинали на открытом воздухе в палатках. Всеобщее внимание возбудил негр-великан, которого маркиз Монжуа привез с собой из своей последней африканской экспедиции. Но хотя украшения из золота и драгоценных камней, сверкавшие на этом негре, стоят сотни тысяч, все же они составляют лишь незначительную часть огромных богатств маркиза. Он, одновременно с нами, приедет в Париж, и я хочу открыть вам, что он намерен поднести

вам, как дочери своего старого друга, драгоценное жемчужное ожерелье, которое он приобрел от одного индийского принца.

Моя сестра показала ему вашу миниатюру, которую я до сих пор тщетно вымаливаю у нее. «Красота и невинность!»—произнес с восхищением маркиз. Я молчал. Должен ли я был сказать ему, что портрет мало похож, и что вы в тысячу раз прелестнее?

Вы видите, обожаемая Дельфина, сколько бы я ни старался говорить о чем-нибудь другом, мое перо, еще не научившееся скрывать и выводить придворные фразы, чуждые сердцу, постоянно возвращается к вам вместе с моими мыслями. Но как ни дорого мне это, я все же не могу дожидаться времени, когда живое слово сделает ненужным мое перо.

Граф Гюи Шеврез—Дельфине.

Париж, 28 декабря 1772 года.

Из за мадригала, преисполненного нежности, которому мог бы позавидовать сам шевалье Буффле,—неужели же я буду лишен вашего присутствия, прелестная Дельфина? Нет, мать святая Батильда, мы докажем вам, что Дельфина не монахиня, которая находится под вашей командой. Чего бы это ни стоило, но моя обожаемая будет на маскарадном балу в отеле дю-Шатле! Не помрачайте же блеска ваших глаз слезами...

Граф Гюи Шеврез—Дельфине.

Париж, 30 декабря 1772 г.

Все в порядке. Пара дуэдоров превосходит своим блеском всякое сияние святости и раскрывают всякую монастырскую дверь. Сестра, которая передаст вам эти строки, скажет вам все, что нужно. У маленькой садовой калитки будет ждать вас портшез, который перед этим доставит на бал Клариссу. За ваше спокойное возвращение назад ручается нам боязнь привидений у матери святой Батильды. А цена за мою рыцарскую услугу?..

Иоганн фон-Альтенау—Дельфине.

Париж, 31 декабря 1772 г.

Моя милая маленькая графиня! Так как я могу только в присутствии одной из ваших строгих надзирательниц натянуто и церемонно осведомляться о вашем здоровье, а между тем, после событий вчерашней ночи, я имею многое сказать вам, чего вам не расскажет никто, то я и посылаю вам тайно это письмо.

Это была встреча, достойная того, чтобы Лагарп изложил ее в своих легких стихах, а Буффле описал ее в одном из своих прелестных рассказов.

Темная ночь. Большие белые хлопья медленно ложатся на землю и там постепенно превращаются в клейкую грязь... Вот из-за угла улицы де-Сев показывается человек с фонарем, наполовину скрытым под его плащом. Он робко оглядывается кругом, затем поднимает фонарь и тогда показывается второй человек, за ним следует третий и, наконец, портшез, плотно завешанный, который несут носильщики. Они идут быстро, точно это бегство. Не знаю, какая смутная мысль внезапно побудила меня, когда я случайно встретился с ними, повернуть назад и пойти той же дорогой. Вдруг небо перед нами ярко освещается огненным заревом. Носильщики пугаются и опускают портшез на землю. Через секунду занавески раздергиваются, и между ними показывается напудренная головка. Два черных глаза испуганно смотрят. Внезапно они узнают меня. Слуги грубо понукают носильщиков, заставляя их выполнить свой долг. Они идут вперед, и с этой минуты я точно прикован к ним. И вот, какой-то оглушительный шум несется к нам навстречу. Звон колоколов раздается со всех сторон, вызывая стократное эхо, и к нему примешиваются трубные сигналы, звуки которых все растут и растут. Крик людей... Вот уже мы у Пон-Неф. Сена окрашена красным цветом, как при восходе солнца, и справа пламя поднимается к небу, точно хочет прорвать темный небесный свод.

— Горит ратуша! — взвизгнула какая-то старая баба

возле нас. «Дитя мое, дитя мое!» кричит отчаянным голосом другая и бросается в сторону огня. «К Сартине!» кричит какой-то мужчина и вырывает из рук слуги фонарь.

— Никто не может войти в дом!.. Больные горят!.. Четыреста больных!..—Мы остаемся, оцепенев от ужаса.

И вот маленький портшез открывается, и среди этой полной ужаса ночи появляется светлый образ, окруженный облаками белого шелка, в розовом венке на напудренной головке и в золотых башмачках на нежных ножках. Голые ручки, детская шейка сияют среди ночной темноты.

В тот же миг на мосту появляется процессия, медленно двигающаяся к нам навстречу. Слышны тихие стоны и рыдания. Жалкие, оборванные, полуголые создания, с неподвижными взорами и лихорадочно горящими щеками... Они едва держатся на ногах, облокачиваясь друг на друга. Там бледная малютка прильнула к старику, на которого смерть уже наложила свою печать. Несчастная женщина с лицом, представляющим одну гноящуюся рану, облокачивается на юношу, потухшие глаза которого уже не видят огня. Товарищи по несчастью, частью несли, частью волочили тех, которые уже не могли идти. Двое мужчин, с дрожащими коленями, держали под руки девушку и тащили ее за собой...

Я хочу взять под свою защиту светлое видение, стоящее перед мной в нерешительности, и протягиваю к нему свои руки. Но девушка вырывается у меня и стоит уже в толпе бегущих. Около нее собираются люди, слышатся грубые слова, грубые руки протягиваются к ее ожерелью. Но она уже больше не боится...

— Возьмите мой портшез для этой девушки!—восклицает она.—Носильщики, сюда!—прибавляет она повелительным тоном.—В аббатство О-Буа!

Все повинуются ей, никто ее не трогает, все слова умолкают. И в своих золотых башмачках, в своем белом шелковом платье, графиня Дельфина возвращается назад в монастырь по липкой грязи улиц. Она все тяжелее опирается на мою руку, она молчит и только кидает головой

на все мои вопросы. Лишь у калитки она останавливается, смотрит на меня широко раскрытыми глазами и прошепчет: «Бывает ли что-нибудь подобное?.. В самом деле?.. Это не сон?..».

Ваше наказание не будет суровым, маленькая графиня, потому что дело милосердия искупает ваш проступок в глазах благочестивых монахинь. Но все же у вас будет много времени, чтобы обо всем пораздумать. Вы в первый раз в жизни взглянули в глаза истине, которую скрывали от вас за высокими тесовыми изгородями и монастырскими стенами, и шелковые занавески на ваших окнах заслоняли ее от ваших глаз. Это все существует в действительности, это не сон, графиня Дельфина! Из этих несчастных, которых вы видели, сотни погибли в огне. Но, несмотря на такой ужасный конец, эти страдальцы, лежавшие вчетвером и впятером на одной кровати, еще не самые несчастные! Существуют сотни тысяч таких, которых голод медленно замучивает до смерти и у которых нет другой кровати, кроме камней на мостовой...

Когда же они проснутся, о, графиня Дельфина, тогда не поможет и все ваше милосердие!..

Смею ли я дать вам дружеский совет? Остеретайтесь графа Шеврез. Несмотря на свои восемнадцать лет, он уже законченный повеса. Наставницей его в делах любви состоит знаменитая танцовщица Гимар. Быть соучастницей его проказ принесет вам несомненный вред.

При нынешних обстоятельствах я не должен ждать от вас ответа, как бы он ни осчастливил меня. Но я надеюсь встретиться с вами, как только кончится ваше заточение, у герцогини Лавальер, в кружок которой я получил доступ, потому что немецкие мыслители, со времен барона Гольбаха, сделались необходимой принадлежностью каждого хорошо устроенного салона в Париже.

Граф Гюи Шеврез—Дельфине.

Париж, 30 января 1773 г.

Прекраснейшая! Лучшая в мире! Вы видите перед собой человека, доведенного до отчаяния. К тому горю, ко-

торое постигло меня в ту злополучную ночь, когда вы не явились на праздник,—блеск которого перестал существовать для меня, потому что вас не было,—прибавилось еще другое, более глубокое страдание. Меня оклеветали в ваших глазах. Еслиб не сила вашего возмущения по поводу моих предполагаемых грехов—Кларисса говорит: она пылает гневом!—оставляющая мне надежду, что моя персона вам не вполне безразлична, то я посыпал бы пеплом свою голову и подверг бы себя бичеванию, подобно святым отшельникам в пустыне. Но я знаю: прелестнейшая из всех монастырских воспитанниц с негодованием отвергла бы меня, если бы я явился перед нею во властянице аскета.

Поэтому я осмеливаюсь предстать перед ней в своем обычном виде, как придворный кавалер королевы, напудренный, раздушенный и в желтом шелковом жафтане, как раз в том виде, в котором я нравлюсь прекрасным женщинам, и очень многим женщинам, очаровательная графиня, которые не так строгі, как вы, и не ставят мне в вину, что я не избегаю общества любовницы моего брата—слышите ли: моего брата!—общество которой находят приятным даже придворные дамы, потому что она воплощает в себе всех добрых гениев ума, остроумия, веселости и традиции.

Вы видите Париж только сквозь замочную скважину монастырских дверей. Если в круг вашего зрения попадет хромой нищий, грязный бродяга, женщина в ломотях, то вы думаете: вот это Париж! Между тем вы увидели только несколько образчиков того оброда, который рассеян по всему свету и сделался тем, что он есть, вследствие пьянства, нежелания работать и преступлений. Здесь больше было бы у места презрение, а отнюдь не милосердие, потому что всякое соприкосновение с подобными элементами может только загрязнить вас.

Оставайтесь, прелестная Дельфина, на вершинах челоуечества, для которых вы рождены! Достаточно грустно уже то, что вы так долго находитесь вдали от жизни, а также и от своего вернейшего и преданнейшего поклонника.

Парижская общественная жизнь теперь еще блестя-

пчее, чем когда-либо. Вы знаете, вероятно, что наш общий друг Фридрих-Евгений ринулся в ее водоворот. Я находился как раз на дежурстве у дофини, когда он был ей представлен. Он понравился, этот добрый малый, только все немного посмеиваются над его откровенным изумлением перед всем, что он видит, изумлением, от которого веет провинцией. Впрочем, у него есть талант к тому, чтобы сделаться парижанином. Когда я ввел его к м-elle Гимар, то он, правда, сначала широко раскрыл свои (к сожалению, такие немецкие) голубые глаза при виде прозрачных одежд стольких очаровательных женщин, но зато потом с пылкостью играл роль селадона возле маленькой танцовщицы.

Чтобы помочь вам сократить время вашего заключения—в котором я, к сожалению, не вполне безвиновен—я посылаю вам прелестный роман Дора «Жертвоприношения любви», о котором теперь много говорят, а восторженные поклонники романа сравнивают его, частью с «Новой Элоизой» Руссо, частью с *Sapho* Кребильона. В этом произведении заключается загадка, и разгадывание ее составляет в настоящее время любимую игру светского общества. Но вы не можете принимать участия в этой игре, и чтобы увеличить в ваших глазах интерес романа, я сообщаю вам его разгадку: виконтесса де Сентанж—это красавица графиня Богарне. Она всегда окружена, хотя она уже не первой молодости. Она умеет выражать свои чувства не только нежным прикосновением губ, рук и своими обаяниями,—что служило единственным убедительным доказательством для наших отцов,—но высказывает их и при посредстве типографских чернил. Для нас—не отрицаю этого!—эти откровенные признания женщины заключают в себе особенную прелесть. Они раскрывают перед нами ее способность к страсти, и нам нет надобности утруждать себя долгими и скучными поисками. Впрочем, если верить Лебрену, посвятившему графине-поэтессе следующие строфы:

Chloé, belle et poète, a deux petits travers:
Elle fait son visage, et ne fait pas ses vers... *)

*) Хлоэ, красавица и поэтесса, обладает двумя маленькими недостатками: она отглаживает свое лицо, но не отглаживает своих стихов.

...то она надует своих поклонников. Но в романе она этого не делает. Шевалье де-Версенз, ее любовник, более достоин зависти, чем его живой прообраз г. де-Пезз. И он тоже пишет стихи и даже свои любовные письма пишет так, чтоб они годились для печати. Хотя его мать стирала когда-то рубашки для моей матери, тем не менее, он называет себя маркизом, так как знает выгоды этого. Самый ничтожный скоморох может быть уверен в своем успехе, если только он назовет себя, по крайней мере, бароном. Ради графини будем надеяться, что ее поклонник обязан своему происхождению, по крайней мере, хоть безукоризненностью своего белья.

Я вижу, как вы краснеете и с неудовольствием качаете головкой, как тогда, на балу герцогини, когда я освободил вас от наивного детского поклонения, заставлявшего вас буквально падать ниц перед каждым блестящим видением. Уже тогда, очаровательная Дельфина, в ваших глазах сверкали искорки задорной насмешки, в то время, как ваши щечки горели и ваш маленький ротик дрожал от сдержанного любопытства. Я смотрю на себя, как на человека, которому предназначено восполнить ваше, более чем недостаточное монастырское воспитание, и я должен позаботиться о том, чтобы вы не очутились на свободе несведущей, как птичка в неволе.

На свободе! Слушайте же, прекраснейший цветок Вогец. Говорят, что некто хотел бы пересадить вас в свой сад. Это значило бы отпить вас у воздуха, у солнца, у жизни и—я едва осмеливаюсь выговорить это!—у моих рыцарских услуг, не стесняемых более никакими монастырскими правилами.

Принц Фридрих-Евгений Монбельяр—Дельфине.

Париж, 3 марта 1773 г.

Вот я уже два месяца в Париже и еще не видал вас, моя драгоценная подруга! Я не знаю, какое чувство говорит во мне сильнее: неудовлетворенное, и потому с каждым днем разгорающееся страстное желание, или гнев на вашу ветреность, которая лишает меня вашей бли-

зости. Не опасайтесь, что я буду осуждать вас с видом строгого критика нравов. Я бы благословил вашу великодушную проделку и назвал бы ее божественной, если бы она не только кончилась удачей, но прежде всего вызвана была бы тем, что маленькая монахиня, ради меня, хотела ускользнуть из монастыря. А я даже не знаю, в самом ли деле вас соблазняли обаятельные звуки скрипок на балу герцогини? Некто молча пожимает плечами, когда я хочу выпытать у него что-нибудь. Но порой он улыбается, и эта улыбка заставляет кровь приливать к моим щекам...

В надежде, что и я когда-нибудь буду иметь счастье увидеть вас, я стараюсь понравиться вашему отцу. Но, повидимому, один только маркиз Монжуа будет пользоваться привилегией вашего общества. Я стал уже так скромнен в своих желаниях, что сам навязываюсь ему, лишь бы только услышать рассказы о вас. И я снова злюсь, когда старый повеса ворочает глазами, приходя в восторг от «очаровательного ребенка!». Он прав, тысячу раз прав, говоря: «Все звезды Версаля померкнут перед блеском невинности ее глаз!». Но я бы хотел, чтобы только мне одному принадлежало право говорить это.

Кларисса Шеврез сказала мне, что вы интересовались внасть, нравится ли мне Париж? Только не смейтесь над моим ответом, дорогая подруга. Я не знаю, нравится ли мне он, знаю только, что он меня опьяняет! То, что составляло лишь редкие праздники в Монбельяре, здесь составляет жизнь. Весну, радовавшую нас в Этипе, в течение нескольких коротких недель, Париж заставил служить себе из года в год. Пусть снаружи бушует метель, но кто же почувствует это, развалившись в карете, на мягких подушках и переезжая из одного салона, пропитанного ароматом цветов, в другой? Что на свете есть нечто такое, как разочарование, старость,—кто посмеет утверждать это, при виде всех этих смеющихся лиц, розовых щечек, блестящих глазок? Я должен думать о своей матери, чтобы вспомнить, что на свете есть женщины уже не молодые! Со своими напудренными добела волосами, они как будто дерзко смеются над старостью, пользуясь как раз именно ее внешним признаком, чтобы увеличить

привлекательность своей вечной молодости. То, что написано в стихах про герцогиню Лавальер, одинаково приложимо ко всем:

La nature, prudente et sage,
Force le temps de respecter
Les charmes de ce beau visage,
Qu'elle n'aurait pu répéter *).

Ах, ваш танец! Помните ли вы еще, как ветер в Египте пролетал над клумбами тюльпанов? Какое колышание, какая игра блестящих красок, то загорающихся, то потухающих! Мне это казалось красивейшим из всего, что я видел когда-либо, пока я не увидал нечто еще более красивое. Когда в первый раз передо мной разверзся занавес оперы, и я увидел восхитительнейшую из всех сильфид m-elle Гимар, скользящую из белоснежных облаков на землю, откуда ей навстречу поднимался великий Вестрис, как будто для него не существовало никаких законов тяжести, тут только я понял, что тюльпаны прикреплены к земле, а бабочки, порхающие над розовой изгородью, действительно, живые создания!

Ничто другое, так думал я, не могло превзойти в великолепии это зрелище. И вот, потом я пренехал в Версаль на орденский праздник Людовика Святых. Владетельные французские князья и все французское дворянство собрались там. Имена их звучали в моих ушах, и каждое из них казалось мне камнем в храме славы Франции. А затканые золотом плащи, тяжелые короны, сверкающие бриллианты на головах и шеях женщин, являлись в моих глазах одним единственным символом ее неисчерпаемого богатства. Все колокола звонили. Целое море блеска заливало зеркальную галерею, как будто из всех дверей изливались потоки радуг. Воздух был наполнен шумом. Я не знаю, шумело ли это у меня в ушах, или действительно это был гул голосов, или же отдаленное пение? Появился король; он шел под пурпурным балдахином, с которого ниспадал дождь золота и жемчуга. На его голубой мантии блестели золотые лилии, и

*) Природа, осторожная и мудрая, заставляет время падать прелесть прекрасного лица, которое она не сумела бы повторить.

каждый его шаг сопровождался сверканием бриллиантов на его ногах.

Мой отец не любит короля. Сановники двора редко сходятся вместе, без того, чтобы не шушукаться друг с другом на его счет и не говорить при этом дурное про короля. Как часто я мечтал о героическом времени его великого предка, потому что я думал, что не могу служить никому другому. Теперь это было позабыто. Какая-то высшая сила властно вставляла все головы почтительно склоняться перед ним и не потому только, что это проходил мимо Людовика XV. Это был король Франции! Я так же присягну ему, как это делали и мои предки.

Я бы мог исписать еще несколько листов, если бы захотел рассказать все, что я видел. Для меня все это было событием. И вот, я все-таки не знаю, станете ли вы, подруга моего детства, слушать меня теперь? Такая неуверенность доставляет мне глубочайшее страдание. Поэтому я и прошу вас ответить мне, но, если возможно, не утруждая этим Гюи Шевреза. Я не могу больше выносить его улыбки.

Принц Фридрих-Евгений Монбельяр—Дельфине.

Париж, 15 марта 1773 г.

Милейшая Дельфина, такое письмо мне? Чем я заслужил его? Вы бросаете мне упрек в ветрености, в измене? Я только что хотел нежно прижать к своему сердцу полученные мною от вас строки, но ваши колкие слова больно задели меня. Я был бы неутешен, если бы не думал, что скука вашего заточения сделала вас такой раздражительной, а болезненное состояние вашего отца привело вас в унылое настроение. Время пройдет, Дельфина! Ваш отец поправится и ваши хорошенькие глазки будут снова мне улыбаться, когда вы узнаете, что даже ваша несправедливая суровость не могла изменить моих чувств к вам.

Маркиз Монжуа—Дельфине.

Париж, 1773 г. День Благовещения.

Вслед за кратким разговором в присутствии нашего дорогого больного, я отправляю вам это письмо, содер-

жание которого должно вас познакомить с надеждами моего сердца, совпадающими в то же время и с желаниями вашего отца, моего дорогого друга. Как послушная дочь, вы отвечали согласием на переданное вам устами вашего отца мое предложение. В знак доверия ко мне вы безмолвно вложили вашу ручку в мою руку. Будьте же уверены, что я умею ценить высокое отличие, которого я удостоился, и что я приложу все старания, чтобы оказаться достойным вас.

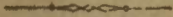
Ваш отец несколько успокоился насчет участи своей любимой и единственной дочери, и на его положение особенно благоприятно повлияло то, что вы, как он знает, находитесь теперь под хорошей защитой. И вы, дорогая графиня, взирайте с таким же чувством уверенности в будущее, которое, поскольку это от меня зависит, должно быть для вас светлым и радостным. Молоденькая девушка, ничего еще не знающая, охотно мечтает о любви, которую умеют так привлекательно описывать пошлые романы. Но на таких, большею частью скоропреходящих чувствах нельзя построить никакого брачного союза. Доверие, спокойная привязанность и, главным образом, согласование семейных интересов, сходство жизненных привычек—вот прочные основы брака. Поэтому не бойтесь, высокопочитаемая графиня, и не думайте, что я—человек много старше вас годами, желаю или ожидаю от вас страстных чувств какой-нибудь Юлии. Наша совместная жизнь и без этого будет вполне соответствовать достоинству и благородству наших чувств.

Как вы знаете, отец ваш желает, чтобы свадьба состоялась как можно скорее, и так как врачи не скрывают от нас серьезности его положения, хотя наша любовь к нему не допускает возможности такого печального исхода, но я все же еще раз присоединяю свою просьбу к его желанию не откладывать дальше этой церемонии, как вы, по видимому, хотели сначала. Я понимаю, что вы, по своей крайней молодости, боитесь серьезности свершившегося факта, но я ставлю вам на вид, что имя маркизы Монжуа тотчас же, вместе с свободой, доставит вам и прочное положение в обществе и уверенность. Я имею намерение после свадьбы поручить мою супругу покровительству

моей матери. Вы вступите в вамок Монжуа, как его господа, но в то же время вы будете находиться под любящим покровительством и воспитательным руководством женщины, которая во всех отношениях может служить вам примером. Аббатство О-Буа мне кажется не вполне подходящим местом для вас теперь. Я желаю, чтобы в будущем вы могли противопоставить влияниям Парижа более твердый характер.

Могу я надеяться, что, спокойно обдумав все, вы будете склонны пойти навстречу нашим желаниям? Мой камердинер придет завтра за вашим ответом.

Ваша радость, вызванная бриллиантовым ожерельем, которое я позволил себе прислать вам в качестве моего первого маленького подарка, доставила такое удовольствие мне, что, в надежде на повторение, я осмеливаюсь сегодня положить к вашим ногам эту жемчужную нитку. Пусть она будет не только знаком того, что вы связываете себя со мной, но внушит вам также уверенность, что брачные цепи никогда не будут давить вас сильнее, чем эта жемчужная нить.



ВЛАДЕТЕЛЬНИЦА ЗАМКА ФРОБЕРГ.

Маркиз Монжуа—Дельфине.

Париж, июль 1773 г.

Моя милая Дельфина! Ваше письмо, которое я нашел в длинном письме моей матери, было мне очень приятно, так как из него я увидел, что вы имеете намерение постепенно избавиться от застенчивой робости, всегда испытываемой вами в моем присутствии.

Мне не зачем повторять вам, что я не заслужил этого своим поведением, преисполненным требуемого уважения к вам, и что я не мог ожидать этого от вас, после того, как познакомился с вами, как с очень веселой и, пожалуй, даже, черезчур бойкой молоденькой девицей. До сих пор я старался не обращать внимания на ваши частые припадки меланхолии, на вашу манеру целыми часами запирались в ваших покоях, что наносит нежелательный ущерб вашему достоинству в глазах слуг и дает повод ко всевозможным подозрениям и толкам. Я хотел видеть в ваших поступках лишь выражение глубокой печали по вашему уважаемом отце. Но маркиза Монжуа, хозяйка моего дома, не должна поддаваться в течение столь долгого времени чувствам, приличествующим лишь маленькой девочке. Я бы желал, чтобы вы подумали об этом и выказывали бы больше сдержанности в вашем поведении.

Одно замечание, которое я нашел в письме моей матери, вынуждает меня особенно подчеркнуть это мое желание. Она пишет мне: «Моя милая невестка находит, повидимому, большое удовольствие в беседах с м-г Гальяр». Из этого я заключаю, что вы, должно быть, позабыли то, что я говорил вам о положении Гальяра в нашем

доме. Мой покойный брат, очень озабоченный судьбой своего незаконного сына, особенно достойного сожаления вследствие своей физической убогости, выразил в своем завещании желание, чтобы я доставил ему во Фроберге хорошее воспитание и постоянное местожительство. Само собою разумеется, что ему не могло придти в голову требовать, чтобы Гальяр был признанным членом нашей семьи. Моя мать и я постоянно старались удержать его в строго определенных границах почтительности, что не всегда бывало легко. Таким образом, Гальяр сделался не бесполезным домоправителем у нас, но, во всяком случае, он занимает только первое место среди наших слуг.

Однако, он жаждет, повидимому, воспользоваться в своих интересах неопытностью и молодостью моей сестры. Поэтому я должен вменить вам в обязанность величайшую холодность и сдержанность по отношению к нему. По окончании вашего траура вы не будете иметь недостатка в развлечениях, а до тех пор вы должны воспользоваться временем, чтобы, под руководством моей матери, стать такой же строго-воспитанной дамой, как она.

Чтобы доказать, что в своей заботливости о вас, я хочу также доставить вам радость, я сообщаю вам новость, которая должна вас заинтересовать. Я решил в том месте нашего парка, где вы желали бы иметь павильон, выстроить большое здание в современном стиле. Вы были правы: старый замок, со своими толстыми стенами и маленькими окнами, не отвечает более нашему вкусу, и хотя страх, который вы, по вашим словам, испытываете в нем, является лишь продуктом вашего воображения, но я согласен, что дворец в стиле Трианон был бы более подходящей для вас рамкой.

Я употребил свои часы досуга на осмотр новейших и наиболее замечательных частных отелей Парижа. Наиболее мне понравился отель танцовщицы м-ше Гимар, которую, конечно, я никогда не посетил бы, если бы не должен был просить ее походатайствовать за нашего аббата Морелли перед монсеньором де-Жарант, который исполняет все ее прихоти. Она была необычайно любезна и показала мне во всех подробностях свой только что законченный дворец. Это настоящая драгоценная безде-

лушка. Каждый стул, каждая тарелка указывают на изысканный вкус. Первейшие художники участвовали в его создании, и я считаю доказательством высоты нашей культуры, что жрецы искусства отдают свои дарования на службу повседневной жизни. По рекомендации Гимар я завел переговоры с архитекторами Леду и Белизаром. Они должны прибыть со мной во Фроберг, чтобы на месте составить планы.

К сожалению, мой приезд откладывается еще на некоторое время: я бы хотел подождать исхода процесса Моранжье, интересующего в данную минуту всех и разделяющего общественное мнение на два лагеря, которые всегда существуют, но, к сожалению, слишком часто слагаются: на двор и дворянство, с одной стороны, и на буржуазию и высочек—с другой. И не потому только я заинтересован этим процессом, что маркиз—мой личный друг! Мне это дело кажется в высшей степени типичным для наших современных условий. Общество каких-то торговцев обвиняет кавалера, принадлежащего к самому старинному дворянству, в бесчестных поступках, шайка писак и так называемых философов служит этим охотникам вместе своры, а парижская чернь со злорадством взирает на это и готова наброситься на дичь, как только она падет на землю!

В виду таких условий, особенно противно видеть, как не только аристократы братаются с буржуазными выскочками, но, к сожалению, и двор подает такой же дурной пример. Традиции бесцеремонно выбрасываются за борт, если надо дать место какому-нибудь финансисту, хотя бы самого темного происхождения. Испытанный этикет великого короля нарушается без колебаний, если какая-нибудь иностранка, купившая себе за деньги какого-нибудь обедневшего маркиза, вдруг заявляет претензию быть представленной ко двору. И у меня невольно возникают опасения, что молодой двор, на который я возлагаю такие большие надежды, мало внесет перемен в этом направлении. Дофина выбирает свой круг, руководствуясь только желанием веселиться, а ее супруг обнаруживает всякого рода буржуазные наклонности, которые, правда, позволяют заключить, что будущий ко-

роль будет тратить на несколько миллионов меньше, но зато представительный блеск королевства еще более померкнет. А между тем, этот блеск, который должен окружать его, как золотой, усыпанный драгоценными камнями покров на алтаре, необходим для того, чтобы удерживать народ в лоне церкви в благоговейном отдалении от главного алтаря, на котором царит монарх. Чем больше народ будет замечать, что там наверху тоже люди, тем сильнее он будет желать обращаться с ними, как с равными.

Простите меня, моя дорогая, что я нагоняю на вас скуку своими рассуждениями, которые не столько предназначены мною для вашей детской души, сколько для зрелого ума моей матери. Пусть же она дальнейшее объяснит вам сама.

Граф Гюи Шеврез—Дельфине.

20 июля 1773 г.

Напрасно искал я, прекраснейшая маркиза, в вашем письме к Клариссе хотя бы малейшего признака, что я сохранился в вашем воспоминании! В самом ли деле я вам так безразличен? Или же призрак вашей прежней гувернантки взирал на вас, когда вы писали это письмо, преисполненное столь холодного достоинства, что его бы, наверно, устыдилась очаровательная воспитанница аббатства О-Буа? Я бы противостоял эгоистическому стремлению пасть к вашим ногам, но не могу отказаться от рыцарского долга освободить даму моего сердца от злых духов старого Горного замка. Только ваше решительное запрещение может удерживать меня, и я не буду сопровождать мою сестру в ее поездке к вам, которую, однако, она не может совершить без моей защиты. Будьте уверены: с первой же улыбкой, которую мне удастся вызвать на ваши коралловые уста, вернется и воспоминание обо мне, как о вашем вернейшем почитателе. А вы должны, вы будете улыбаться, как только легкое дуновение парижской атмосферы коснется ваших розовых щечек!

Парижский воздух пропитан легкомыслием, возбуждением, страстью! Он точно шампанское, которое играет и

искрится в бокале, и кто постоянно вдыхает его, тот всегда находится в состоянии опьянения. Существуют салоны, которые так насыщены этим воздухом, что пульс начинает сильнее биться, как только переступаешь их порог. Осмелюсь ли я предложить вам руку для прогулки вдвоем в одном из самых восхитительных таких салонов?

Мы проходим по темной тисовой аллее к тихому пруду, который омывает роскошные тела каменных нимф. Маленький замок, нет, это скорее мечта, сотканная из мрамора и золота, встает перед нами. Стройные колонны поддерживают усыпанный звездами потолок портика. На фризах, украшающих двери, ликующие вакханки размахивают тирсами. Эти двери широко раскрыты. Оттуда льются потоки света, благоуханий, смех и пленительная музыка. Стены залы, в которую мы входим, сделаны из белого мрамора с золотыми пилястрами и перед высокими зеркалами, в каждом из восьми углов комнаты, стоят на покоех из малахита бронзовые фигуры женщин в натуральную величину, со светильниками в руках. От них исходит яркое сияние и сливается с блеском свечей хрустальных люстр. На потолке волшебная кисть Друз произвела весь Олимп, но грации и музы, даже сама Венера, затмеваются красотой смертных женщин, находящихся внизу. С галлерей, вверх, несутся звуки хора мальчиков—Адонис и Ганимед не могли бы быть более восхитительны!—поющих сладостные песни Гретри. Вокруг, к золотой балюстраде прислонились дамы, в очень низко декольтированных платьях, с веерами в руках. А внизу, вокруг стоящего посредине и богато убранного цветами, дорогим фарфором, серебром и кружевами стола собралось изысканное общество графинь и маркизов, принцев и герцогинь. Их глаза, бриллианты, щеки, шелковые платья и золотые парюры соперничают в блеске друг с другом, а пышные груди своею белоснежностью приводят в смущение мерцающую белизну жемчуга, нежно прильнувшего к ним. Хаотическое изобилие красоты и богатства должно было бы утомить глаза и заставить их сомкнуться, еслиб они не были прикованы к одному светлому видению, в котором, как в фокусе, соединились все взоры. Посреди стола царит сама Венера,—та, кото-

рую благотворительная волна вынесла на земной берег из неведомых глубин...

Осмелюсь ли я шепнуть вашему целомудренному ушку имя, которое богиня избрала для своего возрождения во Франции? Это графиня Дюбарри!

Вы ужасаетесь! Но, как лойальная французенка, можете ли вы ужасаться? Разве вы не знаете, что ваш король возвысил ее до себя и что канцлер, министр финансов и первые дамы страны принадлежат к ее двору? И разве вы сами не обязаны ей благодарностью за то, что она вызвала падение Шуазеля, министра философов и свободомыслящих, и вновь укрепила влияние церкви, подвергавшееся опасности?

Вы смеетесь—наконец-то! Пафос высшей политики так же мало к лицу Гюи Шеврезу, как и вам напыщенная важность хозяйки Эльзасского замка. Я не спрашиваю ни о заслугах, ни о грехах графини Дюбарри, как не спрашивал и король о происхождении своей богини. Она нас забавляет, и в этом заключается достаточное основание для ее существования. Повидимому, мы нуждаемся в том, чтобы из недр народа, от времени до времени, появлялся такой свежий источник, иначе мы, бедные, с незапамятных времен прикрепленные корнями к одной и той же почве, могли бы зачахнуть от недостатка влаги.

Перестаньте же возмущаться, прелестная маркиза! Там, в круглом салоне, с зеркальными стенами, отражающими бесконечное число раз любовные сцены, которыми кисть Фрагонара украсила сводчатый потолок, народная плясунья Курмилль вертится, изображая смешной танец предместья. Скоро изящные ножки принцесс присоединятся к танцу и, соперничая с нею, откалывают фрикассе. Это уже не менуэт, который танцуют на кончиках пальцев с изящными, почтительными поклонами. Это хватание и дерганье, изгибание и колыханье тела, полное самых пылких вожделений.

Вы краснеете? Пойдем же дальше, прелестная Дельфина, пойдем через китайскую галерею, с ее вазами, птицами и драконами, в театральную залу. Перед этой сценой иногда даже парижанки стыдливо прикрывают

веером лицо. Расина и Мольера не играют больше и уже не приглашают актеров королевского театра. «Истина в вине» Колье внезапно доказывает нам, что мы, вопреки всякому этикету, еще не разучились смеяться от души, а Ларрине, уличный певец, заставляет нас в своих куплетах издеваться над самими собой, между тем как Одэн, бог кутил, своими романсами преступников нагоняет на нас содрогание ужаса—чувство, до сих пор нам неведомое.

Дыхание ваше ускоряется... Вы цепляетесь за мою руку. Теперь уже вы сами хотите видеть еще больше... Требуете большего! Но мы должны уйти. От этой тяжелой бронзовой двери, по крайней мере, в данную минуту, только у короля имеется ключ!

Притом уже наступила ночь, и волшебное царство в Лувьсьене погружается в темноту.

Что же вы думаете теперь о «благодетельном одиночестве Фроберга», о «приятном обществе благородной, благочестивой материи»? Вам не к лицу черное домино, господжа маркиза?..

Я бы хотел, чтобы и ваша душа облачилась в светлые сомнительные одежды. Поэтому мне так трудно исполнить ваше единственное желание, высказанное вами моей сестре, прислать вам новые романы. Наши писатели теперь не что иное, как ветошники. Они копаются в грязи страданий и нищеты, и если вы находите у них случайно лоскут прошлого, то и он неизменно бывает черного цвета и изодран. Они стараются все страдания мира заключить в узкие рамки одного рассказа. Они воображают, что нам они кажутся необыкновенно глубокомысленными, между тем как они только скучны, раздражительны и слабы. Лица у них вытянуты, глаза потуплены и углы рта опущены. И эти философы воображают, что похожи на англичан, которые в настоящее время пользуются у нас еще большим влиянием, чем они!

До своего приезда в Фроберг я постараюсь найти что-нибудь истинно французское и поэтому веселое, но так как красивые женщины любят книги только тогда, когда у них нет поклонников, то, я надеюсь, вы освободите меня от этого поручения.

Простите мне это бесконечное письмо. Так сладостно, хотя бы в мыслях, находиться вблизи вас, что как-то невольно стараешься отсрочить расставанье.

Граф Гюи Шеврез—Дельфине.

26 июля 1773 г.

Ваше розовое письмо, прекраснейшая маркиза, повергло меня в бурный восторг. Я не буду давать покоя ни днем, ни ночью портнихе моей сестры, чтоб она, как можно скорее, приготовила ее сельские туалеты, и наш приезд в Фроберг мог бы ускориться. С тех пор, как я знаю, что вы «с радостью» ожидаете нас (ах, зачем вы всегда говорите: «нас», вместо того, чтобы хоть один единственный раз упомянуть только обо мне?), я не имею ни минутки покоя. Мои сундуки уже уложены. Лучшие любовные истории, какие только я мог найти—кто же может читать что-нибудь другое, находясь в вашей близости?—новейшие песенки, остроумнейшие куплеты, я уже запрятал в дорожной коляске. Я разыскиваю самых быстрых лошадей. Но даже, еслиб они могли лететь, мое страстное желание всегда опередит их.

Еще одна просьба, с которою я осмеливаюсь обратиться к вам, но не ради себя, а ради той, которая слишком робка, чтобы высказывать вам ее—ради моей сестры Клариссы. Вы знаете, что шевалье де-Мотвилль домогается любви моей сестры, и что его верная преданность победила ее сердце. Она утверждает теперь, что должна будет умереть, если ей не удастся победить сопротивление моей матери. Согласитесь ли вы оказать Клариссе дружескую услугу и пригласить шевалье одновременно с нами во Фроберг, чтобы доставить ей возможность встретиться с тем, к кому так стремится ее сердце? Вы не должны опасаться, что де-Мотвилль будет вам в тягость. Он не обратит внимания даже на богиню любви, если его возлюбленная будет находиться возле него.

Будьте готовы, прекрасная маркиза, увидеть ваших гостей почти вслед за этим письмом.

Лили Браун. Письма маркизы.

Маркиз Монжуа—Дельфине.

Париж, 5 августа 1773 г.

Моя милая Дельфина! Как могли вы так истолковать мое письмо, написанное с самыми добрыми намерениями? Я менее всего желал бы вызывать слезы на ваших глазах. Будьте уверены, что я не имею желания ни «ограничивать вашу свободу», ни превращаться из супруга «в школьного учителя». Я хочу лишь руководить вами так незаметно, как только возможно, и моя мать, конечно, не имеет другого намерения. Если бы вы выказали немного более доверия, немного более детской любви, вместо высокомерия и запальчивости, то дело не дошло бы до таких неприятных объяснений. Может быть, моя мать поступила слишком строго, отклонив визит графа де-Шеврез, но в виду вашего семейного траура и моего отсутствия это, конечно, вполне понятно. Меня даже немного позабавило, что вы по этому случаю вдруг вспомнили о своем положении, как хозяйки дома, и отдали приказание притопить комнату для гостей. Моя мать очень оскорбилась и написала мне письмо, но я думаю, что мой ответ, в котором я ей доказываю, что моя супруга имеет право на некоторую самостоятельность даже по отношению к ней, должен был ее успокоить.

А ваш гнев, моя дорогая, я надеюсь несколько смягчится, когда вы познакомитесь с содержанием маленького сундучка, который передаст вам мой курьер.

Я сам был у m-me Бершен, которая принимает в своей мастерской, точно герцогиня. Самые красивые девушки должны были показывать мне новейшие модели костюмов. Удивительно, что и здесь мода все более и более отдает предпочтение легким и мягким материям, вместо прежних тяжелых и не гибких! Теперь на улицах показываются в таких костюмах, в каких наши бабушки посовестились бы показываться даже дома. Я почти готов был бы отказаться от такой моды, если бы не представлял себе, как хороша должна быть моя Дельфина в этих мягких одеждах, так просто облегающих ее стройную фи-

гуру! Как соблазнительно должны выглядеть эти кисейные косынки, эти шелковые шали, которые обвиваются вокруг ее белой шейки. Я побывал у м-г Бурбона, башмачника дофини, и передал ему на мерку ваш башмачок; еслиб вы видели его восторг, но, конечно, не по поводу башмака, который он назвал плохим, а по поводу маленькой ножки, для которой он был предназначен. «Еще меньше, чем у принцессы Геменз, а под'ем еще выше, чем у маршалши Мирфуа!—воскликнул он и прибавил: «Мы должны будем покрыть эту ножку драгоценностями». Я вынужден был согласиться, чтобы он усеял драгоценными камнями свои изящные произведения башмачного искусства.

У м-те Мартен я приобрел баночку севрского фарфора с индийскими румянами, а у Боляра, куафюры которого далеко превосходят изяществом и вкусом куафюры старого Белу, я взял баночку новой золотой пудры.

Останусь ли я все тем же, внушающим робость гофмейстером, или же я могу надеяться, наконец, на благосклонную улыбку?

К сожалению, я могу получить ответ на этот вопрос только через несколько недель. Мои дела еще не кончены.

Я говорил вам, в свое время, о м-г Бужоне, банкире двора. Такие люди, как принц Роган, безгранично доверяют ему, поэтому и мне пришлось преодолеть мое несколько старомодное воззрение, что дворяне не должны заниматься денежными делами, и самому вступить с ним в переговоры. Его обхождение со мной было безупречным и, вероятно, я уже пришел бы с ним к какому-нибудь решению, если бы вчера не принял его приглашения посетить его роскошный дом в Елисейских полях. Но впечатление, внесенное мною, было в высшей степени неприятное. Ни один королевский принц не имеет такого дворца, как этот выскочка! Все художники, повидимому, представили свое искусство к его услугам. Общество, которое он принимает у себя, первое в Париже по знатности и умственному превосходству, а то, с каким оттенком преданности и почтительности все обращается с ним, заставляло мою кровь закипать от негодования. Около молодых дам его семьи

теснятся камергеры и офицеры, носящие громкие, старинные имена, и этим дамам, повидимому, достаточно протянуть руку, чтобы получить какую-нибудь графскую или герцогскую корону. Мы уже так далеко зашли, что не только должны переносить этих финансистов, не только держать себя с ними, как с равными в обществе, но даже настолько опустили, что составляем их придворный штат. И самое печальное то, что Версаль уже не служит опорой для старых, строго аристократических воззрений, которых я продолжаю до сих пор держаться!

На следующий же день после ужина у Бужона я прервал с ним всякие переговоры и вступил в сношение с его соперником Сент-Джемсом, в лице которого финансист соединяется с дворянином. Притом же он очень близок с правительством и то, что он сообщил мне интимным образом, только подтвердило мой пессимистический взгляд на внутреннее положение страны.

Само собою разумеется, что я не был в очень радужном настроении, когда в тот же день получил приказ ехать в Компьень, где находится двор в данную минуту. Замечу скользко: эти непрерывные переезды короля с места на место, обнаруживающие в его возрасте все возрастающее беспокойство и болезненное стремление к переменам, наводят страх на генерал-аудитора финансов. Свита всегда бывает громадна, а гостеприимство, которое оказывается личным гостям его величества, должно быть безграничным. Крупные финансисты, охотно приходящие на помощь двору в его частых денежных затруднениях, конечно, пользуются там наибольшим почетом.

В день моего приезда в Компьень я узнал, что столько раз откладываемое под влиянием дофини представление ко двору юной виконтессы Дюбарри, при посредстве графини Дюбарри, ожидается как раз сегодня. Я бы нашел какой-нибудь предлог и отложил бы свой приезд, если бы знал об этом раньше, потому что присутствовать при новой победе этой авантюристки мне было противно до последней степени. Но теперь я вынужден был остаться и это потребовало от меня большой дозы самообладания. Двор замка и галереи были переполнены, и я думаю, что не ошибусь, если скажу, что никто не возбуждает столько

любопытства, преисполненного завистью и восхищением как куртизанки. Доказательством служит поспешность, с которой придворные дамы подражают всяким новым странностям в туалете и манерах этих особ.

Но я не стану отрицать: графиня поразила меня не столько своей красотой, сколько безупречностью своих манер и достоинством, с которым она встретила явно выраженную холодность дофина и дофины. Она ничем не выдавала, даже в отношении короля, свою близость к нему. Многие светские дамы, пренебрегающие подчас хорошими манерами, могли бы брать с нее пример, как надо держать себя.

Вечером было большое собрание в замке. Я очень обрадовался, когда увидел маршала Моранжье, которому все приносили поздравления, так как только что состоялось его оправдание. Его история служила главным предметом разговоров, и все были согласны, что в этом деле гг. Ленгэ и Вольтер сыграли главную роль. Ленгэ—перворазрядный адвокат и писатель, но, повидимому, беспринципный человек. У него конек всегда идти наперекор всеобщему решению народа и поэтому он превратился из республиканца и свободомыслящего в защитника аристократических и клерикальных интересов. Что г. Вольтер поддерживал его в деле Моранжье—это удивило всех, знавших прошлое этого философа. Странное впечатление производит то, что этот знаменитый человек, неизвестного происхождения, вдруг выступает в своем памфлете защитником французского дворянства и возвышает свой голос, к которому все прислушиваются, призывая герольда на защиту нашей чести. Он достиг того, что все честолюбивые лавочки открыто объявили себя принадлежащими к партии Моранжье, для того лишь, чтобы их сочли за дворян. Что касается меня, то такое поведение обоих писателей,—хотя я и должен одобрить его,—усиливает мое презрение к этого сорта людям. Я убежден, что если бы всех философов и «друзей народа» во Франции втянули бы в интимный круг придворного общества, вместо того, чтобы сжигать их книги, то нам не нужно было бы так бояться их.

Насколько подстрекательства этих подозрительных писак уже успели подействовать на парижский народ, мне

стало ясно из той бурной сцены, свидетелем которой я был в Comédie française, спустя несколько дней после окончания процесса Моранжье. Шла пьеса „La Réconciliation poignante“, и когда были произнесены слова: «В темном деле судьи, которым хорошо уплачено, видят лучше нас...», то в зале поднялся такой оглушительный шум, что нельзя было продолжать представление. Топтали ногами, бесновались, выкрикивали обидные замечания по адресу Лентэ и Вольтера... Я не понимал только одного: почему полиция не сочла нужным вмешаться!

Порадуемся же, дорогая Дельфина, на наших мирных эльзасских крестьян, среди которых еще не пошатнулся авторитет церкви и государства. Ведь только он служит оплотом против натиска испорченной столичной черни...

Я буду счастлив снова вкусить мир во Фроберге и получить, наконец, возможность прижать к моему сердцу его прекрасную хозяйку...

P. S. В Компьене я видел принца Фридриха-Евгения, но он так явно избегал меня и так формально и принужденно ответил на мой поклон, что я не считал возможным заговорить с ним. Очень сожалею об этом. Я получил бы такое удовольствие, еслиб я мог разговаривать о вас, дорогая Дельфина, с товарищем ваших детских игр!

Граф Гюи Шеврез—Дельфине.

Аббатство Ремиремон, сентябрь 1773 года.

Прекраснейшая маркиза! Я бы с радостью приветствовал самое неприятное происшествие, еслиб оно доставило мне случай написать вам раньше, чем это я делаю теперь. Насколько это было бы приятнее для меня!

Недалеко от Ремиремона сломалась ось нашей кареты. Мы отправили одного из наших слуг в аббатство, и вскоре оттуда нам был прислан экипаж принцессы Христины, запряженный четверней, который и выручил нас из нашего бедственного положения...

Целый цветник очаровательных женщин приветствовал нас в элегантных покоях этого, в самом широком смысле слова, светского женского монастыря. Широкие голубые ленты ордена св. Ромарика виднелись поверх

пестрых корсажей воспитанниц, а черные плащи были обшиты горностаем. Все казались очень раवгоряченными, и так как я, к сожалению, не мог ласкать себя надеждой, что яркий румянец щечек и блеск глаз вызван моим появлением, то и приписал это действию слишком обильной трапезы, стараясь только воспользоваться этим и увеличить это действие своей любезностью и остроумием. Но скоро я был вразумлен моей соседкой за столом, прелестной маленькой блондинкой, объяснившей мне, что они уже в течение нескольких недель добиваются изменения монастырского устава, чтобы получить право выборов в монастырский совет. Чем шутивее я относился к этому делу, тем громче раздавался ее птичий голосок. Другая, столь же воинственная молоденькая дама, просвещала в этом отношении Клариссу, сидевшую против меня, а когда мы вечером спустились в сад, то я узнал, к своему изумлению, что принцесса, несмотря на свои годы и рант аббатиссы, тоже находилась на стороне молодых.

— Мы предпочитаем, — сказала она, — чтоб эти девушки получили право спорить в зале заседаний, вместо того, чтобы интриговать за закрытыми дверями. Именно это-то и приучает женщин к закулисной политике, составляющей несчастье Франции.

И вот, в стенах Ремиремонского монастыря завязался политический спор, точно в садах Пале-Рояля, в Париже, с тою только разницей, что здесь дамы, принадлежащие к самому старинному дворянству, горячились по поводу вопросов, которые там вызывают словесные поединки между адвокатами, философами и разными шалопадами. Я показался бы себе совершенно лишним в этих спорах, еслиб они не вызвали у меня желания обезоружить юных амазонок своею изысканною любезностью и ухаживанием и сыграть им в руку. Моя скромность не позволяет мне описать вам результат, достигнутый мною, и я предоставляю вам самим нарисовать его себе. Ведь и в вас самих постоянно происходит борьба между воинственностью амазонки и покорностью нимфы!

Как вы дурно обращались со мной! И как мало сумели вы залечить раны, нанесенные вами! В высоких покоех вашего ужасного старого замка, между его неуклю-

жими стульями и темными шкапами, вы казались мне такой неприступной, такой важной! Ваши губы были бледны, ваш взор удерживал меня в отдалении, и ваши руки были холодны, как лед. Если же окованная железная дверь закрылась за вами, Клариссой и мной, и мы уходили далеко в залитый солнечным светом парк, куда не достигали взоры старой маркизы и голос г. маркиза, то жизнь снова возвращалась в ваши мраморные члены и вы оживлялись. Но я не мог похвастаться, что был Прометеем, зажепшим в вас пламя новой жизни. Ваши глаза улыбались, но—ах!—улыбались не мне. И все же для меня незабвенна каждая минута, которую я провел с Дельфиной, и еще незабвеннее были те минуты—такие редкие—которые я провел с нею одной!

Отчего вы не исполнили моей просьбы и не пригласили Мотвилля? Отчего вы все-таки не поняли меня? Ведь одного чтения Буффле, Прево и Мариво было слишком недостаточно, чтобы занять Клариссу!

Все мои рыцарские услуги не в состоянии были достигнуть того, что могла сделать страсть и печальная участь героинь романов. Они-то, по крайней мере, заставили вас понять любовь вашего поклонника. О, Алина, Мэнон и Марианна, я бы покрыл цветами ваши могилы, если бы мог их найти! Вам я обязан, что розовые ушки Дельфины слушали меня, когда я говорил о своей любви, и она, после долгой, долгой мольбы, не отняла своей руки—единственная благосклонность, оказанная мне!—и позволила мне прижаться к ней моими горячими устами.

Не сердитесь за то, что воспоминание об этой минуте так волнует меня. Прекрасным парижанкам придется употребить немало усилий, чтобы сгладить болезненные следы. Но им не удастся ивгнать сладостное воспоминание и надежду, вызванную этим мгновением. Не растопит ли жаркое дыхание Парижа тот лед, который окружает сердце прелестной маркизы?

Должен ли я надеяться, что вы ошастливите меня несколькими строками вашей прекрасной руки, чтобы окончательно не порвалась столь еще тонкая нить, образовавшаяся между нами? С мольбой целую я эту руку, но надеюсь, что скоро поцелую ее с благодарностью!

Граф Гюи Шеврез—Дельфине.

Париж, 21 февраля 1774 г.

Наконец, прекраснейшая маркиза, письмо от вас! Я уже перестал на него надеяться. Я боролся с собой, не зная, должен ли я вам еще раз напомнить о себе и боясь, что я покажусь вам навязчивым. Правда, не очень-то лестно для меня, что вы «ради скуки» пишете мне, и я не знаю, удастся ли мне прогнать эту скуку, тем более, что теперь в Париже—это общая болезнь.

Болезнь короля точно кошмар нависла над двором Версаля. Патеры, в роде аббата Бове, монахини, в роде m-me Луизы, поочередно пользуются там влиянием. Всякого рода темные личности впускаются в задние двери дворца, так как его величество сделался очень суеверным и хочет, чтоб ему гадали. Лишь на несколько часов, самое большое на день, удастся красавице вакханке Дюбарри прогнать его меланхолию. Все дрожит кругом него, частью из боязни, частью в надежде на что-то, и многие здесь производят на меня такое впечатление, как будто они уже уложили тайком свои сундуки. Только во внутренних покоях дофини и в самом тесном придворном кругу еще слышится смех, игры, танцы. Веселье, повидимому, укрылось в маленьких отелях Дютэ, Гимар, Рокур, а с ним удалились туда и некоторые веселые дамы общества, не ко вреду для себя, так как только там можно научиться, что такое удовольствие и что—любовь.

Я еще не забыл вашего изумления по поводу того, что все героини романов, с которыми я познакомил вас—куртизанки. Если бы вы не жили, точно в заточении, в своем старом замке—новый дворец еще не скоро будет построен, шавильона же, который я советовал вам выстроить только для себя, вам придется, наверное, ждать еще дольше—то вы скоро уяснили бы себе, как многие, причину этого явления. Ведь эти девушки свободны! Никакие ножницы этикета и приличий не урезают их чувств, для того, чтобы они, подобно штамбовым акациям, благопристойно стояли в ряд на

своих местах. Никакой супруг не делает из них своей частной собственности, вроде своей собаки, которую он так выдрессировал, что она, даже умирая с голода, не возьмет куска хлеба из рук другого.

В отеле Рокур, этой несравненной актрисы, введенной в моду герцогом д'Аржансон, у ног которой теперь находится половина Парижа, и в отеле Гимар—танцовщицы, пускающей в ход все свое искусство и все свое очарование, чтобы не уступить своей опасной сопернице—я часто встречал нашего общего друга принца Фридриха-Евгения. Полный мыслями о вас, прекрасная маркиза, я бы мог не переставая говорить о вас, но молчаливое спокойствие, чтобы не сказать: равнодушие, с которым принц слушал меня, могло бы заставить меня подумать, что между вами произошла ссора, если бы не непонятная запальчивость, внезапно высказанная им, по поводу моего невинного замечания, что «очаровательная маркиза скоро превратит старый угрюмый замок Фробберг в цветущий французский *Mont de joie*»). Он увидел в этом замечании какое-то оскорбление вашей личности и тотчас же выступил вашим защитником. Он так хорошо сыграл роль вашего старого друга—единственного, имеющего право вступаться за вас,—что я не знал что и думать, а малютка Гимар многозначительно улыбалась, слушая его.

Я бы желал для вас, чтобы вы, хоть на короткое время, познакомились с этой очаровательной танцовщицей. Она часто напоминает мне вас своими мягкими телодвижениями и своей манерой медленно поднимать густые ресницы, прикрывающие ее темные глаза. Только ее тело, согласно новейшей английской моде, не стеснено никакими оковами и так же свободно, как свободна ее привязанность и ее нежность.

— Кто не умеет быть расточительным в любви, тот сам и щипит,—сказала она недавно одной маленькой графине, пожаловавшейся ей на непостоянство своего возлюбленного. Она прибавила с насмешкой: «Кормите его и дальше милостыней ваших небесных взглядов и по-

*) Непереводимая игра слов. Froberg по-немецки значит то же, что *Mont de joie* по-французски—гора веселья.

Прим. перев.

жатыми руки, тогда он неминуемо превратится в вашего злейшего врага и революционера, подобно голодающему и зябнущему народу Парижа, смотрящего на горящие костры, зажигаемые важными господами в угоду вам, перед вашим дворцом, и на крошки хлеба, которые вы ему бросаете!...»

Мое письмо должно будет разочаровать вас, и я боюсь, что оно ни на минуту не прогонит вашей тоски и, пожалуй, даже еще усилит ее. Я настолько жесток, моя красавица, что почти желаю этого, потому что вы так упрямы (или так кротки?), что должны сначала почувствовать себя чрезмерно несчастной, чтобы избавиться от этого несчастья.

Люсьен Гальяр—Дельфине.

Париж, март 1774 г.

Высокопочитаемая маркиза! Я загнал двух лошадей. Произошло ли это от тяжести моего горба или от моих острых шпор—вопрос остается открытым. Я даже не почистил своего платья, не пил и не ел и прямо ворвался в дом. Камердинер принца Фридриха-Евгения, только получив два луйдора, решился поверить моей честности.

Вашей милости тревожиться нечего. Чернильная душа писаки в „Mercure de France“ естественно хотела заставить провинцию задрожать от страха. Никакой опасности для жизни нет. Кончик шпаги графа Гюи Шевреза только немного порезал щеку его сиятельства принца и заставил его потерять несколько унций крови. Но это даже принесет ему пользу, так как охладит слишком большой пыл принца.

О причинах дуэли с достоверностью ничего неизвестно даже камердинеру, преданную дружбу которого я приобрел при помощи еще нескольких луйдоров. Одно, повидимому, верно, что ссора произошла в отеле m-lle Гимар, той самой красивой дамы, которую вчера принимал принц. Очевидно, в Париже теперь вошло в моду принимать в постели, и даже мужчины большого света дают в постели свои аудиенции.

Но меня, конечно, не приняли, потому что вы не позволяли мне назвать никому другому, кроме принца, имя той, которая послала меня. Впрочем, тут виновата моя собственная глупость. Завтра я перемену простое имя Гальяра на какое-нибудь другое, увенчанное семи или девятизубчатой короной, и тогда меня впустят не в заднюю дверь, а широко откроют передо мной парадные двери.

Я пошлю тогда, вслед за сегодняшним, второго жюрёра с письмом.

Позвольте мне выразить вам мою неизменную благодарность и преданность. Я жалею, что, кроме пары лошадиных ног, ничем больше не могу пожертвовать для вас.

Люсьен Гальяр—Дельфинё.

22 марта 1774 г

Высокопочитаемая госпожа маркиза! Только что посетил принца. Мое сообщение заставило его привскочить на постели. Я мог при этом убедиться, как еще много здоровой крови наполняет его жилы, так как лицо его запылало как огонь, лишь только я произнес ваше имя.

— Напишите вашей повелительнице,—сказал он,—что я ничего так страстно не желаю, как быть действительно больным при смерти, чтоб ее трогательная заботливость могла вернуть меня к жизни.

Он не отпускал меня почти три часа. Он не переставал расспрашивать меня, слушать меня. Я должен был порадоваться тому, что ваш образ так неизгладимо запечатлелся в моей памяти, и поэтому я мог изобразить в словах каждый ваш взгляд, каждую улыбку, каждое движение. Его сиятельство даже уверял меня, что никакие краски Буше не в состоянии более жизненно и ярко передать ваш образ, чем это сделали мои слова. Какая-то м-ле Рокур велела доложить о себе во время моего визита. Но он с такой презрительной миной уклонился от ее посещения, что еслиб она это видела, то, наверное, больше не явилась бы к нему.

Я посетил сегодня мою «больную» мать. Мне незачем рассказывать сказки г. маркизу. Ее желание видеть меня

было так же велико, как мое. Только, когда она убедилась, что я явился к ней не для того, чтоб требовать от нее что-нибудь, ее материнская нежность внезапно проснулась. В общем, ей живется хорошо. На деньги своего возлюбленного, которому, благодаря несчастной случайности, я обязан своей жизнью (я понял только тогда, что должен быть ему благодарен за это, когда мне представилась возможность служить вам),—мать моя арендовала кафе-ресторан в саду Пале-Рояля. У нее собираются величайшие говоруны Парижа. В один час я наслушался там больше, чем мог передумать во всю свою жизнь, хотя, как вашему сиятельству известно, мне всегда оставляли много времени для размышлений. Ведь я был незаконнорожденный, и поэтому господа и слуги одинаково избегали меня! Но этим именем, которого я стыдился, я могу теперь похвалиться, на основании моих новых познаний, «Незаконнорожденные умы»,—этим именем один из посетителей m-ше Гальяр, в котором я узнал бывшего гофмейстера принца Фридриха-Евгения, г. фон-Альтенау,—назвал всех просветителей, писателей и философов, которые стоят между народом и дворянством, но не как соединяющий, а как разрушающий элемент. Что излагали в своих произведениях Вольтер, Руссо, Дидро, и как их там всех называют—я в первый раз слышал их имена,—то другие распространяют теперь в народе посредством газет, памфлетов и речей. Поэтому в каждом маленьком трактире, лавочники и ремесленники рассуждают о политике и философствуют. О короле говорят так, как будто он уже умер. Возникают горячие споры за и против тех людей, которых призовет дофин. Есть такие, которые полны надежд на будущее и ждут наступления славного времени и конца всех бедствий. Большинство уже скептически улыбается и молча пожимает плечами, слушая такие речи. Для такого, как я, перенесенного сюда из своего пожизненного одиночного заключения, все это носит характер какого-то лихорадочного сновидения. Когда я проходил весной по садам Фроберга, то порою испытывал такое ощущение, как будто предстоит что-то чудовищное, огромное. Но потом я во-время вспоминал, что таким калекам, как я, не дожидаться этого. Здесь же

я испытываю смутное ощущение, что для восприятия того великого, что предстоит, нужен прямой ум, а не прямое тело...

Ваша милость научила меня, всегда молчаливого, говорить и поэтому вы должны простить мне, что я становлюсь все болтливее и болтливее.

Я жду, согласно уговору, дальнейших приказаний вашего сиятельства.

Иоганн фон-Альтенау—Дельфине.

Париж, 30 марта 1774 г.

Дорогая маркиза! Когда маленькая графиня Лаваль превратилась в маркизу Монжуа, то, говоря откровенно, она исчезла для меня, как прекрасный сон. Я думал, что когда-нибудь встречу маркизу, но она уже будет чужая для меня, будет одною из многих прекрасных женщин, с такими же, как у всех, румянами на щеках, скрывающими всякий след страданий и любви, с такою же улыбкой на устах, одинаково приветствующей врага и друга, с таким же направлением ума, для которого небо и земля составляют лишь предмет разговора.

И вот, случай, воплотившийся в лице толстой хозяйки кафе де-ля-Режанс, свел меня с горбатым человеком, относительно которого я все еще нахожусь в недоумении, служит ли он вашим придворным шутком или вашим кавалером? Но этот удивительный чудак познакомил меня с маркизой Монжуа. Она уже больше не графиня Лаваль—в этом меня не обмануло предчувствие,—но она и не одна из многих! Я почти готов думать, что она—человек, потому что она чувствует муки жизни.

Не гневайтесь же на меня, если я скажу вам, что в Париже находится человек, который отдает себя в ваше распоряжение. Может быть, он найдет какое-нибудь средство—если вы милостиво захотите завязать с ним сношения—облегчить вашу скорбь, хотя и не сможет обратить ее в радость.

Принц Фридрих-Евгений Монбельяр Дельфине.

Париж, 3 апреля 1774 г.

Дорогая Дельфина, незабвенная подруга! Свою горячую благодарность за то благодеяние, которое вы оказали мне, я должен попытаться выразить вам лично, а не через посредство вашего верного посла. В своей невинности вы даже и понять не можете, как много вы сделали для меня. Вы спасли мне, быть может, даже большее, чем жизнь, после того, как вы сами же толкнули меня в бездну, худшую, чем смерть. Я был на пути к погибели... Ах, я бы хотел покаяться вам и получить от вас отпущение грехов. Это вернее освободило бы меня от них, чем если бы это сделал сам папа!

Париж стал мне противен. Я не могу больше выносить его тяжелый, спертый воздух. Я жажду вдохнуть бодрящий весенний аромат, исходящий от родной земли. Как только моя рана позволит мне выехать, я вернусь в Монбельяр и останусь там до тех пор, пока не заживут еще более глубокие раны моего сердца и мне можно будет переехать в Этию,—наш прекрасный Этию!

Но я еще не знаю, что может излечить эти раны. Удовольствия Парижа оказались лишь перевязкой, сделанной неловким хирургом, а разлука с вами действовала как раз'едающий яд, не допускающий заживления. Свидание с вами закроет ли эту рану? Все равно! Еслиб я даже знал заранее, что буду истекать кровью, все же я не стану колебаться ни минуты. Лишь ваш отказ может отправить меня в изгнание. Но я знаю, вы не в состоянии вынести мне такой приговор. М-г Гальяр затруднялся, что восхвалять больше: вашу красоту или вашу доброту? Бедняга, он точно мотылек сжег свои серые крылышки, летя на свет ваших очей!

Я снова увижу вас и постараюсь забыть, что приветствую в вашем лице маркизу Монжуа.

Простите дрожащий старческий почерк этого письма, пусть это не беспокоит вас, дорогая Дельфина. Но как ни радует меня эта заботливость обо мне, я все же должен сказать, что причиной моего дрожащего почерка

является не столько слабость, сколько волнение. Я знаю теперь, что должен чувствовать путешественник в пустыне, изнывающий от жажды, с пересохшим горлом и потрескавшимися губами, когда он вдруг увидит перед собой прохладную тень высоких пальм и светлые струи источника!..

Принц Фридрих-Евгений Монбельяр—Дельфине.

Монбельяр, 30 апреля 1774 г.

Дельфина, дорогая Дельфина, отчего не отвечаете вы мне? Я тщетно ждал в Париже вашего письма и надеялся хоть здесь найти какую-нибудь весточку от вас. Все напрасно! Было ли это слишком опрометчиво, с моей стороны, только исходя из вашей заботливости, вывести заключение, что в вашем сердце сохранился еще остаток прежнего расположения ко мне? Когда граф Шеврез, в присутствии повес и девок, начал говорить о Монжуа, где он нашел дворец Венеры, мне показалось, что я понимаю наглый смысл его слов. То, что я мог это подумать, было для вас оскорблением, и вы правы, не удостоивая меня больше ни одним словом.

Но, Дельфина, ради нашего детства, которое глядит на меня здесь из каждого куста, из зеркальной поверхности каждого пруда, — простите меня! И ради моей любви к вам, скажите мне хоть одно доброе слово. Только ваше сострадание и ваш гнев невыносимы для меня!

Если же болезнь причиной вашего молчания—я не смею останавливаться на этой мысли,—то поручите Гальери ваш ответ. Я изо всех сил цепляюсь за каждую соломинку надежды и слишком боюсь, что вы сами отнимете ее у меня, поэтому и не решаюсь встретиться с вами.

Маркиз Монжуа—Дельфине.

Париж, 8 мая 1774 г.

Милая моя! Известие о смерти короля придет раньше моего письма. Когда я, в четверг утром, вступил

в Версаль, повсюду уже царило сильнейшее волнение. Партия Дюбарри, с герцогом Эгильоном во главе, уже находилась в сборе, так же, как и партия Шуазеля, собравшаяся у дофини, вместе с герцогиней де-Грамон, вызванной, к великому негодованию короля, из своего изгнания. Даже непосвященный ни во что мог бы судить о положении дел по нескрываемой тревоге, выражавшейся на лицах одних, и плохо сдерживаемой радости и торжеству других.

Вечером больной король был перевезен из Трианона, куда его увезла всемогущая фаворитка, для того, чтобы до конца удержать в своей власти. Это возвращение короля совершилось при таких условиях, что должно было бы потрясти самого хладнокровного наблюдателя. Дождь лил потоками, когда золоченные королевские кареты медленно, точно похоронная процессия, двигались по грязным улицам к замку. Султаны на головах лошадей, намоченные от дождя, печально повисли. Короля осторожно приподняли из кареты на подушках и понесли. Голова его поникла, и на лбу, желтом, как воск, выступили крупные капли пота. Сквозь сжатые губы вырывался временами хриплый стон, когда его проносили мимо его придворного штата. Как только его положили на кровать, он с тревогой стал молить окружающих, чтоб они сказали ему правду относительно его болезни. Хотя он всегда очень много говорил о своем геройском мужестве, но, в сущности, он ничего так не боялся, как смерти. Он тотчас же окружил себя открытой и тайной стражей, не понимая того, что она ведь не преградит дорогу смерти!

На следующий день королю два раза пускали кровь. Когда же врачи сказали, что, может быть, придется это сделать и в третий раз, то и ему самому, и всем его окружающим стало ясно, насколько серьезно было его положение. Герцоги Ришелье и Омон в моем присутствии бросились чуть не с кулаками на врачей, чтобы помешать им произвести эту операцию. Врачи испугались за свое положение и поэтому уступили. В субботу, 30 апреля, все тело короля внезапно покрылось такою

же сыпью, от которой он страдал в своей юности. Врачи теперь официально назвали это оспой. Король впал в состояние апатии. Партия Шуазеля воспользовалась этим и настояла на том, чтобы к королю были допущены его дочери: Аделаида, София и Виктория. Архиепископ уже дожидался в прихожей, рассчитывая при помощи своего влияния добиться изгнания Дюбарри с ее свитой. Но как только больной пришел в себя, он выгнал своих дочерей и с горячностью потребовал к себе графиню. Принцессы, впрочем, не в состоянии были бы выдержать дольше ужасного запаха в комнате короля, тогда как графиня оставалась возле него, не выказывая никаких признаков дурноты.

Ничего тут нет удивительного, когда сам родился на улице!..

Рассказывают, что у нее хватило дерзости принести с собой бриллиантовое ожерелье сказочной цены, которое ей предложил купить ювелир Бемер. Она положила его перед умирающим королем и просила подарить ей. Едва ли он понимал что-нибудь из того, что она говорила, но он притянул к себе ожерелье своими покрытыми нарывами горячими руками, которым было приятно прикосновение холодных камней.

Посредством шуток и нежностей графиня старалась пробудить бодрость у умирающего и надежду на выздоровление. Герцог Ришелье поддерживал ее старания тем, что не допускал к королю архиепископа, который хотел своевременно исповедать умирающего и поэтому не уходил.

— Если вы так жаждете великих грехов, монсиньор,—сказал ему старый повеса со свойственным ему цинизмом,—то возьмите мои! Могу вас уверить, что за двадцать лет вашего архиепископства в Париже вы не слышали ничего подобного!

Борьба партий около умирающего короля приняла, в конце концов, настолько бурный характер, что шум проник даже в его комнату. Тщетно старался я водворить спокойствие, потому что, как ни враждебно отношусь я к партии Дюбарри, тем не менее, я все же помню, что король преемник великого Людовика и, во всяком слу-

чае, как умирающий, заслуживает, чтобы к нему относились с тем безмолвным почтением, какое всегда внушает приближение смерти. И только, когда король был уже в полусознательном состоянии, священники добились от него удаления графини.

Через несколько часов после смерти короля я приехал в Париж. Везде мне попадались навстречу ликующие массы народа, и крики: «Да здравствует Людовик XVI» раздавались на всех улицах. Как ни антипатично мне всякое скопление народа, но в этом случае я чувствовал себя заодно с чернью.

Потрясающие события, которые должны будут повлиять на судьбы Франции, отодвинули на задний план те разногласия, которые возникли между мной и вами незадолго до моего ускоренного отъезда из Фроберга. Я теперь спокойнее отношусь к этому, так как думаю, что ваше поведение является лишь результатом вашего положения. Я постараюсь обращаться с вами отныне как с больной, но все же хотел бы вам напомнить, что хорошо воспитанные женщины считали до сих пор своим долгом сдерживаться даже в самые трудные минуты своей жизни. Я до сих пор не могу понять, почему любезное приглашение княгини Монбельяр и высказанное мною желание, чтобы вы своим согласием поддержали дружественные соседские отношения с нею, могло так рассердить вас? Ведь, по вашим же уверениям, княгиня была для вас второю матерью! В своем письме она с особенным ударением говорит о «тихой сельской жизни», которая предлагается вам в Этиопе. Ваше возражение, что вы не можете показываться с такой «изуродованной фигурой», не более как пустой предлог при данных обстоятельствах. Вам не представляется случая одерживать триумфы в обществе, и поэтому ущерб, нанесенный вашей красоте, не имеет значения. А так как вы вообще находите Фроберг угрюмым и скучным, то солнечный Этиоп должен повлиять на вас вдвойне благотворно. Княгиня же, при своей доброты, конечно, окружит вас самыми заботливыми попечениями.

Однако, спор, возникший между нами по поводу приглашения, был только прелюдией к той сцене, которую вы разыграли, выказав при этом безусловный талант для ролей трагических героинь. Я думал смягчить вас, напомнив вам о необходимости позаботиться о будущем ребенке, но своими словами я только подлил масла в огонь.—«Позаботиться о ребенке!—крикнули вы, не желая замечать, что Тальяр нарочно остановился под вашим открытым окном. — Я не хочу иметь от вас ребенка! Я стыжусь этого ребенка!..»

Надеюсь, что теперь вы стыдитесь своего собственного поведения, о котором я вам напоминаю единственно с той целью, чтобы вы увидели его, как в зеркале.

Но я уже сказал, что смотрю на это, как на болезненное состояние, которому подвержены молодые женщины, находящиеся в известном положении; поэтому я и прощаю вам афронт, который вы причинили мне. Не настаиваю также и на визите в Этюп. Ведь бывают же случаи, что беременные женщины чувствуют непреодолимое отвращение как раз к своим самым любимым кушаньям!

Я пишу вам все это именно потому, что хотел бы, чтоб об этом деле между нами не упоминалось больше ни слова.

Принц Фридрих-Евгений Монбельяр—Дельфине.

Монбельяр, 10 мая 1774 г.

Обожаемая Дельфина! Чем дольше я не получал вашего ответа, тем лихорадочнее работала моя фантазия: я видел перед собой небо и ад и думал, что все могу перенести. И все-таки, действительность окончательно сразила бы меня, еслиб между строк вашего письма я не услышал биения вашего сердца, не увидал слез в ваших очах!

Вы отклоняете мое посещение. Вы боитесь его! Вы желаете, чтоб я не забывал Дельфину Лаваль, и поэтому не хотите, чтоб я видел Дельфину Монжуа. Вы оставляете мне лишь слабую надежду, что когда-нибудь наступит время, когда великий поворот судьбы избавит

подругу моих юных лет от столбняка, в котором она находится. Вы несчастны, Дельфина, несчастны, как и я, и не позволяете мне помочь вам! Я завидую графу Шеврезу, я даже постараюсь забыть его легкомысленные речи, потому что он в состоянии был доставить вам часы веселья.

Были моменты, после получения вашего письма, когда желание иметь возможность помочь вам заглушило во мне все другие эгоистические чувства. В один из таких моментов я и попросил мою мать пригласить вас. Повинуясь вашему желанию при всех обстоятельствах, я бы не переступил порога жизнерадостного замка Этюп, так же, как не переступил бы порога вашего мрачного замка.

Еще многое хотелось бы мне сказать вам, потому что мое сердце переполнено. Но еслиб я начал, то не мог бы остановиться, как не может остановиться поток, бьющий из глубоких недр земли...

Иоганн фон-Альтенау—Дельфине.

Париж, в сентябре 1774 г.

Высокоуважаемая госпожа маркиза! Я уже отложил надежду получить от вас известие и глубоко уважаю ваше молчание, которое у большинства людей, как и у животных, пораженных на смерть, бывает следствием глубокого страдания.

И вот, я постоянно перечитываю ваше письмо и по недосказанным словам, по рассказам г. Гальяра и по вашему почерку, буквы которого прежде прыгали в разные стороны, точно веселые маленькие кобальды, а теперь чинно и степенно выступают перед мною равными рядами, как испуганные дети перед строгим учителем, я стараюсь составить себе представление о женщине, которой теперь я пишу.

«Я уже больна много недель,—пишете вы; я лежу,—точно мертвое тело в церкви,—на ужасной, большой кровати, которая никак не может согреться,—посреди высовой, мрачной комнаты. Что снаружи теперь лето—я этого не замечаю! Мне кажется, что окна в этом замке

нарочно так построены, чтобы в них заглядывало только зимнее солнце». Затем вы рассказываете о залах, всегда имеющих пустынный вид, сколько бы в них ни ставили мебели, и о жизни, которая так же пустынна, потому что наполнена отжившим, старым хламом. Кто же это, маленькая ли Дельфина, которую я знал когда-то, или маркиза, которую я ожидал встретить?

Я должен вам преподнести что-нибудь «живое», чтобы, по крайней мере, «отголосок шума и смеха» достиг вас. Но я должен вас разочаровать, маркиза: Париж, который я знаю, шумит—это правда,—но уже не смеется. В те часы, когда прежде на бульваре Лоншан знаменитые куртизанки Дютэ, Клеофиль и др. раз'езжали в своих великолепных колясках, отделанных севрским фарфором, выставляя на показ свои роскошные туалеты, высоко взбитые прически и обольстительную улыбку, а народ глазел на них и на сопровождавшую их золотую молодежь,—теперь, ежедневно, в кофейнях Пале-Рояля собираются люди, число которых постоянно возрастает. Они приходят туда, чтобы почитать свежие газеты и памфлеты, поговорить о новейших общественных или политических скандалах, поспорить о философских и литературных вопросах. Для многих эти общественные места, где можно собираться, заменили знаменитые в свое время салоны, и не потому только, что здесь они не выходят из своего привычного круга или что они предпочитают старым знаменитостям молодых неизвестных, но также и по той причине, что в непринужденности одежды и разговора они открыли новую привлекательность, которой не хватало салонам. Кроме того, было и еще одно обстоятельство, заставившее многих из теперешних завсегдатаев кофейен покинуть прежние салоны, это—их убеждение в том, что все увеличивающееся влияние женщин в этом веке оказало печальное воздействие на внутреннее и внешнее положение Франции.

Только мужская культура, по мнению многих, может спасти нас от той бездны, куда мы теперь стремимся. Но забавно при этом, что чем больше мы освобождаемся от влияния женщин, тем больше занимаемся ими,

только, вместо любовных писем, теперь пишут ученые трактаты о женщине и подвергают самому тщательному исследованию и испытанию ее силы и способности. Тома из французской академии первый опубликовал исследование характера, нравов и ума женщин.

При чтении этой книги мне вспомнился следующий анекдот: Софи Арно, более прославившаяся своими острыми словцами, нежели своим астматическим пением, попросила однажды Тома, который был в то время администратором одного парижского департамента, чтоб он велел переделать камин в ее доме. «Я переговорил с министром о вашем деле, как философ и гражданин...», ответил он ей, в конце концов. «Ах, милостивый государь, какая мне польза от этого!—прервала она его. —Лучше бы вы говорили об этом как трубочист!»... Боюсь, что он так же отнесся и к женщинам, как к каминам. Не как гражданин и философ должен был он рассуждать о женщинах, а как чувствующий человек, как это сделал, например, Дени Дидро в своем разборе этого сочинения. Я не могу удержаться, чтобы не привести вам некоторых его фраз, хотя мне и приходится для этого нарушить их связь с целым. Он рассказывает: «Я вижу, как дрожит от ужаса благопристойная женщина при приближении своего супруга; я вижу, как она погружается в ванну, с ужасом думая, что никогда ей не очиститься от следов исполнения супружеских обязанностей. Такое чувство телесного стыда нам совершенно неизвестно. Даже в объятиях любимого человека женщины не всегда испытывают величайшее блаженство, тогда как мы можем испытать его с любой доступной женщиной, к которой мы совершенно равнодушны»... В другом месте, где он изображает законы и обычаи, навязываемые женщинам, он говорит: «Во всех странах жестокость гражданского законодательства соединилась с жестокостью природы против женщин. К ним относятся как к детям или идиотам. Нет такого мучительства, даже у культурных народов, какое не мог бы себе позволить мужчина по отношению к женщине! Если же она осмелится возмутиться, то ее поведение наказывается всеобщим презрением».

Сам фернейский патриарх, не выносящий, даже в течение короткого времени, чтобы общество не занималось им, вмешался в рассуждения на тему о женщине. По крайней мере, все говорят, что его перу принадлежит один, недавно появившийся, остроумный памфлет. Он требует ни более ни менее, как невозможного облегчения развода, который должен быть делом государства в интересах семейного благополучия, а отнюдь не делом церкви: «Что муж всегда старается вознаградить себя любовницами, а жена—любовниками, это еще не составляет решения вопроса», говорит он.

Автор другой анонимной брошюры требует для оздоровления брака уничтожения приданого. Но, мне кажется, что это было бы полумерой. Правда, мужчины стали бы вступать в брак только по любви, но совершенно немущие женщины, более чем когда-либо, стали бы заключать браки по расчету.

Я рассказал вам обо всех этих курьезах, думая возбудить, по крайней мере, ваше любопытство, а может быть, даже вызвать у вас улыбку. Но и это уже было бы большим прогрессом. Однако, я потерял нить своего письма. И единственным для меня утешением может служить лишь уверенность, что моя корреспонденция, в которой я так погрешил против стиля, никогда не попадет в руки типографского наборщика. Итак, я снова возвращаюсь к началу моего письма. Я хочу раньше изобразить вам рамку той картины, которую я намерен впоследствии нарисовать во всех подробностях, если только вы не заставите меня замолчать.

Мы остановились на кофейнях Пале-Рояля. Если погода хорошая, то в поздние, послеобеденные часы толпа рассеивается по аллеям. Там можно видеть и женщин в красивых полонезах с огромными муфтами или длинными палками в руках. Число прогуливающихся дам увеличивается с каждым годом. Вошло в моду гулять на чистом воздухе, и врачи поддерживают эту моду всеми силами. Истерия, которую считали притворной болезнью светских дам, превратилась в действительно серьезное заболевание, и врачи приписывают это комнатному воздуху, сидячему образу жизни и отсутствию движения, а

также употреблению чая в большом количестве и шнурованию тела. В последнее время можно встретить у ворот Парижа даже герцогинь, прогуливающих пешком и уменьшивших объем своих юбок ради удобства движения. А в саду Пале-Рояля появились недавно молодые, хорошенькие женщины, которые, вместо того, чтобы стягивать грудь корсетом, прикрывают ее просто кисейной косынкой.

Вы видите, дорогая маркиза, что стиль моего письма безнадежен. Мысль о той, кому адресовано это письмо, путает все мои фразы, и так как я не смею говорить только о вас, то невольно начинаю говорить о женщинах вообще. Но разрешите мне сделать еще одну, последнюю, робкую, попытку вернуть мои мысли в прежнее русло... Когда же по вечерам запираются ворота Пале-Рояля, то открываются двери клубов. Это—собрания людей, преследующие литературные, философские и политические цели. Форму этих собраний мы заимствовали у Англии. Они растут и размножаются точно сорная трава. Почти каждый мелкий лавочник отправляется после ужина в свой клуб, где, по крайней мере, он может доставить себе удовольствие рассуждать обо всем, сколько душе угодно. Народное волнение, в прошлом месяце, вызванное известием об отставке канцлера, было бы немислимо без таких клубов и их просветительной работы. До сих пор парижане собирались толпой только в том случае, если какая-нибудь старая королевская любовница отправлялась в изгнание или же новая водворялась в маленьких королевских покоях. До некоторой степени ими руководили тут отцовские интересы; они гордились тем, что были главными поставщиками любовных наслаждений важных господ. Они низко кланялись собственной дочери, когда какой-нибудь принц увещивал ее бриллиантами. А теперь они плюют при встрече с ней. Кое-какое самосознание уже пробуждается в этих жалких маленьких мозгах, только никто из властителей еще не хочет признавать этого.

В то время как в клубах, по вечерам, горячо обсуждаются вопросы о свободе торговли и налогах,—вопросы, получившие особенно жгучий характер, с тех пор как у

кормила правления стоит Тюрго,—принц Субиз, этот оперный султан, попрежнему заседает в своем серале и милостиво принимает в своей ложе отставных танцовщиц, получающих от него пенсию, и юных учениц. А велико-светское общество спешит, после Пантена, к Гимар, смотреть сладострастные комедии, старающиеся превзойти друг друга своим неприличным содержанием, или же отправляется в отель м-те де-Монтессон, которая, несмотря на свои тоды, все еще продолжает играть роли юных любовниц в своем собственном театре и остается до сих пор Эгерией герцога Орлеанского.

Я же, с своей стороны, дорогая маркиза, провожу свои вечера всего охотнее в таком обществе, которое можно было бы назвать первым в Париже по уму и остроумию, хотя оно и не блещет ни титулами, ни именами. Это общество собирается у м-те Жоффрен.

Как бы я желал, чтобы вы познакомились с этой удивительной женщиной, которая сумела привлечь к себе лучшие умы Франции, не будучи уже ни молодой, ни красивой. Даламбер, Тюрго, Дидро—ее постоянные посетители. У нее в салоне свободно высказывается то, что за его стенами неминуемо приводит в Бастилию, но что составляет уже истину и религию грядущего века.

Вы найдете, пожалуй, что я слишком беззащитно пользуюсь вашим милостивым разрешением писать вам. Но мне представляется, будто вас снова окружает ночная тьма и вдали алеет зарево пожара, а вы—маленькая графиня Лаваль—стоите передо мной и смотрите большими горящими глазами, спрашивая дрожащим голосом: «Неужели это правда? Неужели это может быть?»...

Должен ли я отвечать вам—это вы решите сами!

Иоганн фон-Альтенау—Дельфине.

Париж, 3 октября 1774 г.

Высокоуважаемая госпожа маркиза! Ваш быстрый ответ привел бы меня в восхищение, еслиб я мог приписать его действию своего письма. Но именно горячность вашей благодарности, далеко не соответствующая моим заслугам, укачивает мне, что вы томитесь, что даже самая

ничтожная капля воды может служить для вас облегчением. Вы забрасываете меня множеством самых разнообразных вопросов, и чтобы ответить на них, я должен был бы написать настоящую энциклопедию. Вы ожидаете, повидимому, что я выскажу такое же опасное свободомыслие, как и энциклопедия, потому что иначе вы не стали бы просить меня адресовать мои письма к вам на имя вашего придворного шута. Но такой поступок, пожалуй, был бы даже опаснее, чем если бы мое письмо попало в чужие руки. Так ли вы уверены в человеке, в чьи руки вы отдаете себя? Я только теперь узнал, что он—сын нашей толстой хозяйки кофейни, особы весьма беспринципной, сумевшей хорошо устроиться, пройдя весь путь от уличной девки вплоть до сводницы; она, наверное, не постеснялась бы за пару луидоров отправить на виселицу своих самых близких друзей.

Но довольно об этом. Я постараюсь ответить на все ваши вопросы и, по возможности, отвечу вам по порядку, так как думаю, что вы ближе всего принимаете к сердцу те из них, которые вы выдвигаете на первое место. Свои же собственные вопросы насчет того, чем обуславливается такая постановка ваших вопросов, я отодвигаю на задний план.

Итак, приступаю: Мари-Мадлен Гимар. Меня только удивляет, что вы так много уже слышали о ней. Мне кажется, что в ней воплощается отчасти дух нашей эпохи. Оттого ли, что женщины обладают большей чувствительностью, или они стоят ближе к таинственным действующим силам природы, но только они в значительной степени являются продуктом своего времени и окружающих условий.

Женщины царствования короля-солнца имели величественную наружность; они были большого роста, обладали роскошными формами и неподвижными, правильными чертами лица. Красота их была чисто телесная, и великолепные, негнущиеся придворные костюмы так же шли к ним, как и театральные зрелища и балеты, подражающие древним образцам. Современницы маркизы Помпадур казались уже пращознее, живее, и ум стал придавать красоту даже неправильным чертам лица. В настоя-

щее же время ум подчиняет себе все тело. Одухотворенные глаза, капризный носик, рот, выражающий каждую мысль, каждое чувство, даже когда молчит, такие стройные члены, передающие каждое ощущение,—вот какова должна быть женщина *fin de siècle*, и вот какова Мадлен Гимар. Она уже не молода, она совсем не красавица, и все же принц Субиз разоряется для нее, а г. Делаборд, ее прежний возлюбленный, верен ей как собака, хотя у него постоянно бывают новые соперники. Она поднялась из народной туши, как большинство ей подобных, но своим умением держать себя при дворе не уступает ни одной принцессе крови, потому что обладает в высокой степени тем женским даром приспособления, которое превращает в несколько лет молоденькую девушку из парижского предместья в светскую даму, тогда как мужик всегда остается мужиком, хотя бы он уже в течение нескольких десятков лет носил титул, дворянскую шапку и шелковые чулки.

Когда она танцует, то можно закрыть ее лицо, и все-таки каждое ее чувство будет понятно зрителям. Видно, как ад и небо борются в ее душе. Ее потребность в роскоши не имеет границ, но ее можно встретить в самых нищенских кварталах Бют-Сен-Рош, где она, плотно закрывшись капюшоном, раздает бедным деньги, одежду и съестные припасы. Она хладнокровно превратила в нищих множество мужчин, но втихомолку спасает от беды молодых офицеров и своих же бедных коллег. Оргии, происходящие в ее отеле, приводят в ужас всех ее соседей, но на следующий же день после этого она, вполне благопристойно, принимает у себя дам и мужей науки и искусства, и для первых является образцом умения одеваться и принимать гостей, а для вторых служить кипучим источником вдохновения и возбуждения.

Теперь переходжу к Рокур. В красоте ее есть что-то юношеское, а в ее холодном, остром уме, есть что-то мужское; рассказывают, что она только раз проявила женскую слабость. Это было год тому назад, когда фернейский патриарх, в комедии которого «*Les lois de Minos*» она отказалась выступить, задел ее добродетель. Она упала в обморок. Но с той поры она стала менее чувствитель-

ной. Она неподражаема в ролях трагических героинь, но в ролях любовниц, которые она пыталась играть, и в жизни,—ей не хватает грации. Поэтому-то ее поклонники—преимущественно очень молодые люди, более способны восхищаться, нежели любить; это скорее ученики, нежели повелители. Она принадлежит к числу постоянных посетительниц садов Пале-Рояля, где вокруг нее собирается больше женщин, нежели мужчин. В Париже произвело сенсацию то, что она основала женский клуб в частной квартире—пользующейся известностью m-me Гальяр. Разнузданные языки в кофейнях, более ядовитые, чем в салонах, так как они не стесняются требованиями приличий, рассказывают про этот клуб очень много дурного. Однако, я не думаю, чтобы m-me Рожур принадлежала к такому типу новых женщин, который заслуживал бы особенного внимания с вашей стороны.

Затем вы спрашиваете меня, высокоуважаемая госпожа маркиза, о новых романах, о здоровье королевы, о положении министерства, о выдергивании золотых и серебряных нитей из галуна—этом отвратительном для нервных женских пальчиков модном занятии,—об идеях Дидро... Я стою перед этим пестрым букетом разнообразных вопросов, как дитя перед ярмарочным балаганом, и не знаю, с чего я должен начать! К тому же, мое умственное достояние слишком невелико, чтобы уплатить за все это настоящей монетой.

Новые романы? Женщины пишут их теперь с таким же проворством, с каким они выдергивают из галунов золотые нити. Это—сердечные излияния на бумаге, вызванные тем, что любовники, которые их выслушивали раньше, сбежали. Я посылаю вам несколько образцов таких произведений и знаю, что ваш изысканный вкус отвергнет их. Время поэтов миновало с тех пор, как действительность начала предъявлять холодному рассудку все большие и большие требования. Только тогда, когда мы разрешим прозаическую проблему народной сытости, мы можем снова сесть за стол Анакреона и увенчать себя розами.

Как чувствует себя королева? Она строит в Трианоне

пастушеские хижин и интересуется доением хорошо упитанных коров и выращиванием кротких ягнят.

Положение министерства? Но разве оно может на что-нибудь рассчитывать при таком короле, за которым его советники должны ежедневно отправляться в новый охотничий округ, в глазах которого цифра убитых козудь важнее цифры государственного дефицита, и который, обливаясь потом, изобретает замки, предохраняющие от воров его тардеробные шкапы, но не спасающие от них его государство.

Выщипывание нитей? Я умалчиваю об этом занятии, потому что вязание чулок и шитье рубашек требует все же больше ума, чем такое бессмысленное времяпрепровождение.

Идеи Дидро? Они подкалывают, словно стая голодных крыс, ту почву, на которой построен наш мир, хотя во Франции не найдется, пожалуй, и ста человек, знающих имя того, кто увлекает их за собой, точно крысолов, увлекающий крыс. Эти идеи—отравленные стрелы, и тот, кого они поразили, медленно умирает. Руссо проповедывал возвращение к природе как новую религию. Вольтер, этот придворный шут его величества в XVIII веке, облил едким щелоком своей насмешки все, что казалось человечеству святыней. Дидро же—это герой, который с обнаженным оружием, как врат общества, выступает против него. От этого общества, говорит он, происходят все бедствия, все пороки. Это оно породило их, создав религию и богатство, т. е. порабощение одного другими и, главное, изобретя нравственность. Религия является источником преследований и преступлений, войн и судов над еретиками. Нравственность служит источником лицемерия, самоубийства души, порабощения всех естественных влечений. Преодоление же нравственности является актом возрождения.

Вы испугались, госпожа маркиза? Ах, я не подумал о том, что вы, в самые мучительные часы вашей жизни, еще падаете с молитвой на колени, что вы считаете добродетелью покорность судьбе и подавление всех бунтующих голосов вашей души! Или, быть может, я ошибаюсь? Маленькая графиня Лаваль бежала, ведь, из монастыря в ту

манную ночь, нарушая приказание аббатиссы, и она же, несмотря на ожидающее ее наказание, добровольно вернулась в монастырь, чтобы облетчить последние часы умирающей...

Простите! Образ этого очаровательного, мужественного ребенка так бесповоротно запечатлелся в моем сердце, что я из-за него забываю о маркизе Монжуа...

Иоганн фон-Альтенау—Дельфине.

Париж, 20 октября 1774 г.

Высокоуважаемая госпожа маркиза! В первую минуту я был совершенно ошеломлен взрывом вашего негодования, вызванного моим недоверием к вашей силе воли и к вашему самосознанию. Теперь я радуюсь такому действию—сознаюсь не вполне неумышленному с моей стороны,—так как это закалило ваши силы.

Прилагаю маленькую статью «Du droit au divorce», и надеюсь достать для вас копию диалога Дидро: «Est-il bon? Est-il méchant?», в котором заключается главное, что вы желали бы знать.

Надежда на возможность вашего приезда в Париж: «когда все будет кончено»,—вы, вероятно, имеете в виду рождение вашего ребенка?—приводит меня в восторг. Я уже говорил, на прошлой неделе, в среду, с m-me Жоффрен. Она не принимает никого из дам, кроме m-lle Леспинас, так как говорит, что они приходят лишь «из зависти и любопытства и уходят, чтобы сплетничать»,—но для вас она сделает исключение. Ваши письма она нашла обворожительными. «Женщина с умом и сердцем составляет такое исключение в наше время, когда заботятся только об уме и воспитывают и балуют его, словно принца, а на сердце смотрят как на Золушку,—сказала она, что я люблю ее, даже не зная ее!». Такой приговор в устах m-me Жоффрен имеет для интеллигентных кружков Франции, столь же большое значение, как для королевского дома удостоверение в существовании тридцати двух предков.

Могу я просить вас напомнить г. Гальяру, чтоб он сообщил мне о состоянии вашего здоровья, когда вы, дорогая маркиза, не в состоянии будете писать?

Люсьен Гальяр—Дельфине.

Фроберг, 20 ноября.

Высокоуважаемая госпожа маркиза! Ваша милость простит мне этот необычный шаг. Мне ничего не остается другого, так как вход в вашу комнату для меня недоступен.

До вступления госпожи маркизы во Фроберг никто в этом доме не обращался со мной как с человеком. Поэтому все чувства, жившие во мне, сосредоточились в одном—в ненависти. Доброта же вашей милости и оказанное мне участие впервые заставили меня заметить, что и у меня, как и у других, не горбатых, людей, есть также сердце в груди.

Достаточно уже тяжело то, что я должен видеть живым человека, причиняющего вам столько горя и страдания! Но что этот человек не стесняется унижать вас в собственном доме—скажу прямо: обманывать,—этого я уже не могу вынести!

М-те Помиль, кормилица, взятая к вашему ребенку,—возлюбленная господина маркиза, ее дочь—его дочь. В доказательство прилагаю письмо, похищенное мной из ее ящика.

Маркиз Монжуа—Дельфине.

Фроберг, 22 ноября 1774 г.

Моя милая! Вы запрещаете мне вход в вашу комнату, и только для того, чтобы избежать еще большего скандала, который сделал наши разногласия достоянием всех наших подчиненных, я покоряюсь, на первый раз, вашему решению. Полагаю также, что, действительно, лучше избежать таких словесных пререканий, какие произошли вчера, пока вы не выздоровеете окончательно. И только вследствие опасения, что вы, в своем раздражении, могли не расслышать всего, сказанного мной, я хочу попытаться письменно объяснить с вами, причем я особенно настаиваю на том, что ни вчера, ни сегодня я не чувствую себя в положении виновного перед вами.

Повторяю: m-me Помиль не моя возлюбленная, и ваше знание моего вкуса должно было бы убедить вас в этом, без моих уверений. Я не очень добродетелен, но зато слишком эстетичен для того, чтобы позволить себе такую нелепость и ввести любовницу в свой собственный дом. Наглое письмо моего рейткнехта, которое сунули вам в руки, ничего иного не доказывает, кроме того, что на охоте в лесах Зульца я провел одну ночь у женщины. И этого бы не случилось, если бы вы, моя дорогая, не показали мне себя с самой нелюбезной стороны.

Мой ли ребенок дочка Помиль—этого я знать не могу. Но я считаю простым долгом благопристойности, даже на основании одной только возможности этого, оказать матери этого ребенка необходимую поддержку.

Что касается ее выбора как кормилицы моего сына, то, как вам известно, она сама предложила себя, и наш врач нашел ее наиболее подходящей из всех кандидаток. Так как здоровье моего сына должно стоять на первом плане теперь, то, не взирая на необходимость обращать некоторое внимание на толки людей, я все же не хочу, чтобы тут произошла какая-либо перемена. Я позабочусь о том, чтобы дом m-me Помиль находился в таком состоянии, которое вполне отвечает требованиям ранга ее питомца. Она таким образом, не будет попадаться вам на глаза, а через несколько месяцев, когда ваш гнев уляжется, вы будете вспоминать об этом деле со смехом.

Теперь о письме, которое вы велели мне передать. Вы требуете, ни более ни менее, как разрыва нашего брака, и свое желание подкрепляете изобилием таких громких слов, как: правдивость, самоуважение, личная свобода. Вы, в самом деле,—ребенок, иначе вы должны были бы знать, что не уцелело бы вообще ни одного брака, если бы каждый раз последствием такой «неверности» был бы развод. И вы бы сказали себе также, что маркиза Мснжуа не должна делать себя предметом всеобщих насмешек.

Я боюсь, после всего происшедшего, что вам, моя дорогая, еще многому надо поучиться, раньше чем я решусь отправиться с вами в Версаль. Поэтому я отдал приказание приготовить нам дворец в Страсбурге, много уже лет

стоящий пустым, так как я хочу сначала представить вас тамошнему обществу.

Еще одно: этот негодий Люсьен Гальяр, так позорно отплативший мне и моей матери за все наши благодеяния, уволен мною, и я рассчитываю на благородство ваших чувств: что вы достойным образом отклоните всякую попытку этого человека вступить с вами в сношения.



НЕМЕЦКАЯ ТРАГЕДИЯ.

Принц Луи Роган—Дельфине.

Страсбург, 21 февраля 1775 г.

Красавица! Мои приближенные полагают, на основании моего дурного расположения духа, что возникли серьезные политические осложнения. Но они—такие немцы—так безгранично проникнуты немецким духом, что не могут понять необъятности моего страдания, вызванного тем, что я должен отказаться от вашего приглашения. Точно так же они не в состоянии даже представить себе, какое действие должно было оказать на меня ваше появление в Страсбурге. Со времени открытия отеля Монжуа это место изгнания превратилось в остров блаженных!

Мой парижский курьер привез маленькие пашеты, которые я обещал вам для вашего ужина. Зависть к счастливым, которые будут вашими гостями, так велика, что я почти готов был бы отравить их. Что еще привез мой курьер—письма и газеты; это едва ли заслуживает внимания. Но я готов изложить вам все в газетном стиле нашей новейшей литературы, а ваш ум подскажет вам, как надо украсить эти парижские новости, чтобы поднести их вашим гостям.

По знамениям на небе Франции наши мудрые астрологи предсказывают приближение сильной грозы. Так, например, малютка Люси, из Водевиля, с особенным удачением произнесла в одной комедии два следующих стиха: «Бывают мудрецы двадцати лет и повесы шестидесяти!»—и за оскорбление величества была посажена в тюрьму на двадцать дней. Предлагаю вашей проницательности угадать: оскорбила ли она этим мертвого или живого короля?

Затем, в новейшей трагедии Вольтера, фраза: «*Sous les débris du trône écrasent les sujets*» вызвала бурные аплодисменты, при чем энтузиазм партера был вызван «обломками трона», а восторги лож—«раздавленными поданными».

Далее: Мальзерб торжественно вступил в академию—«тот самый, который содействовал появлению энциклопедии»,—пишет мой корреспондент, сопровождая эту фразу тремя испуганными восклицательными знаками. Но он еще недостаточно стар и потому не знает, что только мертвые попадают в число «бессмертных».

В заключение еще следующее: маркиз Мирабо, подобно Платону, открыто присоединился к новому Союзу—д-ру Кэнз, в котором он видит избавителя от всех наших зол. Это, по моему мнению, единственное событие, могущее заставить немного призадуматься. Не ради г. Кэнз, которому в будуаре маркизы Помпадур пришла в голову достославная мысль: променять шпагу на навозные вилы, а всею на молочную кадку, и который теперь сделался святым для экономистов, а ради личности его последователя. Потерпевшие крушение аристократы, начинающие интересоваться вопросом о народном счастье, опасны уже потому, что возбуждающий яд недовольства сильнее разжигает кровь тех, кто все потерял, чем кровь голодающих бедняков, которые ничего не имеют, и разинутый рот которых, готовый закричать, можно снова закрыть куском хлеба.

Вообще, моя красавица, будьте уверены, что и в Париже вы будете так же танцевать, как и в Страсбурге, так как единственная революция, которая разжигает умы, разыгрывается не на улице, а в опере, где пиччинисты с плюксистами ведут ожесточенную борьбу. Даже миру семейного очага грозит опасность, если одна часть членов семьи высказывается за мелодии итальянца, а другая—за барабаны и трубы немца.

Я позволю себе, после вашего праздника, лично осведомиться о вашем здоровье и надеюсь хорошо вознаграждать себя за те потерянные часы, которые я не мог провести возле вас.

Маркиз Монжуа—Дельфине.

Фроберг, 25 февраля 1775 г.

Моя милая! Спешу сообщить вам, что болезнь моей матери не так серьезна, как я этого опасался, и поэтому приготовления к вашему празднику не должны быть прерваны. Цветы из наших оранжерей уже отправлены, и мои лейб-егеря должны уже сегодня приехать в Страсбург. Дорогой я встретил кладь из Парижа с декорациями для сцены. Значит, и она прибудет своевременно.

Вы должны будете признать, что я не оставил неисполненным ни одно из самых экстравагантных ваших желаний, хотя система г. Тюрго, повидимому, не принявшего во внимание, что он отнимает у короля вернейшую опору его престола,—аристократию, не замедлила дурно отразиться на крупных доходах. Тем не менее, я решился принести эти жертвы, потому что могу только одобрить ваше желание: сразу, одним ударом, завоевать первое положение в страсбургском обществе. Но я ожидаю и с вашей стороны некоторой уступчивости, тем более, что ваше упрямство может уничтожить все, что вы имеете в виду достигнуть вашим праздником.

То, что нам удалось склонить m-lle Гимар танцевать у нас, должно составить предмет разговоров не только в Страсбурге: что гораздо важнее, это вызовет разговоры и в парижском обществе. Однако, если бы вы поместили в нашем доме эту девицу, как нашу гостью—что вам желательно,—то сделали бы себя смешной. Поэтому я прошу вас оставить в силе мои распоряжения относительно отеля де-Франс.

Не совсем уверенный в вашем окончательном согласии относительно второго пункта нашего спора, я предупредил ваше решение и сам пригласил графа Шеврез, так же и от вашего имени. Было бы трудно поправимым промахом, если бы мы закрыли двери нашего дома графу, протеже королевы, который, притом, находится в Страсбурге на ее службе. Мотивы ваши мне неизвестны. Я не имею также намерения требовать от вас откровенности, но

знаю только, что эти мотивы не могут быть настолько важными, чтобы побудить нас дерзко обойтись с графом.

В интересах Франции я горячо желаю содействовать успеху его миссии. Дело идет о том—говорю вам это под величайшим секретом,—чтобы устроить примирение между королевой и принцем Роган. Австрийская императрица сильно восстановила против него свою дочь, рассказав ей, как он позволил себе отзывать о ней, вскоре после своего отозвания из Вены, а также, какую жизнь он вел, как духовное лицо и как посланник. Без сомнения, и то и другое было с его стороны грубой неосторожностью, но все же этого недостаточно, чтобы держать в опале человека с такими испытанными убеждениями и с такими влиятельными семейными связями.

Граф Шеврез получил непосредственно от короля тайное поручение исследовать это дело и насколько возможно уладить его.

Я надеюсь, что ювелир уже принес вам на выбор изумруды. Если же нет, то своевременно напомните ему об этом. Очень важно хорошо подобрать цвет камней к вашему розовому туалету. Предлагаю вам обратиться к Дюплесси, который как раз выбрал этот цвет для вашего портрета.

Принц Луи Роган—Дельфине.

Страсбург, 27 февраля

Все находятся в упоении от праздника в отеле Монжуа и очарованы вами, красавица! Не хотите ли судить сами, хорошо ли я был осведомлен? Вы подчинили себе природу, заставив лето, в середине зимы, убрать цветами ваши залы! Вы принудили Лукулла восстать из мертвых, чтобы приготовить яства для вашего стола! Как новая, еще более очаровательная Цирцея, вы превратили тяжеловесных дам Страсбурга в толпу резвых граций! Вы призвали к себе Терпсихору, волшебное искусство которой сообщает гибкость самым одеревенелым членам, так что до самого рассвета не прекращались танцы! Ваши глаза разбили сердца! Ваша улыбка разлучила друзей, поколебала мир и супружествах! Уж не хотите ли вы доказать, что одна кра-

сивая женщина в состоянии вызвать гораздо большие революции, чем все парижские писаки вместе взятые?!

То, что вы среди своих триумфов не забыли обо мне и прислали одинокому больному чудное угощение от избытков вашего стола, я считаю таким отличием, которое я еще должен заслужить. Приказывайте же мне! Я надеюсь, что через несколько дней мне можно будет выходить из комнаты, и мой первый выезд будет к вам.

Маршал Максим Контад—Дельфине.

Страсбург, 28 февраля

Многоуважаемая маркиза! Осмелюсь ли я напомнить вам обещание, которое вы, может быть, уже позабыли, но на выполнении которого я буду настаивать, потому что оно даст мне возможность, в течение нескольких часов, видеть вас одну, а не в толпе ваших поклонников? Вы хотели покататься верхом, под моей защитой, на моей белой лошади. Лошадь к вашим услугам, как и ее господин, а погода теперь хорошая. Мой грум дожидается ваших приказаний относительно дня и часа.

Карл фон-Пирш—Дельфине.

Страсбург, 30 февраля

Любезная госпожа маркиза! Вот книжечка, о которой мы с вами говорили. Ни кому другому я не доверил бы столь дорогого для меня произведения. Но когда вы, среди хаоса французских разговоров, ласково улыбаясь, произнесли, обращаясь ко мне, первые немецкие слова, то вы не только покорили меня вашей власти, но я знал также, что вы поймете нашего поэта и будете плакать вместе с его Вертером.

Я не осмеливаюсь лично принести вам эту книгу. Я боюсь показаться навязчивым. И еще больше боюсь дать волю тому чувству, которое для французов составляет забаву, а для немцев является роком.

Граф Гюи Шеврез—Дельфине.

Страсбург, 2 марта 1775 г.

Разгневанная богиня! Смеет ли бедный смертный, полный сокрушения, приблизиться к вашему престолу? Вы были расточительны в своих милостях, как и подobaет жительнице Олимпа. От маршала и до ничтожного немецкого офицера каждый считает себя вправе поклоняться вам. Только я один стою перед закрытыми дверями храма. Вы отказали мне, даже в менюэте, дать свою руку, к которой только что с самозабвением прижимались губы маршала Контада. Вначале я предполагал, что ваше поведение представляет не что иное, как утонченное лукавство женщины, для которой скука брачной жизни послужила хорошей школой кокетства. Я даже чувствовал себя почти польщенным.

Но теперь мне все открылось. Малютка Гимар, которую вы так неосторожно пригласили в Страсбург, должно быть, потому что недостаточно оценивали ее познания в науке любовных интриг, сделалась очень разговорчивой после нескольких бутылок шампанского.

«Маркиза была очень милостива, необыкновенно милостива,—говорила она, сверкая на солнце бриллиантами, которые вы ей подарили,—конечно, это за мои танцы, только за танцы,—прибавила она, хитро подмигивая глазами.—Я должна была рассказывать ей о Париже,—болтала она дальше,—о моем отеле, моих ужинах—поскольку об этом можно было рассказать эльзасской маркизе!—о моих гостях, обо всем».—«О ваших гостях!»—спросил я с изумлением. Она взглянула на меня с лукавой усмешкой и сказала: «Ага! Я вижу, вам хотелось бы знать, кем настолько интересуется прекрасная маркиза, что даже берет в поверенные какую-то Гимар. Но я ничего не скажу, ничего! Я могу быть скромна, как великосветская дама».

Я переменял тему разговора и велел откупорить еще бутылку бургундского. Она особенно любит это темнокрасное вино, с тех пор, как принц Субиз окрестил ее в нем, а огненно-красный цвет жидкости так ярко выделил

сияющую белизну ее кожи, что принц навсегда остался ослепленным этим вrellищем. Я разыгрывал роль тоскующего поклонника с той виртуозностью, которой я обязан школе Дюбарри. И она смятчилась, приняла мечтательный вид. Она вспомнила, что читала «Манон Леско» и «Новую Элоизу». Тогда я ввернул ваше имя в разговор. «Бедняжка!—сказала она, и взор ее блеснул слезой.— Она любит, любит несчастливо»...

После этого признания, прекрасная маркиза, мне уже не надо было просить больше!

Конечно, я знаю, что моя гордая неприятельница не могла сделать своей поверенной эту маленькую танцовщицу, но для такой мастерицы в делах любви, как Гимар, ваша благородная сдержанность была лишь прозрачною вуалью—ничего больше!

Так вот отчего я попал в немилость? И ведь я только подарапал гладкую кожу принца, придав ему еще лишней ореол—ореол героя!

Если бы вы были благосклоннее, то вам не за чем было бы опускаться до какой-нибудь Гимар, чтоб узнать то, что вас интересует. Я бы мог доставить вам все сведения, так как, со времени своего возвращения в Париж, принц все время состоит при королеве.

Он любимец дам, подозревающих, что его меланхолия вызвана каким-нибудь трогательным романом, и так как теперь в моде великая страсть, то, разумеется, у него нет недостатка в поклонниках, которые во всякое время готовы были бы его утешить. Графиня Диана Полиньяк принимает в нем большое участие,—скажем: материнское, как следует вежливому кавалеру. Он вздыхает у ее ног, хотя, может быть, и не о ней...

Не кладу ли я горячие уголья на вашу голову? Могу ли я, наконец, надеяться, что вы обратите на меня внимание? Или же наедине принимается только тот, кто носит имя Рогана и имеет виды на кардинальскую шапку? Я знаю от него, как охотно променяли бы вы Страсбург на Версаль, очаровательная Дельфина. Но, к сожалению, Роган все еще остается самым неподходящим для вас проводником туда...

Граф Гюи Шеврез—Дельфине.

Страсбург, 3 марта 1775 г.

Каждая буква вашего письма, высокоуважаемая маркиза, трепещет от гнева. Вы возмущены, что «я заставил опьяневшую танцовщицу рассказывать сказки про вас», что я «так низко пал», что мог поверить, будто маркиза Монжуа может делиться мыслями с какой-нибудь Гимар! Я чувствую себя побежденным, уничтоженным, милостивейшая маркиза, я готов на коленях молить о прощении... если бы вы только позволили мне сделать это, вместо того, чтобы писать вам!

Приказывайте что хотите. Нет ничего такого, чего бы я не сделал, лишь бы заслужить вашу благосклонность. Я уже чувствовал себя вашим уполномоченным, когда разговаривал сегодня с маркизом.

«Только ясно выраженное желание короля может заставить меня появиться в Версале,—сказал он мне.—Назначение Тюрго—это удар, нанесенный в лицо дворянам. Пусть же наше отсутствие заставит короля почувствовать, что наша лояльность не позволяет нам высказывать открыто». На сделанное мною возражение, что королева враждебно настроена по отношению ко всему министерству и ничего так не желает, как собрать около себя единомышленников, чтобы укрепить свое положение, маркиз ответил: «Ну, так пусть ее величество призовет нас!».

На основании этого замечания мы с вами можем надеяться, маркиза. В какой восторг приводит меня это слово: «мы!» Вы можете возмущаться сколько хотите, прекрасная Дельфина. У нас есть уже общая тайна и общее чувство. Это первые звенья той цепи, которую я буду неустанно стараться закрепить как можно прочнее.

Когда вы примете меня? Я жду вашего милостивого ответа

Карл фон-Пирш—Дельфине.

Страсбург, 9 марта 1775 г.

В светлую звездную весеннюю ночь, обожаемая маркиза, я целыми часами ходил по валу, подставляя свою

голову влажному, теплому ветру, который трепал мои волосы. Изнеможенный, я бросался на землю и прижимал к ней свои пылающие щеки, чтоб охладить их.

И вот, когда я сижу на твердом стуле в моей неудобной комнате, мне представляется блаженным сном, что я сидел в голубом будуаре, пропитанном ароматом спрени, перед пылающим огнем в алебастровом камине и видел перед собою совершеннейшее создание, какое когда-либо вышло из рук Творца!

Я не испытывал огорчения. Мое пламенное честолюбие заставило меня забыть, что я принес ему в жертву отечество и родину, и скрыло от моих глаз мое собственное несчастье. Но с тех пор, как я вас узнал,—ах, только со вчерашнего дня я узнал вас вполне!—я почувствовал мою страшную бедность, мое безграничное одиночество.

О, зачем пробудили вы во мне человека своим мягким голосом, который с таким пониманием говорил о страданиях Вертера? И вот, теперь я бы хотел открыть вам раны моего собственного сердца, для того, чтобы услышать, как задрожит ваш голос—и ради меня.

Зачем вы так нежно гладили своей белой ручкой мою маленькую книжку? Когда я теперь держу в руках эту книжку, я чувствую всю силу вашего обаяния, а когда я прижимаю к ней свои губы, то мое страстное желание превращается в бурную страсть, и для меня существует только одно спасение—вы!

Сжальтесь над безумцем! Как нищий стою я перед вами, и все-таки вы не в состоянии даже измерить величины того богатства, которое я кладу к вашим ногам. Люди дарят свое сердце по частям: своим друзьям, сестрам, братьям, матери, но я отдаю его вам нераздельным! Люди играют своим чувством и продают его за чистые деньги, как товар. Я же молю только об одной милости, чтобы вы не отталкивали его от себя.

Не пугайтесь силы моей страсти. Это Атлас, который мог бы нести на своих плечах весь мир, но в вашем присутствии это ребенок, который не тронет и волоса с вашей головы. Осмелиться прижать к своим устам край вашего платья, как вчера,—вот все, чего я добиваюсь!

Маршал Максим Контад—Дельфине.

Страсбург, 16 марта 1775 г

Высокоуважаемая маркиза! О, что значат капризы хорошеньких женщин! Можно ли было думать, что самая смелая из всех наездниц, превратившаяся в безоружного труса старого солдата, на которого еще никто не смел бросать безнаказанно косые взгляды, нанесла ему раны, оставшиеся неотомщенными!—и что она, эта жестокая красавица, вдруг захочет быть согражданкой благодетельницей какого-то ничтожного капитана? Вы правы: г. фон-Пирш очень беден, но у него есть возможность получить богатство, он находится под личным покровительством герцога Эгильона, которое он приобрел своим отменным знанием военного искусства прусского короля. Мы никогда не приняли бы на службу этого немецкого барона, если бы не ожидали от этого больших выгод. Вы, прекрасная самаритянка, можете доставить своему протеже блестящее положение, уговорите его только выдать, без всяких умолчаний, свои тайны. В то же время вы бы оказали и вашему отечеству важную услугу.

Моя белая лошадь нетерпеливо ждет свою повелительницу. Я прощаю моему коню, что он больше не хочет терпеть меня в седле. Кто же стал бы переносить грубый кулак после того, как испытал нежное управление ваших ручек?!

Граф Гюи Шеврез—Дельфине.

Страсбург, пятница.

Прелестная маркиза! Король приказывает, чтоб я сопровождал принца Рогана в Версаль, и разные спешные дела, которые я должен устроить перед отъездом, требуют от меня тяжелой жертвы, не позволяя мне видиться с вами. Это заставило бы мое сердце еще сильнее истекать кровью, если бы я и без того не страдал так ужасно все последнее время из-за странной случайности, что во время своих посещений я постоянно встречал вас в обществе г. фон-Пирша. Или же эти встречи не были случайными и отве-

чают плану, возникшему в вашей очаровательной головке, благоразумие которой так же неизмеримо, как и чувства вашего сердца? Было ли вашим намерением заставить меня еще сильнее почувствовать жало ревности, для того, чтоб я употребил все силы и удалил бы вас, насколько возможно, дальше из круга зрения маленького барона?

Будьте уверены, что я буду интриговать как m-lle Леспинас, которая создает министров и академиков, и буду таким же защитником как m-г Ленгэ, который даже после своего падения мог спасти графиню Бетюн.

В Париже мы снова увидимся,—в этом божественном Париже, где пульс всегда бьется сильнее, где жизнь представляет возбуждающую азартную игру, а любовь есть опьянение, точно после шампанского! Страсбургская атмосфера навела бы на меня уныние, если бы воздух, окружающий вас, не был все же насыщен Парижем.

Но порою я находил, что сырые туманы Рейна начинают завлакивать и ваши глаза, и что страшная близость немецкого варварства придает иногда вашим пухленьким губкам чуждое выражение—серьезность. Париж, один только Париж может уничтожить это колдовство и исцелить вас!

Должен ли я передать ваш поклон принцу Фридриху-Евгению? Должен ли я рассказать ему также и о бароне фон-Пирш?

С немецким благоговением целую я вашу ручку и с французской дерзостью думаю при этом о розовой ямочке на вашем локотке.

Карл фон-Пирш—Дельфине.

Страсбург, 29 марта 1775 г.

Обожаемая маркиза! Как долго я должен выносить ваше холодное обращение со мной и то, что вы смотрите на меня как на чужого—на меня, отдавшего вам всю свою жизнь! Я знаю прекрасно, что среди ваших блестящих гостей я представляю жалкую фигуру. Скрежеща зубами, я чувствовал насмешливый взгляд графа Шеврез, скользивший по моему сгромному мундиру. Гнев, словно тисками.

сдавил мне горло, когда я дожидался вас и, расхаживая взад и вперед мимо Королевских ворот, увидал маршала Контада, галопирующего рядом с вами, и пыль, поднятая копытами его лошадей, скрыла вас от глаз бедного пешехода. Я дрожал от зависти, когда к вам приближался принц Роган, никогда не переступавший вашего порога без великолепного дорогого букета, тогда как я должен был стоять тут с пустыми руками!

Но разве это не было бы оскорблением для вас, если бы я приписал таким причинам вашу немилость? Имею ли я право, вообще, жаловаться,—я, обещавший беспритязательно искать вашей близости? Ах, ангел моей жизни, ведь я только смертный и молод и еще никогда не любил! Дерзновенные мысли, которые я никогда не отважился бы высказать вашей непорочности, заставляют меня, стыдясь, избегать дневного света и бояться ночной темноты, как мрака ада. Не можете ли вы подарить мне улыбку, как прежде? Неужели я всегда должен испытывать эту муку и всегда стоять позади всех? Неужели мне никогда не будет дозволено одному входить в комнату, наполненную вашим дыханием, никогда нельзя будет спрятать свою пылающую голову в складках вашего платья? Я способен на всякое преступление, лишь бы только добиться от вас благосклонного взгляда!

Маршал Контад—Дельфине.

Страсбург, 16 апреля.

Уважаемая маркиза, я еще не успел вполне оправиться от изумления, вызванного вашим нежеланием повлиять на барона фон-Пирша и вашим гневом по поводу моего подозрения. К чему же эта игра в прятки, прекрасная маркиза? Не думаете ли вы, что должны скрывать от вашего седовласого поклонника свой горячий интерес к молодому человеку? А между тем, предположения, высказанные мною во время нашего последнего разговора по поводу изменившегося положения капитана,—его английских лошадей и парижских костюмов—теперь перешли в уверенность. Герцог Эгильон добыл желаемые бумаги, посланные через специального курьера военному министру

маршалу де-Мюи, и г. фон-Пирш получил от герцога первую звонкую награду за это.

Отчего вы отказываетесь приписать себе заслугу такого акта, который в одинаковой степени делает честь как вашему патриотизму, так и вашей христианской любви к ближнему? Может быть, вы не хотели меня огорчить? Но разве есть какая-нибудь необходимость в теплом, нежном внимании, после того, как вы достаточно ясно дали мне понять, что седея борода слишком жестка для такой нежной кожи, как ваша?

Вполне достоверные свидетели рассказывали мне, что некую молоденькую графиню Лаваль, когда она была воспитанницей монастыря, видели ночью на улицах Парижа с одним молодым человеком и что ради благосклонности одной очаровательной маркизы, имя которой вам не должно быть чуждо, принц Монбельяр дрался на дуэли с графом Шеврез. Разве удивительно после этого, что маршал Контад считал себя в праве рассчитывать на некоторую снисходительность за свои рыцарские услуги.

Целую вашу ручку—единственная милость, в которой вы не отказали мне—и остаюсь в надежде на будущую благосклонность.

Карл фон-Пирш—Дельфине.

Вторник.

Дорогая маркиза! Мое перо быстро скользит по бумаге, отвечая на ваши строки. На коленях благодарю вас за то, что вы дасте мне право служить вам! В назначенный час я буду у вас. Итак, я не напрасно страдал, надеялся и... согрешил!

Карл фон-Пирш—Дельфине.

Страсбург, 17 апреля 1775 г.

Дорогая маркиза. Мой вызов маршалу послан; я жду его ответа со спокойствием человека, для которого смерть безразлична. Ах, как я мчался к вам, схиляемый самыми смелыми надеждами, с какой горячей любовью бросился я к вашим ногам, увидев ваши слезы и объяснив их в свою пользу! Вы же вскочили на ноги и оттолкнули меня, и

ничего, кроме гнева, самого дикого гнева, не выражалось на вашем лице, когда вы бросили мне к ногам письмо-маршала.

«Отомстите за меня!» Я не узнавал вашего голоса, хриплого от раздражения, когда вы мне прокричали эти слова. А я, ослепленный, чувствовал только одно, читая это письмо: что вы меня призвали, меня! и что я должен вам служить, что я получу за это драгоценнейшую награду!.. но вот наступило страшное пробуждение, и я понял, наконец,—должен был понять!—что я не обладаю даже тем, чем может похвастаться последний из ваших слуг: вашим уважением!

«Изменник отечества!»—значит поэтому вы отворачивались от меня, между тем, как я думал завоевать ваше расположение роскошью и блеском? О, почему я не узнал вас раньше; почему моя любовь не была достаточно проникательна, чтобы понять все величие вашей души?..

Я ушел от вас совершенно уничтоженный, и мне ничего другого не остается, как только умереть. Но теперь я от всей души благодарю вас, дорогая маркиза, за то, что вы удостоиваете меня такой смерти. После того, как целый ад, в течение нескольких часов, бушевал в моей душе, теперь в ней наступило спокойствие, и я ясно вижу, что дорога, которую вы указываете мне, единственная, которая может привести меня к вам. Я паду, но искупленный, буду жить в вашем воспоминании. Что же мне нужно еще?

Я говорил, что отдаю вам всего себя до самой смерти, и только теперь я отдаю вам себя и после смерти!..

Карл фон-Пириш—Дельфине.

Страсбург, 17 апреля 1775 г.

Маршал Контад отклонил мой вызов. Он не дерется с обещанными людьми. Когда вы получите эти строки, он понесет наказание, и моя казнь совершится!

Граф Гюи Шеврез—маркизе.

29 апреля 1775 г.

Дорогая маркиза. Не успели мы покинуть Страсбург, воображая, что только Париж является центром всех ве-

ликих событий, как уже этот провинциальный город манит нас, презирающих провинцию, своею *cause célèbre*, наделавшей так много шума. Весь Париж говорит теперь о пощечине, полученной маршалом, и о пуле, которую после этого пустил себе в висок немецкий барон. Чувствительные души проливают по этому случаю две-три слезы и шепчут друг другу—с испуганным удивлением—ваше имя. С нашей красавицей Молиньяк—из сострадания ли к молодому человеку, пожертвовавшему своей жизнью, или из зависти к вашей славе—приключился сильнейший истерический припадок, и с тех пор она не дает покоя принцу Монбельяр своими постоянными вопросами о маркизе Дельфине, в которой она предугадывает свою будущую соперницу. Я же, не без успеха, воспользовался этой историей для нашей выгоды—«нашей», моя красавица!—и постарался не упустить такого случая, столь же благоприятного, как и весь этот маленький роман.

Вы знаете, природа начинает брать верх над искусством, с тех пор как Руссо больше уже не компрометирует ее своею проповедью. Врачи приписывают знаменитую дамскую болезнь от скуки,—которую они, в своей мудрости, признают теперь опасным нервным заболеванием—действию разных искусственных мер, как-то: корсету, обманчиво создавшему талию сильфиды там, где на самом деле существует четырехугольная фигура крестьянской девушки; пудре, превращающей желтую кожу в белые лепестки лилий; фумьянам, придающим малокровным губкам и щекам яркие розовые краски; всяким ликерам и сладостям, заменившим теперь воду и хлеб, и, наконец, ночной жизни, при блеске нового газового освещения, заставляющего нас забывать о солнце. И теперь врачи не прописывают больше никаких горьких микстур, а вместо них—природу, то-есть холодную воду, свежий воздух, черный сельский хлеб, кислые плоды, физические упражнения и утренние прогулки. Королева и ее придворные дамы первые показали себя послушными пациентками, и весь Париж последовал теперь их примеру. Кавалеров не принимают больше по утрам, при

вставании, в раздушенных будуарах; они являются в сад, еще покрытый росой, во время утренней прогулки. И во время таких прогулок по аллеям Трианона, вдоль распускающихся деревьев, изумрудно-зеленого дерна, пестрых крокусов и желтых, ярких нарциссов, королева любит слушать истории à la Мармонтель. Но это должны быть действительные истории, — «всамомделишные», как мы говорили, когда были детьми, — а какая же другая история может более удовлетворить эти желания королевы, чем ваша?

И вот, под цветущими кустами сирени я рассказывал ей о прелестной маленькой воспитаннице монастыря. Возле розовых клумб с тюльпанами я описывал ей — ах! — такую гордую хозяйку замка Фроберг. На белой скамейке, под цветущими олеандрами, я изображал ей блестящую, остроумную царицу страсбургских празднеств. А когда мы сидели у пастушеской хижины, под нежной светло-зеленой завесой, только что распустившихся берез, я с увлечением говорил об удивительной красавице, ради которой немецкий мечтатель должен был умереть, а французский кавалер ничего так горячо не желает, как — жить!

Голубые глаза королевы утопали в слезах. Под надушенной, тонкой муслиновой косынкой, которою придворные дамы прикрывают по утрам свои плечи — разумеется, они делают это только потому, что врач приказывает, чтобы воздух и свет касались тела! — я видел, как трепетали розовые перся королевы.

«Напишите маркизе Монжуа, что я страдаю вместе с нею, — сказала королева. — Прибавьте также, что мне доставит особенное удовольствие видеть ее здесь». И с тем единодушнем, которое, как вам известно, составляет первейшую добродетель придворных дам, все они присоединились к желанию своей повелительницы. Только одна графиня Полиньяк молчала, задумавшись о чем-то. Принц Монбельяр незадолго перед этим исчез в боскете.

Можете ли вы — или нет! — должны ли вы колебаться? Версаль ждет вас в своем прекраснейшем весеннем наряде, а Париж предлагает вам великое множество самых занимательных развлечений. «Севильский цирюльник»

ежедневно привлекает в театр огромную толпу зрителей, и счастливый автор этой пьесы, Бомарше, выскочка самого темного происхождения, обанкротившийся адвокат, до такой степени вошел теперь в моду, что принцессы стараются перебить его друг у друга. Забавная комедия «Куртизанки» снабжает салоны острыми словцами, которые вызывают тем больший смех в обществе, чем сильнее оно чувствует себя затронутым ими.

Позвольте мне заключить это длинное письмо рассказом о смешном эпизоде, который должен, по крайней мере, вызвать у вас улыбку, ту обаятельную улыбку, которая заставляет сверкать ваши жемчужные зубки между пунцовыми губками и образует две глубокие ямочки на ваших нежных, как персик, щеках. Один молодой человек знатного рода, повидимому, слишком много начитавшийся со временных романов, героинями которых являются добродетельные куртизанки, влюбился в одну из них. В ее будничной, достойной любовной графини, у ее крошечных пошек, безукоризненной форме которых могла бы позавидовать любая аристократка, он положил свое пламенное сердце и сделал ей брачное предложение, принятое ею по всем правилам светских приличий. Он был на седьмом небе. Но вдруг открывается дверь, и входит брат красавицы, в смазных сапогах на огромных ножищах, с грязными ногтями на широких руках, с красным лицом и еще более красным носом,—словом, настоящий парижский извозчик! Влюбленный юноша моментально вскакивает и убегает в двери, мимо озадаченного добряка, желавшего заключить в свои объятия будущего зятя. Одного вида этого почтенного человека было достаточно, чтобы излечить влюбленного от его страсти и лишить малютку ее жениха.

А вот еще другая историйка, представляющая не что иное, как коротенький диалог: «Знаете ли, ведь Альцест уже разошелся с маленькой герцогиней». — «Не может быть! А почему?» — «Ради прелестной танцовщицы Клеопы». — «Выиграет ли он что-нибудь от этой перемены?» — «С точки зрения добрых нравов—конечно!»

С этой минуты я жду вас каждый день.

Принц Луи Роган—Дельфине.

Париж, 7 мая 1775 г.

Моя дорогая маркиза. Вместе с моим длинным, почти, можно сказать, деловым письмом г. маркизу, я разрешаю себе особенное удовольствие, послать и эти дружественные строки, адресованные вам. Впечатление от моего последнего свидания с вами оказалось настолько сильным, что теперь я, говоря откровенно, всего более придаю значения вашему союзничеству. Кто бы мог подозревать, что мраморный лоб такой очаровательной женщины скрывает столь разумные и столь... хладнокровные мысли! Кто бы мог предполагать, что, несмотря на крайнюю молодость, она способна понимать такие серьезные политические вопросы!

И вот теперь, благодаря счастливой случайности, наступает великий момент, которым надо воспользоваться, чтобы укрепить взгляды королевы, до сих пор не относившейся серьезно к этому, и положить скорейший конец злополучному министерству.

Три дня назад у нас произошло нечто в роде революции, заставившей даже позабыть о теориях философов и физиократов, которых так боятся в наших кругах. Эта революция не была следствием изображаемых столь мрачными красками злоупотреблений, а вызвана была попыткой реформы Тюрго, хотевшего устранить эти злоупотребления посредством освобождения хлебной торговли. Я как раз вернулся из Версаля, где я не нашел короля,—весь интерес которого в эту критическую политическую минуту сосредоточивался на бекасиной охоте!—и в улице Сент-Оноре я наткнулся на возбужденную толпу, принудившую меня выйти из экипажа. Молодые бродяги, визгливые бабы, старые пьяницы, уличные девки и беспризорные дети совершенно загромождали улицу, под предводительством нескольких зажиточных мучных торговцев, и с дикими криками: «долой Тюрго!» разбивали окна и двери. В течение целого дня шум не

прекращался, так что я предпочел больше не покидать своей квартиры, когда мне, наконец, удалось до нее добраться.

Между тем король узнал об этих событиях. Его обращение с Тюрго, когда он принимал его вчера, стало заметно холоднее.

Как раз во-время появилась брошюра Неккера, который восстает против теории экономистов и предвидит последствия реформаторских планов Тюрго, в таком именно виде, в каком они теперь начинают выступать перед нами. Как ни мало я симпатизирую этому человеку, в котором я вижу буржуа, в самом глубочайшем смысле этого слова, и еще при том швейцарца, со всею свойственною ему неподвижностью, тем не менее, в данный момент он мне кажется нашим другом настолько, что я даже решился нанести визит м-те Неккер. Я не раскаиваюсь в этом, если бы даже я ничего не выиграл, кроме возможности бросить взгляд в новый мир. Мы можем игнорировать его, но он все же существует, он развивается, он усваивает себе наши манеры. И мы сами призвали его к жизни, предоставив всем этим людям, которые еще двадцать лет назад были мелкими торговцами и гнули спину перед нами, извлекать пользу из финансовых сил страны. А теперь они стали банкирами, генеральными откупщиками, они владеют замками за городом и отелями в городе, разыгрывают роль меценатов, покровительствующих всем беспокойным умам, а у нас, привилегированных, стоящих чуть ли не рядом с королем, связаны руки в борьбе с этими новыми силами, потому что мы нуждаемся в их влиянии и — еще больше — в их деньгах!

Вам бы следовало видеть, как м-те Неккер старается восполнить недостаток грации холодным умом и как она принимает в своем элегантном салоне, куда толпой устремляются политики, философы и поэты. Я невольно вспоминал блестящее время м-те Тансен и ее элегантных посетителей, ум которых грациозно скользил по всем злободневным вопросам, как бабочка, порхающая по цветам, тогда как неповоротливый ум гостей м-те Неккер прилепляется ко всякой мелочи, точно гусеница,

собирающаяся пряхь кокон. Слышно ли было когда-нибудь в салоне маркизы Дюдефан, чтобы женщины начинали горячиться по поводу вопросов о вывозе хлеба, о свободе печати, об Ост-Индском банке, о посредничестве в американских делах? И, конечно, меня не должно было удивить, что в кружке м-ме Неккер мог возникнуть план поставить памятник Вольтеру, хотя он настолько же далек от поэтов, насколько далек от священников знаменитый аббат Гальяни!

Но, тем не менее, дорогая маркиза, мы должны быть настолько благоразумны, чтобы воспользоваться этим положением, и я даже советовал бы вам, когда вы посетите здесь,—что, вероятно, будет скоро,—посещать салон Неккера. Он является теперь центром оппозиции против министерства Морепла и, по крайней мере, столь же влиятелен, как королева, на которую, естественно, мы должны опираться прежде всего.

К сожалению, королева не оказала мне милости и не приняла меня в частной аудиенции. Я видел ее только во время одного официального праздника в Версале. Ее необыкновенная миловидность и приветливость совершенно обворожили бы меня, если бы красота одной известной вам дамы не сделала меня совершенно нечувствительным даже к прелестям королевы! Граф Шеврез, вернейший ее кавалер (между прочим, он принадлежит к числу немногих придворных, доказавших ей свою приверженность во время ее кори и только ночью покидавших ее спальню, где она лежала в постели), водил меня по очаровательным новым садам Трианона, разбитым в английском стиле по плану г. Карамана. Королева чрезвычайно заинтересована этим новым произведением искусства и с раздражением относится к тем, кто своей угрюмой бережливостью хочет отравить ей удовольствие. Тюрго главный из тех, кто мешает этой игре. Как будто можно отказывать королеве в том, чем обладает теперь каждый выскочка! Внимательное отношение к ее трианонской фантазии сделает то, чего не могли сделать никакие указания на политические интересы Франции: Мария-Антуанета будет на нашей стороне, если только

кто-нибудь из нас сумеет подчинить ее своему влиянию.

Если мое письмо маркизу, написанное в еще более сухом тоне, чем это,—боюсь, что посещение некеропского салона оставило на мне следы, и вам надо потопиться, чтобы изгладить их!—окажется недостаточным, чтобы побудить его принять твердое решение, то я рассчитываю на вас, дорогая маркиза, на вашу влиятельную поддержку.

Могу ли я быть уверенным в том, что вы простите меня за мою попытку воспользоваться одним, лично вас касающимся делом, чтобы повлиять на маркиза? Я написал ему, что самоубийство капитана вызвало много шума, и поэтому в интересах вашего общественного положения было бы желательно переменить Страсбург на Париж. Этот слишком поспешный акт молодого человека,—разве он не мог найти услужливых красавиц, которые утешили бы его в неприступности Дельфины?—еще может принести пользу интересам отечества, в конце концов.

Маркиз Монжуа—Дельфине.

Париж, 1 июня 1775 г.

Моя милая. После довольно затруднительного путешествия я, наконец, добрался до Парижа и нахожусь здесь уже целую неделю. Дороги очень ненадежны. Разные темные личности с наглым видом теснятся к самым экипажам, чтобы просить милостыню, но эта просьба звучит почти как угроза. Поэтому, во время вашего переезда в Париж, надо будет позаботиться о гораздо более многочисленной свите, чем та, которая сопровождала меня. Вы видите из этих слов, что мое решение твердо, и я прошу вас заняться приготовлениями к дороге.

Далеко не с легким сердцем покоряюсь я своему ясно сознающему долгу и следую примеру своих славных предков, не оставлявших династию в опасные времена. Эти дни, проведенные мною в постоянном обществе министров и двора, были вполне достаточны, чтоб обрисовать положение дел, которое представляется мне теперь

в очень мрачном свете. Мы не должны скрывать от себя: король не руководствуется в своих действиях никаким твердо установленным планом, а частью повинуетсЯ своим капризам, частью же советникам, которые в этот момент дают ему наибольшие обещания. Но это обстоятельство служит нам порукой, что и Тюрго, рано или поздно, можно будет устранить, хотя, боюсь, что это поведет лишь к новым, таким же временным экспериментам. Покамест король ищет спасения в уступках свободомыслящим и экономистам. Поговаривают даже о возможности призвания в министерство Мальзерб, открытого защитника и сторонника таких людей, как Д'Аламбер, Дидро и tutti quanti. Единственная наша поддержка—бывший полицейский лейтенант Сартин, но и он, к сожалению, получил свой портфель морского министра, пройдя через будуар m-me Морепа. Его заслуга заключается лишь в искусном инсценировании хлебных бунтов, поколебавших престиж Тюрго.

Но не одна только нерешительность короля дает повод к очень серьезным опасениям. Конфликты с Англией, в связи с американскими волнениями, принимают грозный характер, тем более, что король довольно благосклонно слушает тех, кто желает внушить ему, что война может служить отвлечением и что она даст другое направление всеобщему брожению умов. Счастливый же исход войны непременно подавит недовольство, быстро растущее со времен унижения Франции после семилетней войны. Мечтатели, думающие о возможности осуществления в свободной Америке идей философов, хитрые дельцы, везде любящие ловить рыбу в мутной воде,—уже теперь, как я слышал из достоверного источника, тайно доставляют бostonцам оружие. Они соединяются вместе и стараются раздуть пламя. Насколько это им удастся, видно уже из того, что такой хладнокровный и сдержанный дворянин, как принц Монбельяр высказал мне свое намерение принять участие в борьбе американских колоний за независимость, даже в том случае, если Франция останется нейтральной. А г. Сент-Джеймс серьезно предложил мне участвовать несколькими тысячами ливров в деловых предприятиях. Между прочим, принц про-

сит меня уведомить вас, как его подругу детства, о его намерении. «Надо уйти из этой душной тепличной атмосферы ничегонеделания, чтобы не кончить так, как кончил Пирш»,—сказал он.

В той среде, в которой он постоянно находится, среди приближенных королевы, эта удушливая атмосфера ощущается всего сильнее, и мне кажется, что оттуда нам грозят самые серьезные опасности. Я жду от вас, моя милая, что вы окажетесь на высоте той задачи, которая здесь предстоит вам. Однако, эта задача далеко не заключается в том, чтобы поддерживать королеву в ее борьбе с министерством. Об этом заботится принц Роган, не столько ради того, чтобы польстить желаниям королевы, сколько ради личных интересов. Его честолюбие до сих пор не может примириться с тем, что он был отозван из Вены, где занимал пост посла. Шапка кардинала—самое меньшее, что может удовлетворить его, и король, вероятно, согласится на это, принимая во внимание его богатые и влиятельные семейные связи. Королева же до сих пор противится и не хочет принимать принца. Бестактности Рогана, совершенные в Вене, мне кажутся все же недостаточными для объяснения такого упорства и, действительно, я слышал недавно, что он довольно недвусмысленно преследовал молоденькую австрийскую эрцгерцогиню своими любовными предложениями. Я считал бы поэтому полезным держаться от него подальше, тем более, что его репутация и здесь, в Париже, очень плохая. Он сам рассказывал мне, что со времени своего возвращения в Париж, он ежедневно ужинает в отеле какой-нибудь куртизанки. Такие люди, как он, будут только поддерживать опасные склонности королевы и еще увеличат круг легкомысленных дам и мужчин, которыми она себя окружает.

Вы знаете, как мы поздравляли себя с окончанием хозяйничанья королевских любовниц, когда вступил на престол этот король? Но теперь я, не стесняясь, говорю, что мы скорее проиграли, нежели выиграли от этой перемены. Мария-Антуанета живет только для удовольствия и заходит в этом отношении так далеко, что, не считая на себе достоинство и положение, выступает на сце-

не в самых рискованных комедиях перед партером восторженно аплодирующих кавалеров и своих любимцев выбирает на основании своих актерских пристрастий. Дело зашло уж так далеко, что такие важные господа, как граф Артуа, выступают в Версале в качестве канатных плясунов, а графиня Полиньяк берет уроки балетных танцев! Что ж удивительного, что мало-по-малу исчезает почтение к королевскому дому и распеваются куплеты, осмеивающие самым жестоким образом это стремление принцев уничтожить собственное достоинство.

Мне надо еще сообщить вам, что мы должны принять любезное приглашение вашего дяди, графа Вальдемара, поселиться сначала в его доме, так как не легко найти подходящий отель и, кроме того, наше пребывание в Париже будет зависеть от дальнейшего положения вещей.

Сообщите мне во-время ваши дорожные распоряжения.

Люсьен Гальяр—Дельфине.

Высокоуважаемая госпожа маркиза. Ваше поручение исполнено: я поймал принца Монбельяра, когда он возвращался домой после своей верховой прогулки с графиней Полиньяк. Веселость его тотчас же омрачилась, как только он увидел меня. Когда я передал ему ваше письмо, его бледное лицо густо покраснело. Он очень немиловостиво отпустил меня. Или, быть может, я прозрел в Париже и теперь только увидел обычное высокомерное обращение этого знатного господина?

Ваша милость была настолько добра, что осведомилась о моей судьбе. Мне бы надо было писать мемуары, как г. Бомарше, чтобы дать подробные сведения обо всем, что я испытал. Я пережил в какие-нибудь несколько месяцев больше, чем за двадцать пять предшествовавших лет. Я постараюсь вкратце изложить вам это, не потому, чтоб я верил в интерес, который вы мне выказываете,—я знаю, что благородное воспитание учит выказывать подобный интерес и таким путем привлекать к себе простодушных людей,—но я хотел бы познакомить вас с новым изданием известного вам Гальяра и избавить

вас от встречи с ним, если он подлежит вашему порицанию.

Я отправился пешком. Нищенскую сумму, которую мне дал г. маркиз и которую так значительно увеличила госпожа маркиза, надо было беречь и воздерживаться от лишних трат. Эта бережливость сделала меня богатым. Я приобрел такой обширный опыт, который подчас даже подавляет меня.

Как только горы остались за мной, я увидел впереди целые области, как будто только что покинутые воинственными грабителями. Пустоши, луга, поля, пересекаемые грязными дорогами. На расстоянии многих миль — ни одного человека! Лишь изредка показывалось кое-где живое существо, с прядями волос, падающими на закорюзлое от грязи лицо, испуганно смотрящее на меня своими покрасневшими глазами.

Перед наступлением ночи я постучался в двери одной закоптелой хижины, в округе Норуа. С воем, напомнившим мне вой волков в Вогезах, какое-то существо бросилось мне навстречу.

— У меня нет ничего, ничего! — кричала она. — Даже замок от дверей уже взят сборщиком податей!

При лунном свете я мог рассмотреть, кто был передо мной. Это могла быть только колдунья! Космы грязных белых волос торчали на ее желтом черепе. Кости обнаженной верхней части ее туловища были обтянуты коричневой кожей, груди висели, как пустые мешки, на обвислом животе. Я перекрестился. Тут я услышал какой-то плач в темноте хижины. Предположив преступление, я бросился за ведьмой внутрь хижины. Она что-то подняла с голого пола хижины, какой-то узел лохмотьев, как мне показало. Она качала этот узел на своих костлявых руках, прижимала к своей иссохшей груди, и слезы потоками лились на него. Я увидел маленькое личико старческого вида, величиной не больше моего кулака, которое выглядывало из лохмотьев. Она прижимала его к себе и целовала...

Тогда я понял, что это была женщина!..

И вот, постепенно, путешествуя дальше, я перестал ужасаться. Везде я видел одно и то же. Дома без окон и полов и в них ничего, кроме грязной соломы. Мебель во

время последней зимы была сожжена в камине, так же как и последние плодовые деревья перед домом. Все же остальное имущество было сожрано сборщиками податей и землевладельцами! Виноделы в Лаферте вынуждены были выпустить вино в реку, потому что им нечем было заплатить за него налог!

Когда я достиг Шатильона на Сене, навстречу мне стали попадаться целые толпы крестьян, бросивших свои поля и отправляющихся на чужбину. Одни из них вторгались в город, где каждый дом напоминал развалины, и вымаливали работу у швейцарского суконного торговца, недавно приехавшего, чтобы завербовать за дешевую плату женщин для своих ткацких станков. Его восхваляли, точно самого Бога за это. Тут были люди, которые точно скот питались травой, за неимением ничего другого, и то, что они получили теперь—кусок хлеба, казалось им настоящим спасением. За это они готовы были день и ночь корпеть над станком.

Я приближался к Парижу с пустыми карманами. Перед лицом всех этих бедствий, каждое су жгло мне руки, пока я не отдавал его. Я проходил мимо роскошных замков и великолепных цветущих садов. И хотя я чувствовал уже спазмы голода, но скорее готов был бросить горящий факел в эту роскошь, чем протянуть руку и просить милостыню!

Нужда заставила меня снова отправиться к женщине, нежеланным гостем которой я был уже в течение первых девяти месяцев моего существования. В ее кофейне, где за столиками собирались, с раннего утра до позднего вечера, разные реформаторы мира, я познакомился и с деятелями пера, для которых я исполнял обязанности писца. Теперь я работаю у г. Ленге, тщеславие которого превышает его ум. Оттого, что разные шалопаи, посещающие кофейню, гонятся по поводу его процессов и статей, он и в самом деле думает, что на него обращены глаза всей Европы!

Я бываю и в клубах и много читаю. И часто мне казалось, что у философов и экономистов я найду рецепты для излечения того страшного народного бедствия, с которым мне пришлось очень близко познакомиться. Однако, по-

том я всегда убеждался, что эти знаменитые врачи совсем не исследовали той болезни, которую они хотят лечить. Г. Неккер недавно написал в одном памфлете против экономистов: «Экономическая свобода, которую вы проповедуете,—это тирания землевладельцев». А аббат Бодо отвечал ему: «Ваши нападки на землевладение—это коммунизм банкиров». Боюсь, что они оба правы.

Да простит мне ваша милость это длинное письмо. Я слишком много думаю и слишком мало говорю, поэтому мысли мои выливаются через перо на бумагу.

О Фроберге я вспоминаю, точно о какой-нибудь другой планете. Там всюду была сытость и чистота. Ваше письмо точно раздвинуло темную завесу моего опыта, так что из окна моего подвального помещения я снова увидел далекий солнечный луч, но все же я не хотел бы вернуться назад! Бороться лучше, чем просто жить. Одно только ужасно, что госпожа той планеты снова явилась передо мной и из-за нее я мог позабыть на время о несчастной ведьме в Норуа!...

Могу ли я надеяться, что ваша милость вспомнит обо мне в Париже?..

Принц Фридрих-Евгений Монбельяр—Дельфине.

Париж, 2 июля 1775 г.

Уважаемая маркиза. Ваше письмо удивило меня, так как я не имею права рассчитывать, что вы окажете мне честь своим доверием. Мне показалось однажды, что я угадал побуждения, заставившие вас отклонить свидание со мной. Мое сердце, глубоко ослепленное этим, в состоянии было перенести требуемую разлуку. Но с некоторого времени я знаю, что это было заблуждение...

Принц Ротан и граф Шеврез, восхищенные вами, много рассказывали про то, как вы умеете всех подчинить своему обаянию, но еще больше, чем их речи, сказало мне молчание другого, навеки умолкнувшего человека!

Вы защищаете себя по поводу этой смерти, маркиза, как будто я позволил себе выступить в роли вашего судьи. Но так как я, к сожалению, не могу быть ни глухим, ни слепым, то позвольте мне восстановить в вашей памяти не-

которые факты. Маршал Контад, приехавший в Версаль, чтобы реабилитировать себя, привез портфель Пирша. Между прочим, там находилась, написанная вашей рукой, записка с откровенным требованием тайного свидания и несколько стихов самого Пирша, посвященных «Возлюбленной», где он воспевает аромат ее волос, нежность ее рук, теплоту ее роскошной груди, и притом делает это в таких пылких выражениях, которые с несомненностью указывают на обладание всеми этими прелестями, а не на одно только желание...

Далее, вы были настолько милостивы, что выразили участие к моим интересам и планам, которые вам кажутся «опасными» и «рискованными». Для вашего успокоения могу вас уверить, что отнюдь не какие-либо «сердечные разочарования» вызвали во мне желание повернуться спиной к Франции. Это свойство женщин сообразовать свои убеждения и интересы с направлением своих чувств, но мужчины так не делают.

Мое отвращение к пустоте придворной жизни, к моему собственному бездельному существованию могло уже служить достаточным основанием, чтобы у меня возникло горячее желание поискать другую сферу жизни. Но еще важнее для меня было понимание того, что все системы и идеи наших мыслителей и поэтов, которые некогда так воодушевляли меня,—я бы охотно сказал «нас», маркиза, если бы мне не было известно, что часы, проведенные в Этюпе, давно уже позабыты вами,—остаются только фразами, еще более бессодержательными, чем слова священников, обещания которых касаются небес и потому совершенно не могут быть проверены.

В Америке же я вижу народ, сражающийся за свою свободу, вместо того, чтобы только говорить о ней! Там я узнаю, наконец, представляет ли она такое благо, за которое стоит отдавать свои силы и свою жизнь?

Я предполагаю отправиться сначала в Петербург на бракосочетание моей сестры с русским великим князем Павлом, а затем покину Европу.

Может быть, из этих коротеньких строк вы будете в состоянии понять одно, что я не имею желания похоронить свою личность в придворных интригах и любовных

забавах и не имею никакой склонности разыгрывать из себя трагического героя.

Эти слова, маркиза, должны быть последними, которыми мы обменялись с вами.

Я надеюсь, что Париж не обманет ни ваших стремлений, ни ваших надежд.



ПАСТУШЕСКИЕ ИГРЫ.

Граф Гюи Шеврез—Дельфине.

Париж, 1 августа 1775 г.

Вместе с этим письмом посылаю вам, прекраснейшая маркиза, роль Дафнис, которая вам предназначена. Королева пришла в восторг от одной мысли о вашем участии. А я... О, не существует слов, чтобы выразить то, что я чувствую!

Дельфина смеется над любовными клятвами Гюи, но Дафнис вынуждена будет претерпеть даже самые нежные излияния Филидора!

Граф Гюи Шеврез—Дельфине.

Версаль, 15 августа 1775 г.

Очаровательница! я еще чувствую ваше дыхание на своей щеке, чувствую ваше нежное тело в своих объятиях и ощущаю прикосновение ваших губок, мягких и прохладных, как лепестки розы, к своим пламенным устам. Была ли то Дафнис?.. Была ли то Дельфина?..

И вот, когда я, опьяненный блаженством, упал, в тени кулис, к вашим ногам, готовый за одно ласковое слово отдать по каплям свою кровь, вы сразу заставили меня опуститься на землю, обратившись ко мне с вопросом: был ли принц Фридрих-Евгений среди зрителей? Я молча кивнул головой, глубоко огорченный тем, что вы так долго интересуетесь этим нелюбезным чудаком. Но когда страсть, бушующая во мне, вырвала у меня мучительный вопрос: «Любите вы принца?» то ваш быстрый ответ: «Я ненавижу его!»—наполнил мое сердце новой радостью на-

деждой. Прильнув ко мне, сияя красотой и вызывающей смелостью, вы показались перед восхищенным двором. И когда вы легким пожатием руки дали мне разрешение оставаться возле вас, то, опьяненный, я вообразил, что упительное блаженство обладания вами недалеко!..

Но ваше холодное прощание на рассвете снова низвергнуло меня в пучину сомнений. Спасите потерпевшего крушение! Если же вы находите, что не стоит для этого протягивать вашу руку, то спасите другое,—спасите свою собственную цветущую молодость! Не забывайте, прелестная Дельфина, что, несмотря на вашу божественную красоту, вы не бессмертны. Должна ли увянуть весна вашей молодости, прежде чем солнце любви превратит ее в благоухающее лето?

Вы страдаете, я это знаю, потому что мне знакомы все муки сердца и все его восторги. В ваших глазах светится желание и оно горит даже в кончиках ваших розовых пальчиков.

Если сегодня вечером я увижу розы, которые посылаю вам, приколотыми к вашей груди, то это будет служить для меня знаком, подающим сладостную надежду. Пусть трагедия Гибера,—представления которой с таким нетерпением ожидает двор,—будет так же томительно скучна, как и его военное искусство, я все же найду ее занимательной. Итак, вы, очаровательная Дельфина, будете нести ответственность не только за счастье вашего пастуха, но и за успех поэта!

Граф Гюи Шеврез—Дельфине.

Версаль, 20 августа 1775 г.

С того вечера, как я увидел на белом шелке вашего платья темноокрасные розы, олицетворяющие мою страсть, и увлеченный преклонил перед вами колено в зеркальном зале Версаля, я начал сомневаться, была ли настоящей жизнью моя прежняя жизнь, и любовь, которую я раньше испытывал, была ли то действительно любовь?

Как во сне слышу я некоторые мелодии Гретри, при звуках которых в ваших глазах зажигались огоньки, ви-

жу в ваших руках стакан с пенящимся вином, огонь которого медленно разливался по вашим жилам, чувствую горячее дыхание прекрасных женщин и блестящих кавалеров, заставляющее мерцать пламя благоухающих свечей и вибрировать удушливый воздух залы, заражая и вас всеобщей лихорадкой. Были ли вы опьянены роскошью королевского праздника или на вас подействовал аромат моих роз?

Я не хочу никакого ответа на этот вопрос, не хочу его! Я хочу только жить и наслаждаться божественным мгнолением, прелестная женщина, все равно, какому бы чуду я ни был обязан этим блаженством.

Все цветы, какие только есть в Париже, я посылаю вам. Я хочу уложить головку возлюбленной на лепестках лилий, когда приду к ней, хочу рассыпать по ее белому телу красные маки, и пусть Амур даст мне силу пробудить прекраснейшую из женщин к жизни любви...

Граф Гюи Шеврез—Дельфине.

Версаль, 10 сентября 1775 г.

Милая! Прелестная! И я не мог видеть вас вчера! А между тем, вы все же приняли графа Гибера! Бешеная ревность терзала бы мою душу, еслиб я не знал, что знаменитый поэт и воин так же знаменит и тем, что он любовник Леспинас. Но я не хочу позволять ему преклоняться даже перед умом моей возлюбленной!

И королева заметила мое дурное расположение духа. «Где Дафнис, бедный Филидор?» поддразнивала она меня. «Где Дафнис?» повторяет мое сердце каждую минуту, которую я провожу в отдалении от вас!

И сегодня вы не хотите меня принять, потому что ее величество портниха Берген дает вам аудиенцию?! Жестокая! Для чего вам новые кружева, газовые и шелковые материи, нежные волны тюля, украшающие грудь, тяжелая парча, окутывающая бедра изысканно грациозными складками? Разве вы недостаточно обольстительны для меня, или же вы намереваетесь довести меня до бешенства, сводя с ума других мужчин и пронзять меня их завистливыми взглядами?

Внизу, во дворе, швейцарец насвистывает свою песенку, из комнат Полиньяк несутся томные звуки арфы, в кустах изгороди чирикает птичка, мечтающая о весне... Но во всех этих разнообразных звуках я слышу только одно: Дельфина! Дельфина! Страстно, буйно бьется мое сердце при одном этом имени! Ведь через несколько дней моя возлюбленная будет со мной в волшебных садах Армиды!

Никого я так не восхваляю теперь, как принца Конде, превратившего Шантильи в обиталище муз и граций. Бомарше, исполняющий у него в настоящее время роль церемониймейстера, многозначительно улыбаясь своей улыбкой Фигаро, намекал мне о чудесах, которые там будут совершаться.

Для любителей уединения, сказал он, устроены в этом обширном, многомильном парке тихие, уединенные домики; для философских же бесед, чтоб они могли происходить без помехи, существуют в огромном замке укромные уголки, скрывающиеся за потайными дверями. Все, молодые и красивые, приглашены принцем для того, чтобы злые языки старых баб и похотливые взгляды отживших старых франтов не препятствовали любви жить тут полною жизнью.

Поэтому, возлюбленнойшей из всех женщин, вам не придется бояться за нашу тайну, и бледнеть, когда моя рука будет искать вашу руку и когда нас коснутся посторонние взоры. И в минуту величайшего упоения вы не будете со страхом обращать на меня свои прекраснейшие в мире глаза. Наконец-то вы будете моей без всяких опасений!

Я вижу уже нас обоих в этих садах, в храмах, скрытых в земле. Руки наши соединились, и мы вместе поднимаем их к Эросу, этому восхитительному богу, и затем тихо исчезаем во мраке хижины, вокруг которой, точно непоколебимая стража стоят седые буковые стволы, а густой плющ стыдливо закрывает своими ветками все маленькие оконца...

Люсьен Гальяр—Дельфине.

Париж, 20 сентября 1775 г.

Высокоуважаемая госпожа маркиза. Я до сих пор еще не воспользовался вашим милостивым разрешением, дозволяющим мне лично представиться вам во время вашего пребывания в Париже. Но в мою теперешнюю жизнь и мои мысли не должен попадать уже ни один луч из того мира, от которого я окончательно отвернулся. Я, сам обездоленный, хочу совсем принадлежать моим братьям и даже не прощаю себе, если когда-нибудь во мне шевельнутся прежние чувства и желания...

Чтобы не будить в себе того, что, к сожалению, еще не умерло, а только дремлет под влиянием песен нужды, я и не обращаюсь к вам лично со своею просьбой. Тут дело не во мне. Если бы мне даже угрожала голодная смерть, я бы скорее стал грабить, нежели просить милостыню. Но ради бедных малюток я обращаюсь к вашей доброте.

Я нашел их во время моих странствований в северной части Парижа. Такие прогулки составляют мое обычное времяпровождение в часы досуга. Тот, кто вынужден постоянно ходить по мостовой, между тесными рядами домов, забывает постепенно, что можно также ходить и по мягкому дерну, между зелеными деревьями. И это хорошо.

Дети просили милостыню. Девочка искала в кучах мусора чего-нибудь съестного. Я пошел за ними, когда они вечером отправились домой. Мне пришлось забраться под самую крышу. Там, сквозь широкие щели в дощатой стене, я мог заглянуть в каморку, не имевшую ни замка, ни засова. Я увидел группу изголодавшихся детей, с жадностью хватавших отвратительные отбросы пищи, найденные девочкой в сточной канаве. В другой раз я последовал за одним ребенком в сырую подвальную яму, лежащую глубоко под мостовую улицы. Какая-то женщина с гипнотизирующими глазами сорвала с его худенького тела лохмотья, а другая стала рассматривать это жалкое, истощенное создание так, как будто перед нею был кусок редкого мяса. И за пять су она купила, наконец, малютку!

С тех пор я постоянно отыскиваю таких несчастных детей. У меня уже составилась целый список. В шести улицах я нашел 73 ребенка: мальчиков и девочек. Я бы охотнее всего тайно похитил их. Но в моей каморке есть место только для моей кровати, потому что я калека и никогда не лежу прямо. А женщина, которая меня родила, захотела бы извлечь пользу из моих питомцев. Сбыт для человеческого товара она всегда находит.

И вот, я слышал, что теперь в моде у благородных дам отдавать бедным людям свои изношенные платья и кухонные остатки, чтобы вызвать их благодарность. Некоторые устраивают также больницы, опасаясь для своей гладкой нежной кожи заразительных болезней, которые они могут получить от бегущих на свободе нищих детей.

Может быть, было бы возможно,—благодаря г. Руссо, любовь к детям ведь тоже вошла в моду, — учредить для них какое-нибудь убежище, где бы они могли найти защиту от диких зверей, преследующих их, от голода и людей? И это бы стоило даже дешевле, чем новое платье, если бы все придворные дамы захотели принять участие в таком деле.

Боюсь, что я не умею просить милостыню даже для других! Ничто не вызывает такой пламенной ненависти, как необходимость просить!

Да простит мне ваша милость все эти слова, которые падают, точно камни, вместо того, чтобы ложиться на землю мягкими снежными хлопьями. Но если бы вы захотели обратить на этих бедных детей всю ту доброту, которую расточали мне когда-то, то дети были бы спасены!

Мой список всегда к вашим услугам.

Принц Роан—Дельфине.

Шантильи, 25 сентября 1775 г.

Восхитительная маркиза. Вы ускользаете от меня. Только явится у меня надежда, что мне удалось приблизиться к вам, в саду, как уже ваши золотые башмачки мелькают вдали, между изгородями! Вижу я вас в са-

лоне,—и там вас всегда окружает непроницаемою стеной толпа ваших поклонников! Осмеливаюсь ли я последовать за вами вечером—и тут становится поперек дороги моя скромность кавалера. Вот почему я избираю этот путь, который облегчит мне возможность выступить перед вами в качестве разгневанного священника, а не в качестве преклоняющегося перед вами человека.

В своих пастушеских играх вы забываете нашу интригу, прекрасная маркиза, уже не потому ли, что вашим партнером является любезнейший граф Шеврез? Надо же, чтобы путь к голове женщины всегда проходил через ее сердце!

Однако, даже в тех случаях, когда я не мог открыть влияния любовника, ваш ум всетаки оказывается в подчинении у ваших чувств!

Слушайте же, что мне рассказывали: недавно королева прогуливалась в сопровождении нескольких дам по новым садам Трианона. Под тенью ив, у рыбацкой хижины, она начала рассказывать истории, навеваемые ей окружающей обстановкой. Каждая из дам, со смехом и шутками, последовала ее примеру. Только маркиза Монжуа, всегда самая веселая из всех, оставалась молчаливой. «Разве эта хижина не напоминает нашей очаровательной приятельнице никакой идиллии?»—спросила ее королева. «Идиллии? О, нет! — отвечала маркиза. — Скорее трагедию!» И с горячностью, усиливающейся при каждом слове, она заговорила о крестьянах Шампаньи, об их хижинах, не имеющих ни окон, ни кроватей, об их пустынных полях, опустелых гумнах, об их женах, молодость которых съедает нужда и у иссохших грудей которых дети умирают с голоду! Дамы слушали пораженные, а королева даже прослезилась...

И то, чему я не хотел верить, я услышал сегодня собственными ушами! Когда во время игры в фанты пришла ваша очередь, и вы должны были рассказать что-нибудь, развязывая свое жемчужное ожерелье, то вы заговорили с тою теплотою, которая всегда далека от истины, о страданиях детей в Париже. Вы говорили о таких вещах, которые ваш изысканный вкус не должен был бы знать, а ваши нежные уста не должны были бы выговаривать! Но

чем сильнее вы увлекались своим состраданием, тем опаснее было влияние, которое исходило от вас. Разве таким образом, дорогая маркиза, можно поколебать положение Тюрго, который не устает сулить народу золотые горы, если только ему удастся провести свои реформы?

Я должен напомнить вам серьезность положения, для того, чтобы вы ясно поняли, как важна наша задача. Положение обострилось в высшей степени, и не только наше отечество, но и наша святая церковь находятся в величайшей опасности, особенно с тех пор, как герцог Шуазель возвращен из изгнания, — тот самый Шуазель, которого Помпадур сделала министром и который изгонял благочестивых патеров-иезуитов и в то же время оказывал покровительство философам-богоотступникам! Неверие, пренебрежение человеческим и божественным авторитетом распространяются всюду, как зараза. Такой низкий человек, как Вольтер, становится оракулом Франции; энциклопедия выходит беспрепятственно и распространяет по всему свету идеи просветителей, которые до сих пор приносили вред только в небольшом кругу. Наши газеты и памфлеты, даже наши разговоры, сплошь до придворного круга, наполнены речами о правде, о равенстве, о политической свободе, и слово «разум» произносится гораздо чаще, чем имя Бога!

Простите мне, что моя любовь к отечеству и мой долг служителя церкви так далеко завели меня, что я набрасываю тень на ваши развлечения, которые должны оставаться безоблачными. Но именно здесь мне стало ясно, как много могли бы вы сделать для нашей цели, высокоуважаемая маркиза, так как все, начиная от нашего благородного хозяина и герцога Бурбонского, преклоняются перед вашей красотой и восхищаются вашим умом. Я выываю к вашему честолюбию, которое легко получит удовлетворение, если вы исполните ваш долг, как дочь Франции и церкви. Вы можете доказать королеве, что Франции хватает средств не только на сады Трианоны, и что Франция призвана играть первенствующую роль в мире, а не только на сцене.

Если вы захотите благотворить в тиши, как святая

Елизавета, не возбуждая излишним образом умы, которые и без того легко воспламеняются, то я первый подержу вас. Завтра же утром я пришлю вам сто луидоров из моей шкатулки для ваших бедных детей и я уверен, что вы всюду найдете такую же щедрую помощь. Чтобы осушить слезы, в самом деле, не нужны никакие законы о реформах! Это во все времена было прекраснейшей задачей добрых христиан.

Должен ли я напомнить вам еще кое-что, моя красавица? Маркиз Контад готов подтвердить своим честным словом дворянина, что вы — француженка! — осудили поступок фон-Пирша, как измену отечеству. Впрочем, он обещал мне — так как только благодаря моему влиянию, полученная им пощечина не имела последствий — что он не воспользуется этим фактом, чтобы вредить вам. От меня зависит, следовательно, освободить его от этого обещания. Можно ли будет маркизе Дельфине рассказывать королеве разные истории, после того как ее величество узнает, что ее молодая подруга питает в душе прусские чувства?! Вам теперь представляется прекрасный случай исправить маленькую оплошность, которую, конечно, можно оправдать вашей молодостью.

Во всяком случае, легче простить вашу неосторожность, в которой виновато ваше горячее сердечко, нежели то, что вы делаете обдуманно. Конечно, почтенный маркиз — неподходящий партнер для радостей любви. Поэтому-то я, как ваш преданный друг, нарочно зажмурил глаза, проходя сегодня ночью мимо одной, скрытой в кустах, хижины и заметив, с какой очаровательной естественностью Дафнис и Филидор продолжают далее играть свою роль, — хотя мне, как священнослужителю, и следовало бы вознегодовать и наказать виновных. Но не бойтесь, прелестная грешница! Только ради одной родины мог бы Роган изменить женщине, которой он поклоняется!

Не затуманивайте же блеска ваших очей слезами ложного сострадания. Будьте уверены, что церковь не допускает голодать ни одного человека на плодородной почве Франции.

Я возвращаюсь сегодня же в Страсбург. Вы будете так добры, что напомните обо мне королеве.

На прощание, — если только двери вашего будуара открываются не только для одного единственного кавалера, — я явлюсь к вам завтра рано утром и буду просить только одной милости: разрешения поцеловать розовую ручку, которая умеет так нежно обнимать достойного зависти возлюбленного.

Граф Гибер—Дельфине.

Париж, 6 октября 1775 г.

Высокоуважаемая маркиза. Когда я предоставил себя в ваше распоряжение для дела, которое внушило вам ваше человеколюбие, то никогда не думал, что мы так быстро достигнем цели. Но красота и доброта, соединившись вместе, могут творить чудеса! Шестьдесят детей, принятых на свое попечение монастырем св. Иисуса, служат живым доказательством этого.

Но ваше горячее стремление облегчить нужду, — к сожалению, являющуюся лишь симптомом великой болезни, угрожающей жизни Франции, — не так глубоко потрясло меня, как ваше непонимание, какими средствами надо бороться с этим злом, чтобы искоренить его.

Будьте уверены: реформы, с какими бы хорошими намерениями они ни применялись, служат только наркотическим средством, заглушающим боль. Надо отыскать новые источники богатства. И я повторяю вам то, что г. Бомарше и я уже пытались изяснить вам, что именно теперь представляется для этого благоприятный случай. Если мы поддержим американцев в их борьбе за свободу, то Америка даст нам в руки единственное верное оружие для борьбы с нуждой, а именно — деньги!

Вашу красоту восхваляет весь Версаль, вашу доброту — половина Парижа! Но теперь открывается обширное, плодотворное поле деятельности и для вашего ума. Ваш салон должен быть сборным пунктом всех лучших умов Франции. Моя любовь к отечеству позволяет мне свободно высказывать то, о чем мое чувство к вам должно было бы заставить меня молчать. Или же я все-таки могу надеяться быть одним среди многих в вашем салоне?

Граф Гюи Шеврез—Дельфине.

Париж, 10 января 1776 г.

Неужели моя богиня так же изменчива, как солнце, которое все чаще и чаще прячется за серой зимней вуалью?

Когда я, вчера, принес вам конфекты, которые вы принимали всегда с таким удовольствием, то вы оттолкнули их, говоря: «Все одни и те же сладости! Они мне противны!»

На прощание, после этого мучительного свидания, вы подставили мне щеку, как будто мы были мужем и женой! А сегодня, когда я заговорил о предстоящем празднике у принцессы Ламбалль, вы сделали недовольную гримаску и проговорили: «Неужели Париж не может дать ничего другого, кроме комедий и празднеств, празднеств и комедий?» Новейшие анекдоты, рассказанные мной, и самые шикарные песенки, которые я вам пропел, не вызвали на вашем лице даже улыбки!

Но вот лакей доложил вам о г. Бомарше. Ваше личико сразу просияло, и вы, не позволявшая раньше никому мешать нашим свиданиям, приняли этого посетителя со вздохом облегчения.

Теперь я понимаю, очаровательная Дельфина! И у вас любовь и верность не произрастают из одного ствола. Ваша цветущая юность, о существовании которой я первый напомнил вам, ваш пылкий темперамент, оковы которого расплавились в моем огне, ваш сверкающий ум, искры которого удалось впервые извлечь г. Бомарше, — все это громко требует перемены.

Великий драматург Бомарше развернул перед вами картины мировой сцены: борьбу американцев, парламентские речи в Англии, финансы Франции. — и ваше увлечение обитателями Нового Света и их «человеческими правами» вспыхнуло таким ярким пламенем, что свет крошечной жалкой любви должен был померкнуть перед ним, как меркнет свет утренней звезды перед солнцем! Но Богу известно, что я, Гюи Шеврез, готов сознаться в том, что не все выучил, что нужно для роли любовника.

Капризная женщина нашего времени требует от нас теперь не только безделушек сердца, но много ума, знаний и, пожалуй, даже поступков!

Милая Дельфина, ради поцелуя ваших губок, — но такого, который дышал бы страстью, а не отзывал бы привычкой, — я мог бы покорить великанов и победить драконов! Но не требуйте от меня, чтобы я воодушевлялся по поводу таких обыкновенных вещей, как ссоры наших несимпатичных соседей с их скучными колонизаторскими братьями. В самом деле, если я начну вспоминать, сколько дурного пришло к нам из Англии: основы морали, демократические идеи, закрытые платья, высокие башмаки, — то, пожалуй, и меня охватит бешенство!

Должен я завтра придти к вам? В обычный час? Через садовую калитку? Один? Я принесу с собой, — так как моя нежность, повидимому, подверглась такой же немилости, как и мои конфеты, — целую программу развлечения: m-me Дюте играет в своем частном театре пьесу, запрещенную цензурой. Граф Артуа уже в течение целой недели состоит при ней в качестве счастливого преемника г. Ларива. К вашим услугам ложа, закрытая решеткой... со мной?!

Граф Шартрский устраивает катание на санях, которое завершится ночным праздником в замке Монсо...

Юный Вестрис будет танцевать у своей новейшей покровительницы, графини Мирамон. Гостей женского пола просят, по крайней мере, на этот вечер, предоставить одной только графине наградить танцора за его прыжки!!!

Люсьен Гальяр—Дельфине.

Париж, 30 января 1776 г.

Высокоуважаемая госпожа маркиза. Согласно вашему желанию я посетил монастырь Сердца Иисуса. Я не узнал моих ребят. Уличные мальчишки, которые плевали на меня прежде, теперь целовали мне руку и называли «милостивый господин». Все они чисто одеты, сыты и научились молиться. Но не знаю сам, почему у меня вдруг явилось желание снова вернуть их в ту мрачную бездну, в

которой они находились раньше! Неужели бедным людям всегда остается только выбор между рабством духа и рабством тела?

Вы должны иметь ко мне снисхождение. Мое несчастье, что я так же мало способен благодарить, как и просить.

Мои прогулки, о которых вы спрашиваете, я не прекращаю, но я уже не составляю списков. Не стоит. Нужно было бы направить в эти дома и улицы целый поток золота, чтобы начисто смыть всю грязь и страдания. Но высокопоставленные господа так боятся испытать жажду, что они стоят со своими ведрами и бутылками у самого источника и там перехватывают этот золотой поток.

Вчера ночью я встретил одного несчастного юношу, гессенца, бежавшего через границу, потому что маркиграф продает своих подданных за наличные деньги. Английские торговцы людьми, говорит он, покупают солдат для войны с американцами. Это верно. В то время как европейские короли приветствуют философов, которые в их присутствии декламируют о правах человека, а русская императрица даже платит им за то, что они столь занимательным образом разгоняют ее скуку, немецкие князья создают из человеческих тел плотину против свободы.

Похоже на то, что я жажду попасть в Бастилию. Но, к сожалению, я знаю,—вы очень добры, но не настолько, чтобы меня отправить туда. Я представляю себе, как это должно быть чудесно, не видеть больше ничего, кроме тюремных стен!

Бомарше—Дельфине.

Париж, 3 февраля 1776 г.

Уважаемая госпожа маркиза! Только сегодня, пользуясь моим коротким пребыванием в Париже, я имею возможность выразить вам свою благодарность за ваш прием и—что гораздо важнее для меня—высказать вам свое удивление, потому что вы первая женщина, среди множества умных французских дам, заинтересовавшаяся моими широкими политическими планами и обнаружившая понимание их.

Даже мужчины относятся к ним с недоверием. Оттого то мои комедии возбуждают смех,—и мои серьезные слова принимаются ими как остроумная шутка. Что государственные люди бывают комедиантами—этому не удивляется никто. Но что комедианты могут быть государственными людьми,—это представляется абсурдом! Ничто так не компрометирует умного человека, как то, что он занимается политикой. А наши министры больше всего боятся скомпрометировать себя!

Г. Вержен оставался слеп к тем перспективам, которые представляются Франции, благодаря конфликту между Англией и Америкой. Я приоткрыл ему глаза. Тем не менее, он остается философом ради удобства и ссылается на основы морали, потому что это ничего не стоит. Тайно конспирировать против Англии—это противоречит его принципам! Но как же могут мириться эти благородные принципы с разделом Польши, с колониальными войнами и с торговлей невольниками?

И Тюрго также против неприятных действий. Он не хочет вникнуть в то, что часто бывает экономнее потратить миллионы, чем скупиться на гроши. Если Франция теперь вступится, то она загладит ошибку 1762 года и, посредством союза с Америкой, получит все преимущества, которые обогатили Англию в течение этого столетия. Нам нужны только корабли, оружие и военные припасы. Люди уже есть. Маркиз Лафайет, принц Монбельяр и их друзья ждут с лихорадочным нетерпением возможности снова прославить имя Франции, как во времена великого короля, когда весь мир обращал к ней свои взоры!

Простите мне смелость моих речей. Когда я думаю о той красивой женщине, к которой я обращаюсь с такими словами, то чувствую, что я должен был бы стыдиться их, если бы эта красавица не была так умна, что ее не удовлетворяет господство только посредством красоты! Смеем надеяться, что найду поддержку в вашем энтузиазме. Если поцелуй мушкетера превращает для меня в забавуписание комедий, то пусть лучи вашей благосклонности облегчат мне мою трудную ответственную работу и я в состоянии буду

выполнить ее так же легко, как протанцевать с вами медуэт.

Соблаговолите сообщить моему слуге, когда вы желаете принять меня? Я остаюсь здесь до среды и нахожусь всегда в вашем распоряжении.

Принц Луи Роган—Дельфине.

Страсбург, 10 марта 1776 г.

Прекраснейшая женщина! Тщетно жду от вас ответа и уже начинаю бояться, что я оскорбил свою прелестную покровительницу несколькими невинными замечаниями. Я слышал о ваших подвигах: вы открываете салон военной партии! Превосходно, госпожа маркиза. Уж не приходится ли приписать подагру, от которой, повидимому, страдает все министерство, не столько роскошным обедам в доме Жоффрен, сколько тому воздержанию, которое вы налагаете на всех министров? *Les ministres s'en vont goutte à goutte* *) писал мне недавно герцог Шартрский. Вы знаете, что с некоторого времени он имеет в своем распоряжении ум m-me Жанлис для своих каламбуров. Но, разумеется, я не подразумеваю тут ничего дурного. Ведь m-me Жанлис играет на арфе и пишет нравственные повести для юношества!..

Этот же самый корреспондент сообщает мне, что вы рассказывали недавно королеве трогательные истории про закованных в цепи индейских девушек и влюбленных фермеров. Великолечно, госпожа маркиза! Уже начинают носить перья *à l'américaine*, а мода у нас бывает не только провозвестником, но и мерилом настроения умов.

Говорят, что вы также переменили и своих телохранителей? Маленький Шеврез, очевидно, уже выдохся? Я был бы даже доволен этим, если бы не получил сведений, что граф Гибер не без успеха добивается занять его место в вашем будуаре. Он в данный момент в большой моде, как придворный поэт, военный ученый и сокрушитель сердец. Но его репутация свободомыслящего и его друж-

) Министры уходят в отставку капля за каплей или „подагра за подагрой“
Невыразимая игра слов: *goutte* — капля и *goutte* — подагра.

ба с m-lle Леспинас предопределяют его скорее как шпиона, а не как члена нашего круга.

У вас есть возможность выбирать между столькими людьми. Зачем же ваш выбор должен пасть именно на этого?

Мне рассказывали, что принц Монбельяр удалился в свой замок, угрюмый и недовольный, потому только, что одна очаровательная дама отказала ему в своей благосклонности. Он находится в родстве почти со всеми дворами Европы, поэтому представляет силу, достойную внимания. Кроме того, он красив, молод и изумительно добродетелен. Уж, конечно, он не стал бы принимать участия, как это сделал граф Шеврез, быть может, побуждаемый к тому отчаянием, вследствие вашей неверности—в знаменитом кавалерском празднике, который должен был состояться в отеле Гимар, под руководством графа Артуа и в обществе самых знаменитых куртизанок. Благодарение Богу, что архиепископ своевременно помешал этому, выразив протест. Прелестная история, во всяком случае! Сто самых знатных мужчин Франции собираются вместе. Для чего?.. Чтобы служить отечеству? Ничуть! Религии? Еще менее! Все эти божества нашего прошлого теперь уже устарели!

Дайте о себе поскорее весточку, дорогая маркиза. Правда, маркиз находится в настоящее время в Страсбурге, где он успешно работает над объединением местного дворянства против Тюрго,—настроение здесь в высшей степени раздраженное, но так как он вряд ли принадлежит к вашему интимному кругу, то от него я не надеюсь получить желаемые сведения.

Граф Гибер—Дельфине.

Париж, 15 марта 1776 г.

Ваше желание, любезнейшая из всех маркиз, равносильно для меня приказанию, тем более, что я вполне его понимаю. Такая женщина, как вы, не встречая для этого благоприятных условий в придворной жизни, должна желать познакомиться с уединенной жизнью Парижа там,

где она проявляется всего ярче. М-ле Леспинас будет рада принять вас у себя. Вы увидите тяжело больную, но тем больше вас должна будет поразить ее умственная сила и ее всегда неизменная доброта. Если вы выберете для своего посещения завтрашний день, то, в числе других встретите там тулузского архиепископа, Ломени-де-Бриенна, личность которого представляет тем более огромный интерес, что в посвященных кругах на него смотрят как на преемника Тюрго.

К сожалению, я не имел сегодня в академии возможности осведомиться у вас, дорогая маркиза, какое впечатление произвело на вас принятие г. Буажлена в число бессмертных. Разве не становится все более и более похожею на фарс вся эта торжественность? Энциклопедист Д'Аламбер должен был восхвалять консервативного священника, а консервативный священник сделался преемником Вуазенона, типичного свободомыслящего аббата. Французская академия все более и более превращается из общества ученых в собор духовных лиц и принцев.

Разрешите же мне завтра, после визита к м-ле Леспинас, сопровождать вас во Французскую Комедию? Я охотно буду смотреть пьесу моего соперника, если это может доставить мне возможность еще несколько лишних часов дышать одним воздухом с вами.

Иоганн фон Альтенау—Дельфинё.

Париж, 1 апреля 1776 г.

Глубокоуважаемая маркиза! Не могу не выразить словами, как я был изумлен и поражен. Никогда не мог я даже мечтать о том, что встречу в салоне нашей доброй Юлии такую избалованную светскую даму, как вы! Все, что мне рассказывали о вас, о вашем положении в Версале, о толпе ваших поклонников, которыми вы играете, как бильярдными шарами, вынуждало меня, правду сказать, бояться, что жизнь большого света окончательно заставила вас забыть о существовании другого мира, некогда оспаривавшего право на вашу душу. Когда вы вошли, маленькие двери казались слишком тесными для

колыхающихся перьев вашей высокой жуаффюры, — и к вам навстречу направилась m-lle Леспинас, худое изможденное существо в монашеском одеянии, протягивая вам свою бледную с синими жилками руку и ласково улыбаясь своими бескровными губами, то взоры всех испуганно посмотрели в вашу сторону, до такой степени чуждым казалось ваше появление в этом кругу! Вы это сами почувствовали и вы сидели в своем роскошном наряде рядом с согнувшейся Юлией, как единственная гостья в этом салоне и были молчаливой слушательницей. Вы с удивлением внимали, когда Бернарден де-Сен-Пьер, самый молодой поэт из посетителей этого салона, прочел восторженную оду, посвященную вечному миру, а Д'Аламбер говорил о всеобщем братстве. Я увидел, как вспыхнул в ваших глазах огонек, столь напомнивший мне маленькую графиню Лаваль, когда шевалье Шастеллюкс прочел Вольтеровскую «Похвалу разуму», эту чудную вещь, благодаря которой патриарх заставляет забывать обо всем, что сделано им ложного. Будь на троне Франции такой принц, как Фридрих Прусский, то сбылись бы надежды великого мудреца на его правительство и были бы приняты во внимание его советы. Но существует только один Фридрих! Людовик XVI столарничает, охотится, а в промежутках рисует аллегории. Мария-Антуанета играет на арфе. О, ты, счастливая Франция, где королям ничего другого не остается делать!

Вы с удивлением слушали единодушные похвалы писателю Ретиф де-ля-Бретон. Его произведение «*Paysan pervers*» осуждено двором — строгая нравственность которого, ведь, вне сомнений! — как в высшей степени безнравственное сочинение. Я посылаю вам, как обещал, эту книгу. Судите сами! Ее буквально вырывают из рук книгопродавцев, но не столько потому, что хотят увидеть скрывающуюся за ее непристойностями Медузину голову истины, а потому, что самую истину считают непристойной. Не пугайтесь той грязи, которую раскрывает поэт. Пастушеские игры высшего общества, скрывающие грязь под цветами, в действительности, гораздо порочнее.

Руссо изображал добродетель и благоденствие граду-

щего мира. Его же проповедь—возвращение к природе—стала только предлогом для новой моды. Надо, чтобы пришли еще другие и поднесли безжалостное зеркало к искаженному ужасными пороками лицу общества, для того, чтобы оно, испугавшись, вспоминало о враче,—говорит m-me Леспинас.

Неправда ли, здесь разговаривают иначе, чем в Версале, который еще более удален от современной умственной жизни, чем луна от земли,—или в Трианоне, где мечтают о близости к природе и семейственной жизни, прогуливаясь между хлевами с мраморными яслями и сидя в хижинах, уставленных мебелью, обитой штофом!

Только когда вы ушли, вы снова стали маркизой Монжуа: до такой степени вы казались мне прежней очаровательной графиней Лаваль, пока вы были в этом салоне. Граф Гибер, ни на минуту не спускавший с вас своего взора, алчущего красоты, последовал за вами. Вы не видели, как густо покраснело бледное лицо Юлии и в ее глазах появился лихорадочный блеск. Мы скоро распрощались с ней. Только один верный Д'Аламбер остался и видел слезы несчастной женщины. Гибер—ее последние большая страсть, и хотя он ей всем обязан,—она ему проложила дорогу к покойному военному министру, она заинтересовала им графа Сен-Жермен до такой степени, что он сделал его своим адъютантом, она исправила его «Коннетабля Бурбонского», так что он мог быть поставлен на сцене—тем не менее, он пренебрегает бедняжкой и не оставляет ей даже ради утешения иллюзии своей любви!

Вы были так добры, что приглашали меня на свои приемные дни. Будьте так же добры и простите, что я уклоняюсь от этого приглашения! Я бы хотел опять найти Дельфину Лаваль; это желание никогда не исчезало у меня. Но среди многочисленных гостей маркизы Монжуа, где такой искатель приключений, как Бомарше, принадлежит к наиболее почетным,—я боюсь совершенно потерять вас.

Но, может быть, вы разрешите мне в один из ближайших дней сопровождать вас к m-me Жоффрен? В атмосфере этого салона должны расцвести все скрытые качества вашей души, которые не могли вызвать наружу ни теп-

личная атмосфера, ни ледяной воздух вашего света. Моя старинная покровительница с удовольствием,—я уже писал вам однажды об этом,—примет вас, хотя она редко видит дам в своем салоне. Все огорчения, которые выпали на ее долю в течение ее долгой жизни, были, по ее словам, причинены ей завистью и ревностью именно женщин!

Принц Луи Роган—Дельфине.

Страсбург, 20 апреля 1776 г.

Ответ, по своей ясности, ничего не оставляющий желать, госпожа маркиза!

«Я не согласна быть ни марионеткой, которой вы управляете, ни служанкой, которой вы повелеваете!..»

Дорогая моя, зачем так выходить из себя? разве я желал когда-нибудь другого, кроме того, чтобы мы действовали с вами в полном согласии? Разве я не выражал вам благодарность за то, как разумно вы поступаете. И хотя вы резко подчеркиваете, что действуете только по собственной воле, разве же я не могу быть вдвойне благодарным вам за такую волю?

«Я не нуждаюсь в гофмейстере», пишете вы дальше. Но когда же я дерзал выдавать вам себя за него? Но друг ваш все же может быть вам полезен, очаровательная Дельфина, если даже вы думаете, что можете обходиться без священника.

«Ваших угроз я не боюсь!..» Угроз? — Роган угрожает женщине?! Если бы я не был уверен, что вы шутите, то готов был бы подумать, что у вас совесть нечиста! Вы ведь должны знать, что в наш век снисходительных нравов я все же настолько просвещенный человек, что, несмотря на свою религиозную строгость, не стал бы мешать удовольствиям очаровательной женщины, насколько это позволяет мне мое чувство зависти. Но я готов принести покаяние в моих воображаемых грехах. Да будет прощен вам граф Гибер! Вы ездите с ним верхом, как я слышал? Надеюсь, воспоминание о маршале Контаде не портит вам удовольствия?

Маркиз, вероятно, рассказал вам о Страсбурге. Здесь скучно до-смерти. Если бы сюда не достигали волны парижского возбуждения умов, то мы, пожалуй, забыли бы даже, что живем. Ах, эти парижские удовольствия, эти женщины, эти ночи. Можете вы себе представить, что мы вдесь спим... не только днем?!

Иоганн фон-Альтенау—Дельфине.

Париж, 10 мая 1776 г.

Дорогая маркиза! Еще звучали в моих ушах слова, которыми мы обменялись по дороге домой от м-те Жоффрен. Вы позволили мне заглянуть в вашу душу. Простите ли вы мне, что я до такой степени ложно понимал вас, что под маской, которую вы надеваете на себя, я не разглядел необычайной красоты вашей души? Я целый день был в отчаянии, что не нашел Дельфины. Разве могла Дельфина так поносить любовь? «Как может Юлия Леспинас так швырять свое сердце, как это делают другие женщины!» воскликнули вы. Но Дельфина, конечно, знала бы, что бросать сердце может только тот, кто его имеет—думал я, слыша эти слова.

И вот нежная рука пожилой женщины сняла эту маску, скрывающую ваше лицо. Почти грубым казался ее вопрос, как только вы сели около нее: «Чем вы занимаетесь?» Я поспешил к вам на помощь, чтобы вывести вас из замешательства, и рассказал о бедных парижских детях, которым вы помогли. М-те Жоффрен дружески погладила вашу руку. «Это хорошо, очень хорошо», сказала она с похвалой и своим новым вопросом: «Есть ли у вас ребенок, маркиза?»—заставила кровь прилить к вашим щекам.

Вы были глубоко потрясены тем, что видели кругом, а, ведь, в сущности вы видели только старую женщину в кругу серьезных мужчин. И вы внезапно почувствовали, что ваш мир имеет все, что блесит и сверкает: красоту, богатство, остроумие,—но только близорукие люди могут принимать этот блеск за огонь, так как ни один вябнувший не может там согреться. Пламя воодушевления, поверьте, горит и светит только на наших алтарях. Mlle

Лестинас—умирающая, м-ме Жоффрен—старая, обыкновенная женщина, м-ме Дюдефан—слепая старуха, м-ме д'Эпинз—тяжело больная, и, тем не менее, к ним стекаются все мужчины, свергнувшие с престола королей земли и неба, так что те, кто еще преклоняет колена перед этими королями, в действительности, молится только призракам.

Отчего это происходит?—спрашиваете вы. Оттого, что эти женщины разрушили у себя тиранию общества, власть происхождения, кухни и... брака! Оттого, что в этой борьбе женщина вернула свои человеческие права и могла сделаться другом, советницей и утешительницей мужчины.

Кондорсе развивал вам свои идеи относительно освобождения женщин от тяготеющего над ними тысячелетнего ига. В том чудовищном перевороте, который готовится, эта борьба сыграет выдающуюся роль. Но вы не должны смешивать с этим женский клуб m-lle Рокур, о котором вам рассказывали. К лесбийской ложе могут принадлежать только такие женщины, которые, пресытившись любовью, ищут новых возбуждающих средств, или те, которые страдают от неудовлетворенной любовной страсти. Они прикрывают свои желания громкими фразами о равенстве полов и воображают, что они доказывают свою свободу тем, что наряжаются в мужское платье и вместе с мужчинами заседают в кофейнях, проводят время в праздной болтовне о мировых проблемах.

Стремления Кондорсе не имеют никакого отношения к этим явлениям. Он добивается вовсе не свободы от нравственности, а нравственной свободы! Разве вы не чувствуете внутренней потребности принадлежать к нашему кругу?

Посылаю вам «Эмиля» Руссо—книгу, которую м-ме Жоффрен так настоятельно советовала вам прочесть. Однако, не слишком ли еще далеки от вас эти вопросы?

Иоганн фон-Альтенау—Дельфине.

Париж, 30 мая 1776 г.

Одновременно с вашим глубокосодержательным письмом я получил известие о смерти нашей дорогой Юлии.

Для нее это было избавлением, но мы все, с ее смертью, понесли невознаградимую потерю.

«Вы не поняли меня,—пишете вы.—Если меня так глубоко поразило молчаливое величие всех этих людей, то, может быть, именно потому это случилось, что я была только зрительницей. Я поняла, что я слишком ничтожна, чтобы становиться рядом с ними. Вопросы *in fine* Жоффрен жгли меня, как клеймо. Я не хочу к ней идти до тех пор, пока не буду в состоянии ответить ей и взглянуть ей в глаза без краски стыда на лице. Чудная книга Руссо была для меня откровением».

Мне представляется, что я уже начинаю вас понимать. Вы рассказывали мне о вашем сыне и жаловались, что никогда не испытывали чувства материнской любви. Тут ясно говорит природа. Чрезмерная чувствительность помешала вам бороться с этим. Вы должны были бы жить для своего собственного ребенка,—ребенка, который явился бы залогом вашей любви. О, почему вы не захотели подождать этой минуты!

Граф Гибер—Дельфине.

Париж, 31 июня 1776 г.

Вы обратились ко мне с теплыми словами участия, дорогая маркиза. Вы почувствовали, как должно разрываться мое сердце перед этой потерей. Я не мог быть для моей чудесной подруги тем, чем она хотела быть для меня. Ее бледный, страдальческий образ трогал мое сердце, ее ум восхищал меня, но моя чувственность молчала и для меня она оставалась только сестрой. Когда же я встретил вас, прекрасная волшебница, то все, что жило во мне, все мои чувства воспламенились, устремились к вам. У меня—несчастливого!—не хватило сил притворяться, скрывать это от бедной Юлии. Это моя вина, мой грех, который мне не может отпустить ни один духовник, если бы я даже верил в силу отпущения грехов! Но то, что и вы упрекаете себя и так жестоки, что принимаете мое поклонение, как идолы принимают жертвоприношения: холодно и неприступно,—это заставляет меня глубоко стра-

дать. Разве солнце должно стыдиться, что оно светит, и что бедные смертные ищут его лучей.

Я часто думал, что легче сумею добиться ласкового взгляда ваших глаз и легкого пожатия вашей руки, и не ожидал встретить с вашей стороны такую сдержанность и холодность. О, Дельфина, быть может, это вызвано только избытком вашей доброты, вашего сострадания к бедной Юлии. Я должен признаться, в чем заключается мой самый великий грех: даже у гроба несчастной Юлии сердце мое всетаки таит пламенную надежду. Найду ли я прощение за это?

Бомарше—Дельфине.

Париж, 12 июня 1776 г.

Уважаемая маркиза. Вам—которой я столь многим обязан — я хочу первой сообщить новость: предприятие наше обеспечено! Позавчера Вержен ассигновал мне сумму, которая, вместе с деньгами, собранными в вашем салоне, дает мне возможность снарядить первые корабли! Хотя это только скромное начало, но я чувствую уже уверенность в успешности этого дела, так как правительство, сделав первый шаг, вынуждено будет идти дальше, чтобы не компрометировать себя. Г. военный министр, конечно, благодаря рекомендации графа Гибера,—сочувствие которого могла воспламенить только женщина!—принял меня очень любезно. Поверите ли вы мне теперь, что Венера была богиней войны?

Мне приходится работать сразу за сто человек, но это не мешает моему сердцу всегда оставаться свободным для вас. В то время, как Родриг Горталес—вы, ведь, помните, что псевдоним этот существовал уже тогда, когда у нас еще не было ни одного су!—будет закупать оружие в Бордо и Марселе и нагружать корабли, Бомарше при Версальском дворе, двери которого открыли ему прекраснейшие ручки в мире, будет разыгрывать роль остроумца. Когда же Горталес проложит путь через океан молодым героям Франции, среди которых первыми будут Лафайет и принц Монбельяр, Бомарше будет помогать королеве разучивать роль Розины, и в то время как коронованные

особы будут шлясать под дудку Фигаро, он сам, как раб, закованный в цепи, будет служить королеве своего сердца.

Я вижу плутовскую усмешку на ваших устах, как тогда, когда вы заставили меня прочесть, черным по белому, что «г. Бомарше мот и грабитель и что он — *fi donc!* — содержит девушек».

Разве же кто-нибудь поступает так в этой добродетельной стране?! Не граф ли Артуа, герцог Бульонский, или граф Шартрский, или принц Роган — ваш приятель! — который за свои заслуги сделан страсбургским архиепископом и должен будет скоро заменить г. Мальзерб, чтобы французскую литературу приспособить к своим нравственным убеждениям. Клевета, одна только клевета, моя красавица! Бросьте Бомарше в Бастилию!

В наказание за ваше недоверие я расскажу вам те дурные вещи, которые мне известны про вас.

Вы были у m-me Жоффрен. «*Mais voilà ce qui est bon!*» При помощи этих шести слов, она управляет, как мне говорили, всеми философами. Я бы сообщил это волшебное изречение королю Франции, да боюсь, что оно не подействует. В улице Сент-Оноре крикунам тайно зажали бы рты, даже раньше словесного приказа молчать. В Версале не хватает для этой цели лишнего пирога. Как видите, барон Гольбах был прав, говоря, что на свете существует только материальное!

Вы были также и в церкви, но не для того, чтобы искать там Бога, которому нельзя было бы поставить в вину, если бы даже он бежал от гг. философов в самую темную часовенку! Вы слушали ваших самых современных священников, которые только с греческой точки зрения говорят о нравственности и добродетели, потому что слово «религия» сделало бы их чересчур смешными.

Поговаривают также, что вы, в кафе де-ля-Режаис, читали газету Ленгэ, — этого хамелеона, который на свете боится только одного: чтобы его не зачислили в какую-нибудь партию или секту. Поэтому он так быстро и меняет свою окраску, как только замечает, что кто-нибудь другой носит такой же цвет. Десять лет назад он тапаченно восклицал: «Рабочий не получает ничего из того из-

бытка, единственным источником которого является его работа, и от уничтожения рабства он ничего не выиграл, кроме свободы голодать!» А теперь он бранит философов и министров, так что его листок сделался лейб-органом дворянства. Мыслить и управлять во Франции может, по его мнению, только один единственный человек,—это он сам!

Я должен передохнуть. Моя речь была слишком длинна. Только ненависть могла принудить меня так напирать свои силы. М-г Ленгэ был, ведь, когда-то моим лучшим другом...

Моя передняя уже полна ожидающих. В самом деле, из-за прелестной маркизы я почти забываю об освобождении Америки!

Граф Гибер—Дельфине.

Париж, 26 июня 1776 г.

Вы не хотите принимать меня, дорогая маркиза? Оскорбило ли вас мое признание? Только одно слово или даже поклон, переданный через вашу горничную,—вот о чем молю я вас!

Бомарше—Дельфине.

Париж, 30 июня 1776 г.

Уважаемая маркиза. Ваш слуга отказал мне под предлогом вашей болезни, а между тем вчера я вас видел в коляске. Что это означает? Наша совместная работа ведь еще не кончилась? Мы нуждаемся как раз именно теперь во всей силе вашего влияния, прекрасная женщина!

Граф Гюи Шеврез—Дельфине.

Версаль, 6 июля 1776 г.

Тюрго пал, Мальзерб уходит, и за ними снова водятся веселье, легкомыслие, расцветает жизнь. Я сердился на вас, обожаемая Дельфина, потому что вооружение амазонки, которое вам понравилось носить, заковало в латы и ваше сердце. Но теперь я вижу: прелестная сподвиж-

ница мужчин в их борьбе, в сущности, была лишь тем порывом ветра, который помогает прогнать зиму.

Теперь Флора снова осыпает цветами наши сады из своего рога изобилия, и в дожде роз к нам возвращается Дельфина. Вы сбросили панцырь, и, наконец-то, я снова увидел, как дыхание слабо колышет прекраснейшую грудь. Вы отложили в сторону меч, и, наконец-то, беленькая ручка стала снова свободной для моих поцелуев.

Отчего вы колебались, когда королева попросила вас принять участие в новой оперетке нашего придворного поэта? Не оттого ли, что Лагарп—не Бомарше, а граф Шеврез—не граф Гибер? Я был бы безутешен, если бы вы не показали мне, что соперник еще не вполне завладел вашим сердцем.

«Весело было на купаньях в Барреже?—спросили вы меня.—Вы находились в веселом обществе, как я слышала?» При этом вы усмехнулись, и в тоне вашего голоса было что-то такое, что должно было пронзить как кинжал меня, бедного грешника! Вы даже попытались отнять у меня вашу руку, которую я, охваченный благодарностью за этот знак ревности, горячо прижал к своим губам.

Да, милая Дельфина, было очень весело, и m-lle Дютэ была восхитительной утешительницей моих страданий от вашей неверности.

Не думаете ли вы, что Гюи Шеврез может почтительно ожидать в передней, пока его повелительница соизволит оказать ему милость и снова примет его? Каждый проводит время по своему вкусу. Маркиза занимается философскими разговорами с графом Гибер и интригами с г. Бомарше, а граф прогуливается в горах со своей маленькой приятельницей и восхищается природой.

Должны ли мы только мучить друг друга взаимными упреками? Любовь, моя красавица, не имеет ни прошлого, ни будущего, а только настоящее! Она точно сверкающая разноцветными красками бабочка, которую мы видели вчера на олеандровых цветах. Кто думает о том, что она была недавно отвратительной гусеницей и кто же не знает, что ее надо приколоть, чтобы ее сохранить?..

Не прочтем ли мы завтра вместе наши роли, уважаемая маркиза? В вашем голубом будуаре, на ковре, усы-

панном цветами, который может изобразить луг, на котором мы танцуем, или же в нише, на диване с разбросанными по нему мягкими подушками и золотыми амурчиками, приподнимающими с улыбкой портьеру, который может служить беседкой, где мы, наконец, нашли друг друга?..

Маркиз Монжуа—Дельфине.

Фроберг, 8 июля 1776 г

Моя дорогая! Ваше быстрое решение вернуться во Фроберг служит для меня приятным доказательством вашего благоразумия. Я вижу из этого, что мы могли бы избежать тягостных пререканий по поводу поддержки вами военной партии. Это был, как я и предполагал раньше, каприз, который зашел немного далеко. Вы помогли ускорить падение министерства и приобрели этим не только право на мою признательность, но и на мое снисходительное отношение к вашим остальным шалостям.

К вашему прибытию все уже готово. Согласно вашему желанию, которое я исполняю охотно, я прикажу привезти нашего сына, чтобы встретить вас, хотя я и не могу понять таких изумительных проявлений сентиментальности.

Граф Гюи Шеврез—Дельфине.

Версаль, 12 июля 1776 г.

Странно! Мне вдруг кажется, что моя любовь—цветок, пустивший глубокие, крепкие корни. Если я не любил вас до сих пор, то должен был бы полюбить за те слова, которые вы сказали мне на прощание.

Никогда я не чувствовал замешательства, и ни мое перо, ни мой язык никогда не отказывались служить мне. Но сегодня я могу быть только отзвуком вашего голоса и поэтому отвечаю вам вашими же собственными словами:

«Я вижу повсюду, что даже самое сладостное счастье любви не оставляет после себя ничего, кроме ран! Я же хотела бы вспоминать о ней, как вспоминают зимой о солнечном дне. Я бы не желала, чтобы тщеславие, сострадание и почтение к верности, как добродетели, заменяли

чувство, которое уже исчезло. Поэтому мы не станем прикалывать бабочку, а предоставим ей упорхнуть в лазурную даль!..»

Не следите же за ней взорами, очаровательная Дельфина. У меня на глазах выступили слезы, оттого что я смотрел ей вслед. Ведь яркая небесная лазурь ослепляет глаза! Я бы хотел избавить вас от этой боли...



ДИТЯ.

Иоганн фон-Альтенау—Дельфине.

Париж, 30 сентября 1777 г.

Наконец-то! Вы подвергли меня настоящей пытке своим долгим молчанием, дорогая маркиза. Если уж ваш внезапный, похожий на бегство, отъезд был для ваших друзей неразрешимой загадкой, то еще большей загадкой было ваше полное молчание. Самые фантастические слухи распространялись по этому поводу: что вы бежали с любовником, что вы удалились в монастырь! В конце концов, ваше имя исчезло из скандальной хроники; бурные волны нашего лихорадочного времени быстро смыли его след из памяти. Только тот, кто не затеривается сам, не вычеркивается ими из списков.

Великую, горячую благодарность чувствую я за то, что вы подумали обо мне в своем горе. Вы дали мне этим самое драгоценное доказательство дружбы. Только за то, что вы целый год страдали молча, упрекал я вас, но не потому, чтоб я разделял вашу уверенность, что только я один могу помочь вам, а потому, что возможность высказаться всегда доставляет облегчение. Самое ценное приобретение нашей эпохи составляет то, что мы научились иметь собственные мысли и говорить на своем языке.

Вы пишете мне, что совершенно посвятили себя своему сыну, после того, как вам пришлось отвоевать его путем борьбы и интриг. С тою искренностью и честностью, которая составляет такую противоположность с сентиментальностью большинства женщин нашего времени, вспоминающих о своем материнстве, вы добавляете: «Меня побуждала к этому не любовь, но чувство священного

долга, выполнение которого даст моей жизни содержание и цель».

Я должен был раз десять прочесть эту фразу, прежде чем мог представить себе, что эти значительные слова произнесены розовыми устами маркизы Дельфины! Только когда я начал читать далее, я увидел перед собой вас, как живую. «Но эта задача не воодушевляет меня, а пригибает книзу», пишете вы. Храмом материнской любви должен был сделаться маленький замок, который возвышается в парке, на берегу озера. А *l'enfant* — гласит надпись золотыми буквами над дверями замка, которую вы велели сделать там, где еще недавно красовались слова: «*Mont de ma joie*». Вы приказали насадить красивейшие цветы и населили парк разными животными. «Пусть природа будет воспитательницей моего сына!» сказали вы. И вот, явился ребенок! Он топтал и рвал цветы, он бил кроткую лань и маленького котенка, он бросал камнями в голубей. А его уродливость заставила вас удалить из комнат все зеркала, чтоб он не видел вокруг своего изображения, повторенного десятки раз.

Что мне делать?—спрашиваете вы меня с отчаянием. Все средства повлиять на ребенка истощены. Его склонности остаются такими же грубыми, как та среда, из которой он почерпнул свои первые впечатления. Может быть, вы были слишком мягки с этим маленьким дикарем? Может быть, нужно одно только средство, чтоб эту необузданную силу направить на истинный путь? Может быть, тут не хватает серьезности и строгости мужского воспитания?

Вы ни одним словом не упоминаете о вашем супруге, и из этого я заключаю, что он лишь редко бывает во Фроберге. Притом же, я часто встречаю его в Париже, где даже потоваривают о возможности вступления его в министерство. Он, как видно, мало интересуется своим сыном!

Поймете ли вы меня, как следует, если я прошу у вас дозволения приехать к вам? Только как гость и как друг, который ничего так не желает, как помочь вам, но который не в состоянии помочь советом, пока не составит себе, на основании личных наблюдений, ясную картину положения вещей.

С сильно бьющимся сердцем я жду вашего ответа. Если вы скажете: да! то впервые, за много месяцев, солнечный луч рассеет мрачный туман, окутывающий мою жизнь.

Со смертью Леспинас и Жоффрен я, как и многие другие, как будто лишился родины. Ничто и никто не мог возместить эту потерю. За недостатком такого духовного центра, около которого могли бы собираться первые умы Франции, связь между ними все более и более ослабевает. Ведь приходится же нам быть свидетелями того, что заново вспыхнувший ожесточенный спор между приверженцами Глюка и Пиччини разделил и энциклопедистов на два враждебных лагеря!

Больше чем когда-нибудь мужчины посещают кофейни и клубы. Дамы же устраивают чайные собрания, где и проводят время. Я замечаю ослабление смягчающего и возбуждающего влияния женщин на жизненные привычки мужчин, что выражается уже теперь в огрубении нравов. Когда же мужчины и женщины сходятся вместе, во время разных празднеств, то, вследствие отсутствия между ними совместной духовной жизни, неизбежно воцаряется атмосфера тяжелой и грубой чувственности...

Вы видите, что для меня было бы настоящим избавлением, еслиб я мог оставить стены Парижа за собой. Но вы должны также знать, дорогая маркиза, что счастье быть с вами я предпочел бы всем, самым величайшим удовольствиям этого города!

Маркиз Монжуа—Дельфине.

Париж, 3 октября 1777 г.

Моя дорогая, известие, что император австрийский еще в этом месяце посетит Страсбург, вынуждает меня немедленно ехать туда, не заезжая во Фроберг. Страсбург лежит по дороге в Париж и поэтому чрезвычайно важно встретить там монарха, до его свидания с августейшей сестрой, королевой Франции, и постараться как-нибудь повлиять на него. Он путешествует, как современный Гарун-аль-Рашид, в качестве простого дворянина, но тем не менее эльзасское дворянство устроит ему царский прием. По этому случаю мне приходится настаивать, чтобы моя

супруга принимала гостей в нашем доме, при чем я не могу кстаті не высказать, что мне, наконец, надоело, после стольких месяцев молчаливого потворства, видеть, как моя жена разыгрывает роль няньки. Наймите кого угодно и столько человек, сколько найдете нужным, но только оградите наш дом от безумных и ниспровергающих все добрые традиции идей парижских философов! Они ведут наше отечество к гибели и, по крайней мере, я хотел бы спасти свою семью от их вредного влияния.

Как мало заслуживает Руссо, на которого вы ссылаетесь, доверия, возлагаемого вами на его воспитательные принципы, я узнал только теперь. Не говоря уже о том, что он своею неблагодарностью оттолкнул от себя всех своих покровителей, он еще нашел нужным—после того, как все почти позабыли о нем—написать свои мемуары, которые превосходят своею нескромностью, отсутствием такта и бесстыдством всякое описание. Он читает их в настоящее время в парижских салонах и уже достиг того, что и было, очевидно, его единственною целью: снова заставить о себе заговорить. Самые интимные переживания, которые обыкновенно скрываются людьми хорошего круга даже от своих ближайших друзей, так же как и свои телесные недостатки и пороки, он описывает с такою же беззастенчивостью, с какою свиньи валяются в грязи. Но даже в придворных крутах находятся люди, которые с восторгом преклоняют колени перед этими признаниями, как перед «истиной и естественностью». Маркиза Жирарден зашла даже так далеко, что предложила автору, как убежище, свой замок в Эрменонвилле.

Кроме этого, замечаются и другие признаки общественного распада. Если раньше только втихомолку осмеливались оправдывать поведение маркиза Лафайета и его друзей, к которым, к сожалению, принадлежит и принц Монбельяр,—хотя влиятельные круги общества единодушно осуждали французских офицеров и аристократов, предоставивших свою шпагу к услугам инсургентов и, следовательно, выступавших против королевской власти,—то теперь, уже не стесняясь, публично высказываются за них и начинают восторгаться делом, которому они слу-

жат. В некоторых газетах открыто проповедуется война с Англией, и мы можем почитать себя счастливыми, что, по крайней мере, Неккер, в виду финансового положения страны, не склонен разделять такие сумасбродные планы. Сражаться с Англией—значит поддерживать Американскую республику и признавать, таким образом, республиканские идеи и у нас. Я недавно имел серьезный разговор с г. Вержен, и хотя министр принципиально соглашался со мной, но практически он, повидимому, связал себя неосторожной тайной поддержкой, которую он оказывал американским предприятиям г. Бомарше.

Мы, следовательно, опираемся теперь пока только на Неккера. Но, к сожалению, этот буржуа, женеvский банкир, которому поручено привести в порядок французские финансы, домогается министерского поста и вместе с этим положения при дворе. Король же, по своей непонятной уступчивости современным нивелирующим течениям, оказывает ему самое полное доверие.

Но хотя мы и смотрим на этого господина как на необходимое зло, мы все же не можем допустить его в свой интимный круг, как не можем допустить нашего дворецкого, которому мы доверяем свой винный погреб.

Если мы до сих пор могли рассчитывать на королеву,—я думаю даже, что ваше влияние, моя дорогая, тут было бы очень ценным, так как падение Тюрго, более умного и поэтому более опасного министра, чем Неккер, приписывается тому, что королева временно заинтересовалась политикой,—то теперь, когда графиня Полиньяк и принцесса Ламбаль поддерживают только сентиментальность королевы и ее склонность к роскоши, да еще к тому же тщетное ожидание наследника престола вызывает отчуждение короля,—мы уже совершенно не можем позлагать своих надежд на королеву. Она играет в комедиях, танцует, дает аудиенции портнихам, художникам и поэтам—это, впрочем, самая невинная сторона ее жизни,—но она позволяет не только принцу Артуа, но и придворным кавалерам ухаживать за собой, как будто она не королева.

В виду всего этого, вы поймете, конечно, что визит австрийского императора имеет очень важное значение.

Я жду, что к концу этого месяца, вы уже сделаете все нужные распоряжения для нашего пребывания в Страсбурге.

Кардинал-принц Роган—Дельфине.

Страсбург, 18 октября 1777 г.

Итак, только глава монарха, увенчанная короной, могла заставить нашу прекрасную маркизу вернуться из своего добровольного изгнания. Я был в восторге, когда, проезжая вчера по площади Сен-Пьер-ле-Жен, увидел открытыми ворота вашего отеля. Я спешу, при помощи этих цветов и конфет, постучаться в двери вашего сердца, которые, я надеюсь, не всегда же будут закрыты для меня. Вы достаточно уже искупили ваши очаровательные грехи, и я даю вам полное отпущение, маркиза.

Его величество император окажет мне честь завтра, после парада, своим посещением и будет у меня завтракать. Маркиз уже обещал быть у меня, могу я рассчитывать и на ваше согласие? Без вас никакой праздник не может быть праздником, хотя бы все монархи мира согласились на нем присутствовать.

Я отдаю в ваше распоряжение мою маленькую ложу на «Севильского цирюльника». Постановкой этой вещи мы хотим доказать коронованному пуританину, как мало нас задевает такая сатира! Бомарше, пребывание которого в Страсбурге наводит меня на мысль, что в воздухе пахнет интригой, может беспрепятственно явиться в ложу и приветствовать вас, так как ваш супруг только что заявил мне, что он не склонен принимать его в своем доме. Вы видите, моя красавица, как я стараюсь исполнить даже ваши невысказанные желания! Могу ли я, наконец, надеяться получить поцелуй, который вы мне остались должны еще со времен Шантильи.

Бомарше—Дельфине.

Страсбург, 25 октября 1777 г.

Высокоуважаемая госпожа маркиза. Вы не хотели поверить мне, что возможность увидеть вас в Страсбурге

имела гораздо большую притягательную силу для меня, нежели возможность встречи с сыном Марии Терезии! Мы, смотрящие на политику как на искусство, нуждаемся гораздо больше в женщинах, нежели в коронованных коммивояжерах, которые занимаются политикой, как торговым делом.

Правда, вы с величайшей любезностью поздоровались со мной перед всем театром, в открытой ложе, без всякого скромного прикрытия. Но я слишком хороший знаток всех оттенков женской улыбки, чтобы не почувствовать тотчас же, что она не столько относилась к поцелую, с которым я припал к вашей руке, сколько к нахмуренному лбу г. маркиза и к саркастической усмешке г. кардинала. Поэтому я и не знаю, должен ли я считать очаровательную маркизу Монжуа моей союзницей или нет?

Женщины точно дети: они каждую свою игру играют с полным увлечением, но без малейшего постоянства. Если бы не было на свете королей, никто не мог бы поспорить с ними в непостоянстве.

В данном случае, однако, я почти готов оправдывать вас. Не потому, что вы теперь изображаете мать и этим делаете больше, чем Руссо, который, как все проповедники, ограничивает свое учение только проповедями, а вследствие того, что и я сам достаточно часто желал бы порвать союз с самим собой.

Вы знаете, камень свалился с души наших философов со времени объявления независимости Соединенных Штатов, потому что они видят осуществление своих идей, без необходимости самим участвовать в этом. Все преисполнены гордостью, что молодое правительство предложило аббату Мабли разработать проект конституции на основании своих принципов законодательства, и все увлекаются коммунистической демократией в Америке. Я, первый, повлекший Францию в дело Америки, казалось, должен был бы увлекаться вместе со всеми, но с тех пор, как г. Франклин является представителем равенства и свободы, у меня является желание стать на сторону деспотии.

Планирование начинает ослабевать и у французских борцов по ту сторону океана,—о которых вы

осведомлялись с таким интересом, уважаемая госпожа маркиза,—и тем больше она падает, чем больше они замечают, что богиня свободы является для честных фермеров и мелких лавочников обыкновенной рыночной торговкой, желающей продать свои товары как можно дороже. Известия же о военных успехах в данный момент не особенно утешительны.

Я хотел, посредством политики, достойной Александра, реформировать мир, но теперь я вижу, что наши реформы нам вредят даже больше нежели наши пороки. Поэтому, ради отдохновения, я меняю свой меч,—оказавшийся недостаточным, чтобы заменить навозные вилы в гигантском хлеве, именуемом Францией,—на перо, которое, по крайней мере, достаточно остро, чтоб пронзить отдельные комки грязи.

Добрым страсбургцам, конечно, было бы приятнее, еслиб андалузский цырюльник из Севильи осмеливал бы испанские обычаи, вместо того, чтобы критиковать французские условия. Для их успокоения я их заверил, что я бы, разумеется, написал свою пьесу по-испански, если бы Вольтер написал свои английские письма по-английски, а Монтескье свои персидские письма по-персидски. То, что вы поздравили меня с одобрением императора, указывает только, как давно,—о, целую вечность в полтора года!—вы покинули Париж и как далеки вы от него. Ничто так не компрометирует в настоящее время, как аплодисменты государей, и я бы наверное начал сомневаться в своем таланте, если бы не нашел вчера сходства между австрийским монархом в его зеленом мундире и г. Венямином Франклином в его буро-коричневом квакерском сюртуке. Обоим так понравилась моя пьеса именно потому, что их собственная добродетель особенно ярко выдается на ее темном фоне.

Поэтому мне и оказана честь аудиенции у императора. Носиф II, «просвещенный монарх», умеющий ценить поэтов и мыслителей! Я отлично понимаю! До сих пор в мировой кухмистерской все кушанья готовят только для того, чтобы щекотать небо высокопоставленных особ, и теперь мысли и стихи не представляют для них ничего.

инного, кроме возбуждающего средства для их расслабленных умственных желудков.

Расскажите г. маркизу об этой чести, выпавшей на мою долю: он после этого не будет больше сомневаться, что я—не более как публичный шутник. И он не станет больше хмурить лоб, когда губы авантюриста будут прикасаться к прекрасной ручке его супруги. Если же вам нужна искра, чтобы взорвать пороховой погреб супружеского гнева,—что я подозреваю! — то я с радостью готов сыграть и эту роль. Вы, впрочем, давно уже должны сознавать опасность, заключающуюся в том, что в вашем присутствии каждая искра может превратиться в пламя!

Бомарше—Дельфине.

Страсбург, 30 октября 1777 г.

Дорогая маркиза, какая ночь пережита мной! Известия из Парижа пробудили во мне все мечты моей юности. Герои в серебряных доспехах прогнали мечом всех злых духов моей старости.

Саратога пала, англичане истреблены, Америка свободна! Это начало новой эпохи мировой истории! Будь я в Париже, я бы даже заключил в свои объятия Веньямина Франклина.

Мы должны хорошенько запомнить часы, которые переживаем, для того, чтобы они освещали нашу жизнь тогда, когда все другие воспоминания будут только омрачать ее.

Вы не забыли, как я, после обеда, сидя с вами, в роскошной библиотеке принца Рогана, где больше диванов и мягких кресел, нежели книг, изображал вам провинциальную комедию, которую Страсбург заставил вынырнуть с оскаленными зубами из недр моей чернилницы. Я даже обрисовал вам ее главных героев: кардинала Рогана, главу всех верующих, который в красной шелковой сутане, покрытой волнами кружев, ценностью превышающих доходы всей его епархии, и с такими бриллиантами на белых руках, какие не найдутся и во французской короне, служит утреннюю мессу перед чашей, украшенной рубинами и смарагдами, и бросает свое: «Изыди, сатана!» в лицо всем просветителям; затем—на

принца Рогана, руководителя развлечениями лучшего общества, который в расшитом золотом кафтане и размазанном жилете, каждая пуговица которого состоит из драгоценной жемчужины, вечером, за роскошно убраным столом сострадательно утоляет голод и жажду маленьких танцовщиц и, ликуя, провозглашает «Эвое!» наперекор всем пуританам мира!

Я и теперь слышу ваш звонкий смех, — я думал, что вы уже разучились смеяться! — когда я объяснял вам, что обоим этих персонажей должен играть один и тот же актер. Я вижу усмешку на ваших устах, — был ли то знак подавленной радости или возмущения? — когда я признался вам, что мое знакомство с этим кардиналом и принцем помогло мне разрешить загадку, почему богословы снова так стараются поднять спор о божественности Христа. Какое было торжество для всех этих князей, если бы пошатнулся, наконец, авторитет Того, Кто проповедывал нищету!

Как раз в тот момент, когда я сделал это кощунственное замечание, мы услышали стук дверей, грохот отодвигаемых стульев, громкий гул голосов. Сгорая любопытством, мы вернулись в большой зал. О, это была для физиономиста незабвенная минута. Все глубокие душевные движения отразились на лицах присутствующих; гнев и радость, разочарование и удовлетворение, ненависть и любовь!..

«Город Саратога сдался!»

Молодые офицеры зазвенели шпорами. Свита императора австрийского, крепко стиснув бледные губы, старалась скрыть свою ярость и нарочно подчеркивала своим безмолвием свои монархические чувства, между тем как французские аристократы, с трудом подавляя радость, окружили меня и многозначительно пожимали мне руку.

Граф Фалькенштейн — как называет себя император австрийский, чтобы сделать свое человеческое существование немного веселее — вступил в серьезный разговор с кардиналом Роган и маркизом Монжуа.

«Они составляют заговор против свободы», сказал я. В этот момент я почувствовал прикосновение вашей руки к моей руке. Я видел разгоревшееся личико, глаза,

увлажненные слезами, и слышал нежный голос, который шептал: «Я все еще ваша союзница!..»

Захотела ли фортуна в эту ночь высыпать на меня все дары из своего рога изобилия?! Я поднес вашу ручку к своим губам и осмелился на несколько секунд прижать мои губы к белой, нежной и благоуханной коже, потом взглянул на вас, весь дрожа, точно в лихорадке, и встретился с вашим взглядом...

О, госпожа маркиза! я в самом деле позабыл, что я— Фигаро, только Фигаро!

По крайней мере, теперь я постараюсь показать себя достойным этой роли.

События требуют моего быстрого отъезда в Париж. Это письмо, написанное ночью, представляет мое письменное прощание с вами.

К сожалению, мне приходится думать, что вы одобрите мою поспешность: Фигаро должен собрать сведения о вашем «друге юности», принце Монбельяре. Он сделает это, еслибы даже ему пришлось для этого переехать океан! Но вы должны извинить ему улыбку, с которой он слушал, как вы, с серьезным личиком, говорили о своем «друге». Ведь Фигаро слишком большой знаток людей! Верите ли вы, в самом деле, в дружбу мужчины и женщины? Она служит либо покровом из золы для угасающего пламени, либо предвестием разгорающегося огня. Но, несмотря ни на что, Фигаро сдержит свое слово!

Маркиз Монжуа—Дельфине.

Париж, 5 ноября 1777 г.

Моя дорогая! Вы, вероятно, уже убедились, как я был прав, не относясь так трагически к заболеванию нашего сына и стараясь задержать ваш отъезд из Страсбурга. Припадок, вероятно, прошел бы и без вашего присутствия. Доктор Троишен, конечно, уже успокоил вас насчет здоровья ребенка.

Не думайте, однако, чтобы я имел какие-нибудь сомнения насчет истинной причины вашего отъезда и вашего желания сопровождать меня. Вряд ли вы можете заставить меня поверить в вашу чрезмерную материнскую лю-

бовы, после того, как вы, в течение полутора года, несколько не заботились о ребенке, и после того я не раз замечал выразительные взгляды, которые вы бросали на него и в которых я читал скорее ужас, нежели материнскую нежность. Скорее всего вы просто отыскиваете предлог, чтобы только быть подальше от меня! Ваши рассуждения по поводу разногласий, существующих между нашими взглядами и препятствующих всякому сближению, являются точно таким же предлогом.

Брак — не министерство. Иначе он должен был бы подвергаться частым переменам. Но это и не любовный союз, так как тогда он был бы очень непрочен. Это — союз, имеющий целью поддержание взаимных семейных интересов. И с этой точки зрения я имею право требовать от вас поддержки моих стараний, направленных к возвышению могущества и престижа моей семьи и к ее обогащению. Само собою разумеется, что прежде всего сюда относится обеспечение продолжения рода. Наш сын, к сожалению, — вы видите, что я так же мало ослеплен, как и вы! — не может считаться удачным отпрыском нашего дома. Очень возможно, что он даже не проживет долго. Я же, как последний представитель нашего рода, несу на себе обязанность позаботиться о его продолжении. Только потому я и избрал своей женой молодую, цветущую девушку, несколько не заботясь о том, что она не может считаться хорошей партией.

Я думаю, что вы понимаете меня, моя дорогая, и постараетесь сообразовать с этим свое поведение, когда я вернусь.

Мое пребывание здесь, к сожалению, не оправдало моих надежд. Правда, наши советы не остались без влияния на австрийского императора. Его необыкновенная простота явно заставляет двор стыдиться. И народ мало восторгался его простой солдатской формой.

Какая-то рыбная торговка, должно быть, возлюбленная какого-нибудь философа, простерла свою наглость до того, что поднесла ему букет со словами: «Как должен быть счастлив народ, которому приходится платить за ваши галунны!»

Но в общем, я все же нахожу, что мой взгляд подтвер-

дился, и что монарх, желающий сохранить лояльность своих подданных, должен держаться так же далеко от народной массы, как Бог от верующих, которые тотчас же перестанут Ему молиться, если Он станет рядом с ними. Император австрийский гулял без свиты, посещал философов, заставил Вокансона об'яснять ему свою новую прядильную машину, а Бюффона — геологические периоды, смотрел в разных физических кабинетах на электрические опыты и, повидимому, придавал всем этим вещам гораздо больше значения, чем вопросам политики. И через три дня уже перестал быть императором для Парижа.

Употребил ли он свое влияние на своих августейших родственников в духе мира — еще неизвестно. Королю нужен очень энергичный советчик, чтобы он мог противодействовать всеобщему настроению. Но все старания мои и моих друзей могут оказаться бесплодными, если мы даже не в состоянии оградить свои собственные дома от таких людей, как Бомарше!

Иоганн фон-Альтенау—Дельфине.

Париж, 5 ноября 1777 г.

Дорогая маркиза! Я уже готов был заключить из вашего молчания, что я каким-то образом оскорбил вас. И вот, на мою долю выпадает великое, несказанное счастье, недостаток которого всегда делает столь ужасным заброшенность одинокого человека, — я могу быть нужен!

Как только я устрою здесь самые неотложные дела, немедленно отправляюсь кратчайшим путем во Фроберг. Моя радость перевозила бы мое сострадание, если бы не вы были его предметом. Бедная Дельфина! Только вы успели немного отрешиться в Страсбурге от тяготеющей над вами судьбы, как она снова подчинила вас своей власти посредством ужасного припадка судорог, которому подвергся ребенок. И теперь вас мучает не только страх, но вы терзаете себя упреками своей чересчур чувствительной совести.

Разве это ваша вина, что вы, как сказал доктор Трон-

шен, слишком рано сделались матерью? Разве это не вина общества, допускающего установиться такому обычаю, который требует, чтобы дочери знатных семейств были как можно раньше... проданы! Разве это ваша вина, что вы не могли подождать, чтобы ваше сердце и ваши чувства сами избрали отца вашего ребенка? Разве это не составляет неискупаемого греха нашего, до мозга костей испорченного общества, что оно унизило брак до степени деловой сделки и, таким образом, превратило любовь в тяжелое бремя? Действительно ли вы виноваты в том, что нежное дитя было поручено грубым попечениям крестьянки? Ни один садовник не оказался бы таким неучем в своей профессии и не стал бы пересаживать бледную тепличную розу в вогезский огород! Но наше общество хвастается, что оно лучше воспитывает своих членов тогда, когда они находятся всего дальше от законов природы.

Я бы хотел вылечить вашу душу, госпожа маркиза, для того, чтобы вы не обращали против себя острие кинжала своей совести и не убивали бы себя, а обратили бы этот стальной клинок против великих преступников, нарушающих законы природы, — против государства и общества. Недалеко то время, когда все его невинные жертвы восстанут против него. Падение Саратоги уже подействовало на парижан, как знамение бури. Я видел в садах Пале-Рояля бедных ремесленников и мелких чиновников, которые еще недавно не разрешали себе даже мыслить и которые теперь сбегались туда разгоряченные, оживленно жестикулируя, когда распространилось известие о победе борцов за свободу. Один из мелких ремесленников, побледневший от комнатного воздуха, портной, вскочил на стул и крикнул таким голосом, который, казалось, должен был разорвать его узкую грудь: «Теперь за нами Европа!» Через час его возглас превратился в припев песни, которую уже распевают дети во всех дворах Парижа.

Вы пишете об уединенной зиме во Фроберге, как будто оправдываетесь передо мной. Наши мечты, полные надежд, должны будут наполнить ее!

Бомарше—Дельфине.

Париж, 16. апреля 1778 г.

Дорогая госпожа маркиза! Со времени моего отъезда из Страсбурга прошло почти полгода.

Украшенный цветами прекраснейшей из женщин, я, как второй Баяр, доверил себя волнам и направил свой корабль, не взирая на свирепые бури и грозные скалы, к той далекой цели, которую я себе поставил. Яростный ураган выбросил меня на негостеприимный берег. Мой меч проложил мне дорогу сквозь темную чащу первобытных лесов, поражая на смерть страшных чудовищ и защищая мою жизнь от нападения краснокожих. Он привел меня, наконец, увенчанного победой, в город белых мраморных дворцов и золотых колонн. Перед храмом свободы, сверкающим как солнце и густо окруженным кустами роз,—которые там высоки и крепки, как наши дубы,—я нашел героев Франции, отдохнувших от своих подвигов, на пурпурных подушках, а прелестнейшие дочери страны вытирали нить с их сапог и, улыбаясь, предлагали им чудный цветок своей молодости...

Вы качаете головкой, госпожа маркиза, вы не верите мне? Вы утверждаете, что Бомарше не покидал Франции? Разве вы знаете с точностью, где находился Фигаро в этот промежуток времени? С клятвой, столь же священной, как и обет целомудрия священников и клятва в верности супругов, я утверждаю, что Фигаро преклонился перед храмом свободы и приветствовал храброго воина—prinца Монбельяра.

Вы все еще не верите мне, госпожа маркиза?! Беда, если наш испорченный век уничтожил и у вас веру в несокрушимую святость клятвы!

Скажу кратко: принц здоров, он сражался как француз, ему поклоняются как Аполлону и он скромнее как Иосиф.

Не правда ли, вы с раздражением перелистываете мое письмо. «Разве я позволила ему писать мне больше?» говорите вы. И все же вы должны меня выслушать, потому что через меня вы соприкасаетесь в эту минуту не

только с Парижем, но и с целым миром, после того, как Жан-Жак удалил вас из Парижа и заставил чуждаться мира.

Вольтер в Париже! Парижский парламент сжег его книги, французское правительство отправило его в изгнание, но его идеи поднялись, освещая мир, из костра сожженной бумаги, и каждый год его изгнания прокладывал ему огнем и мечом дорогу во Францию.

Появление какого-нибудь пророка или апостола не вызвало бы в Париже большого воодушевления, чем появление Вольтера. Все другие интересы отступили на задний план: слухи о войне, придворные интриги, даже великий спор между пиччинистами и глюкистами,—все это потеряло значение. Парламент умолк, Сорбонна затрепетала, а энциклопедисты, которые обыкновенно выступали как великаны, казались теперь какими-то карликами. И король, пожелавший вспомнить о том, что приказ об изгнании Вольтера еще не отменен, почувствовал внезапно, что существуют силы, превосходящие могущество французских королей.

По прибытии Вольтера, весь Париж устремился к нему, чтобы чествовать его, и он отвечал каждому с тем остроумием, изяществом и вежливостью, которые он сохранил от прошлых времен и перенес в нашу грубую эпоху.

Затем настал день, который явился венцом его жизни. В полдень его приняла академия. Все члены академии, за исключением епископов, которые прислали извинения, вышли к нему навстречу к самым воротам,—честь, которая еще не была оказана до сих пор никому, даже королю! Он вышел из коляски: маленький и худой, в седом парике, как сорок лет назад, обрамляющем его бледный лоб, в красном, опушенном мехом, кафтане на худом изможденном теле и широких, кружевных манжетах, спускающихся на его костлявые, желтые руки с длинными пальцами, напоминающими когти его ума, которыми он, подобно кровожадному зверю, впивался и разрывал на части низменных и лицемерных ханжей. И вот «бессмертные» преклонились перед ним, когда он взглянул на них своим молниеносным взором!

Но чествования академии были только прелюдией того, что его ожидало в Национальном театре. Его путь от старинного Лувра к Тюльерийскому дворцу был настоящим шествием триумфатора. Тысячи людей стояли по сторонам улицы, забывая о рангах. Красные каблуки кавалеров соприкасались с деревянными башмаками ремесленников, шелковые полонезы дам—с синими передниками служанок. В театре его встретили бешеными овациями. Все поднялись, когда он вошел. Пламя свечей дрожало от всеобщего движения, шорох платьев напоминал шум отдаленного прибоя, и когда очаровательная красавица увенчала лавровым венком седую голову великого человека, и все цветы, украшавшие волосы и грудь женщин, полетели к его ногам, то, казалось, наступила минута, когда перед богиней разума были повергнуты во прах, закованные в цепи, гиганты: нетерпимость и фанатизм!

Была уже темная ночь, когда двери театра закрылись за чувствуемым философом. Но едва он появился на ступенях лестницы, как уже кругом него запылали факелы, при свете которых двигалась необозримая толпа. До той минуты его лицо оставалось неподвижным, но тут я увидел, что он побледнел, глаза его расширились и восковые руки, тяжело облакачивавшиеся на плечи его спутников, зашевелились и протянулись вперед...

Священнослужитель будущей религии благословлял толпу! Ее торжественное молчание указывало, что она поняла его. Но в тот момент, когда он, снова превратившись в усталого старца, начал медленно сходить с лестницы, опираясь на друзей, раздался снизу чей-то голос, в котором как будто слились голоса всех, точно в огромном церковном хоре, распевавшем псалмы.

*"Je suis fils de Brutus et je porte dans mon coeur
La liberté gravée et les rois en horreur" (1).*

И при звуках своего собственного стиха, точно отраженных бесконечное число раз от человеческих стен по

¹⁾ Я сын Брута: в моем сердце запечатлена свобода и отвращение к королям.

обѣмъ сторонамъ улицъ и раздававшихся какъ нескончаемое эхо. Вольтер продолжалъ свой путь до городу. Только уважение ко сну утомленнаго старика заставило толпу умолкнуть передъ его домомъ.

Нашъ опасный конкурентъ—мировая история, со своими великими трагедіями и великолепными комедіями, то и дело выставляетъ насъ, драматурговъ, жалкими кропотелями. Къ этому мы уже привыкли. Но что она также опережаетъ насъ и въ представленіи трогательнѣйшихъ пантомимъ—это, въ самомъ дѣлѣ, для насъ постыдно! Кошен, секретарь академіи художествъ, продолжающій утверждать, что будущее сцены принадлежитъ пантомимѣ, долженъ бы чувствовать себя теперь настоящимъ триумфаторомъ рядомъ съ Вольтеромъ.

Только въ томъ, что касается морали, мировая история могла бы поучиться у насъ, сочинителей комедій. Мы отпускаемъ свою публику въ моментъ высшаго напряженія чувствъ. Въ своемъ носовомъ платкѣ она уноситъ домой свое умиленіе, свое душевное сокрушеніе и свой восторгъ, когда пьеса окончится.

Но мировая история!.. Впрочемъ, послушайте сами.

Вольтеръ почувствовалъ себя больнымъ—оттого ли, что чрезмѣрные почести подействовали на него, какъ чрезмѣрное количество шампанскаго, или оттого, что этого шампанскаго было недостаточно, такъ какъ не хватало бутылки изъ королевскаго погреба? Послали за врачомъ, но Вольтеръ потребовалъ... священника! Аббат Готье прибежалъ съ величайшей поспѣшностью—дѣло шло, вѣдь, о жирномъ кускѣ для церкви! Въ спальнѣ, болѣе похожей на храмъ сладострастія, нежели на святилище музъ (другъ Вольтера и его гостепріимный хозяинъ г. Виллетъ признаетъ только ту любовь, которую наша христіанская мораль прокликаетъ, но наше античное образованіе усердно культивируетъ), аббатъ выслушалъ исповѣдь еретика. Умирающій Вольтеръ тотчасъ же после этого, его послѣдними словами были бы не те, которые мы вложили бы ему въ уста, для вящаго эффекта, на сценѣ: *Ecrasez l'infâme!* а смиренное признаніе: «Я умираю въ лонѣ святой католической церкви...»

Но то, что король все же не принялъ его после этого

покаяния, когда он опять выздоровел, очень огорчило г. Вольтера!

Однако, в нашей великой пантомиме было, разумеется, много участников. Алтарь помешал патриарху сыграть до конца роль героя, а меч был для него слишком тяжел. Те же, кто его чествовал, подхватили этот меч.

Мне кажется порой, что сохранять веру в людей, пожалуй, еще более нелепо, чем верить в Бога и святых. Несмотря на все доказательства атеистов и тысяча девяносто девять параграфов барона Гольбаха, можно привести гораздо более убедительные доказательства против веры в людей, нежели против веры в Бога.

Через два дня после триумфа Вольтера любопытство заставило меня пойти к некоему г. Месмеру, который пользовался таинственной репутацией, как исцелитель всех телесных недугов. Я увидел вокруг стола множество людей, тесно сидящих друг около друга. Каждый из них, с выражением величайшего благоговения, прижимал к какой-нибудь части своего тела, даже самой сокровенной, конец стальной трубки, выступающей из стола. При этом один человек, одетый в черное, играл на гармонии, а другой прогуливался взад и вперед торжественными шагами и на секунду прижимал концы своих пальцев к голове сидящих. Среди этих последних находились люди с громкими именами: герцогиня Гранвилль, граф Артуа и даже один из ваших «друзей» — граф Шеврез! Некоторые из них только два дня тому назад прижимали к губам руку Вольтера. А сегодня они верят в магнетическое колдовство г. Месмера и чрезвычайно были бы рады поручить ему самую неизлечимую из всех болезней... госпожу Францию, лишь бы избавиться, наконец, от г. Неккера!

Не находите ли вы, прелестная женщина, что действительность является жалким драматическим произведением? Где же вы найдете в ней единство действия, нарастание конфликта и возвышающую развязку?

Если бы я не знал, что вы живете в пустыне — разве за пределами Парижа существует что-нибудь иное? — то я бы извинился за содержание этого письма, которое, по-

жалуй, более пригодно для типографских наборщиков «Mercure de France», нежели для белых ручек прелестной маркизы.

Граф Гюи Шеврез—Дельфине.

Париж, 19 июля 1778 г.

Письмо с того света, дорогая маркиза, удивило бы меня меньше, чем ваше письмо! Вы исчезли, положим, вы скрылись на остров блаженства в обществе одного немецкого философа, но разве нужны другие более ясные доказательства, что вы желали считаться умершей для нас?

Вы спрашиваете меня о новейшем увлечении Парижа, г. Месмере, у которого меня видел ваш тайный корреспондент. Конечно, он сказал вам правду. Я не пропускаю никакой сенсационной новинки, будь то права человека или магнетизм! Ведь так приятно, что можно сослаться на свободу, когда ничего другого не хочешь делать, как только то, что нравится; что можно сослаться на равенство, когда желаешь соблазнить молоденькую девушку из предместья! Так как я, как вам известно, страдаю сердцем вот уже два года, то я и пошел к Месмеру. Он не вылечил меня,—должно быть, его магнетизму противодействует другой, более сильный,—но вообще он излечивает все, даже хроническое тупоумие. Вследствие этого мы все, в Версале, стали удивительно остроумны. Хотите серьезных доказательств его волшебного искусства? Спросите графиню Полиньяк, больше не страдающую истерикой, г. Шансена, потерявшего свой злой язык, принцессу Геменэ, получившую роскошную грудь, и герцога Орлеанского, у которого снова выросли на голове волосы! Самое лучшее было бы, если бы вы сами приехали сюда. Месмер исцелил бы вашего сына от его болезни, а Париж исцелил бы вас от философии.

Со времени декларации нашего открытого союза с Америкой мы уже пресытились речами и жаждем действий. Герцогу Шартрскому, понюхавшему пороха в битве при Кессане, была сделана в опере овация, точно второму Тюренну. Венчать лаврами военных героев пред-

ставляет нечто новое для парижан. В течение стольких недель они не имели времени веселиться, поэтому они с радостью пользуются теперь этим удобным случаем и поют гимны победе даже тогда, когда какой-нибудь француз даст по носу англичанину!

Оплакивать Вольтера и Руссо было необходимо, во внимание к нашему престижу в Европе. Но, в сущности, все эти знаменитости неудобны. Ведь и дети больше веселятся, когда взрослые не сидят с ними! Впрочем, Жан-Жак, умирая, всетаки записал эпитафию Вольтеру, своему сопернику, опередившему его в славе и смерти:

Plus bel esprit, que beau génie,
Sans foi, sans honneur, sans vertu,
Il mourut comme il a vécu
Couvert de gloire et d'infamie *).

Приятельница философов, повидимому, очень торопясь открыть свой салон на небесах, прежде чем Вольтер и Руссо успеют посетить Жоффрен и Леспинас,— маркиза дю Шателе умерла раньше их, умерла от последствий преждевременных родов;—быть может в ее годы правильнее было бы говорить о запоздалых родах?! Ее муж, маркиз, был в полном отчаянии и уверял каждого из выражавших ему соболезнование, что он в ее смерти совершенно невиновен. Как будто в этом кто-нибудь мог сомневаться?

Если вы решитесь, наконец, поспешить приездом, дорогая Дельфина, то королева будет рада увидеть вас на своем летнем празднике в Трианоне, который на этот раз будет устроен в честь греческих богов. С тех пор, как Лагарп перевел Софокла, мы все стали интересоваться классиками, и я, конечно, буду тоже восторгаться античным миром, если маркиза Дельфина, в одежде олимпийской богини, примет участие в наших играх.

Иоганн фон Альтенау—Дельфине.

Париж, 30 июля 1778 г.

Дорогая маркиза. Вы чувствовали, что я ушел от вас

* Более остроумный, чем гениальный, без веры, без чести, без доброты, он умер, как и жил, покрытый славой и бесчестием.

Лили Браун. Письма парижан.

с тяжелым сердцем. Никакая жертва не была бы слишком велика для меня, еслиб только я знал, что могу вам доставить этим счастливые минуты. Но то, что вы от меня требуете, не только потому так тяжело для меня, что противоречит моим убеждениям и моему рассудку,—так как меня вынуждают серьезно относиться к такому шарлатану, как г. Месмер,—но тяжело еще и потому, что я не жду от этого никакой помощи для вас.

Я был у него тотчас по приезде. У него замечательны только светлые, почти совершенно бесцветные глаза, похожие на каплю воды, которая преломляет солнечный луч. Я описал ему состояние вашего ребенка: его апатию, его припадки ярости, его беспричинные слезы, склонность к жестокости и его разговор, напоминающий скорее стон дикого зверя, нежели человеческую речь.

Он не прерывал меня ни одним звуком, но потом спросил про вас, про кормилицу и отца ребенка. «Я попробую», сказал он потом и больше не прибавил ни слова. Дожидаясь ожидающих сменили меня. Справки, которые я навед об этом человеке, очень противоречивы. Одни над ним смеются и называют его шарлатаном, другие видят в нем чудотворца. Но так как эти же самые энтузиасты с таким же увлечением рассказывали мне и о чудесах г. Сажа, делающего золото, и о г. Дюфур, излечивающем сумасшедших, то, разумеется, я не мог после этого придавать особенную веру и всем их рассказам об успехах месмерского магнетизма. Но отказаться от этой попытки, пожалуй, будет для вас еще тяжелее, чем если бы даже эта попытка оказалась, в конце концов, безуспешной. Поэтому я и не хотел бы влиять на ваше решение.

То, что я чувствую с тех пор, как покинул Фроберг, нельзя выразить словами. Эти миновавшие месяцы представляются мне друзьями, которых мы любим тем сильнее, чем больше искажены страданиями их лица. Каждый день был борьбой с маленьким диким зверенышем, который разрывал сердце своей собственной чудной матери и ни над чем так пронзительно не смеялся, как над ее слезами!

А потом вечера с вами, Дельфина! Во тьме оконной

ниши я слушал вашу игру на арфе. За столом, при розовом свете лампы, вы слушали меня, когда я читал вам Руссо, Вольтера, Дидро и чудные стихи молодого германского поэта-бюргера—Гете. И часто мы вместе молчали, как только могут молчать близкие люди. Часы проходили. Вы смотрели на меня усталыми глазами. Я был настолько безумен, что воображал, будто вы не хотите со мною расстаться!..

И вот, однажды ночью я услышал... Я никогда не говорил вам об этом, я не хотел, чтобы вы стыдились передо мной! Но с той поры я каждую ночь простаивал у ваших дверей, готовый ворваться к вам, чтобы прогнать от вас человека, считающего, что он имеет на вас права, только потому, что он заставил вас носить его имя. Знал ли он о часовом у ваших дверей? Боялся ли он повторения борьбы с женщиной,—борьбы не очень-то почетной и неприятной даже для его притупленной чувствительности? Или в его ушах еще раздавался возглас женщины, с отчаянием восклицавшей: «Я не хочу второй раз родить уroda»!..

Не сердитесь на меня, что я касаюсь этой страшной тайны. Я не мог поступить иначе. Вы должны знать, что существует человек, который своим трупом загородит дорогу к вам, и что вы имеете такого друга, который не остановится даже перед самым страшным деянием, если только этой ценой он может доставить вам счастье!

Граф Гюи Шеврез—Дельфине.

Версаль, 8 августа 1778 г.

Прелестнейшая! Возможно ли, что очаровательная женщина в простом белом полотняном платье и в соломенной шляпе с широкими полями на распушенных локонх носит имя той, которую я некогда обожал?

То была гордая маркиза! Властно стучали ее каблучки по паркету Версаля; легкомыслие светилось в ее глазах, и губы ее были ярко-красные и блестящие. Но Дельфина, которую я встретил вчера, скользит на мягких подошвах по дерновому ковру, ее глаза полны неразгадан-

ных тайн, словно море в лунную ночь, ее губы бледны, как губы девушки, которую еще никто не целовал...

Я неверен по принципу. Кто требует верности, тот изменяет любви. А вас, прекрасная Дельфина, я любил слишком горячо и поэтому не мог оставаться вам верным. Разве может быть другое, более сильное доказательство моей неверности, как то, что я сегодня повергаю себя к вашим ногам? С тою удивительною способностью, которая присуща женщине, изменяющейся и приспособляющейся к природе, как цветок, который приспособляется к весне и лету, к ночи и утру, к дождю и солнечному свету, всегда оставаясь одинаковым и всегда другим—и вы стали теперь новой Дельфиной! Эту новую Дельфину, и только ее, я люблю теперь и должен буду любить безнадежно! Потому что в моем лице нет никакой перемены. Великий художник—судьба, не коснулся его своей рукой, и разве только время, этот грубый маляр, написало на нем своею кистью несколько маленьких морщинок.

Я не хочу вводить вас в заблуждение, Дельфина. Из того, что я философствую теперь, еще не значит, что я действительно сделался философом. Я изучал только одну науку—любовь! И так же верно, как то, что некогда я был настолько счастлив, что мог посвятить Дафнис в сладчайшие тайны любви, я знаю теперь, что Дельфина томится и тоже жаждет любви!

Г. фон Альтенау рассказывал недавно с такою гордостью, как будто это, действительно, было его делом—о тех книгах, которые вы прочитали, и о тех благотворительных учреждениях, которые вы основали во Фроберге. Я же смотрел на ваше худенькое личико, на ваши печальные глаза, и холодно становилось у меня на душе. Знаете ли, почему наша королева так ненасытно гоняется за развлечениями, переходит от одного празднества к другому, почему ей не хватает холодных драгоценных камней, чтоб освежить ее горячее тело? Знаете ли вы, почему маркиза де-Нель и графиня де-Понс так увлекаются химическими опытами Руэли и почему маленькая Куанья учится анатомировать трупы? Потому что любовь прошла мимо них, потому что—из трусости или нравственности?—они дали ей пройти мимо!

Вы имеете супруга,—значит ли это познать счастье любви? У вас был один возлюбленный,—значит ли это исчерпать любовь? Любовь глубока как море, богата как недра земли, разноцветна как ваши наряды. Предмет ее может изменяться, как изменяются поколения на земле, но сама она всегда остается одинаковой. Не будь на земле людей, разве она могла бы существовать? Кто бы видел, чувствовал, воспевал ее красоту тогда?..

Женщины стареют быстрее мужчин, как говорят обыкновенно. А почему? Потому что мужчины любят дольше. Нинон де-Ланкло была вечно молодой, потому что она всегда любила.

Позволит ли мне Дафнис взять в свою школу Дельфину?

Иоганн фон Альтенау—Дельфине.

Париж, 25 августа 1778 г.

Вы ссылаетесь на мое последнее письмо, дорогая маркиза, и требуете, чтобы я покинул ваш дом и избегал бы вашей близости, потому что г. Месмер полагает, что его лечение может оказаться недействительным в моем присутствии, так как мой магнетизм противодействует его магнетизму. Хотя я твердо знаю, что г. Месмер боится не моего магнетизма, а моего пронизательного взгляда и моих сомнений, которые могут лишить его столь выгодного пациента, тем не менее я повиновался вам. Я ушел от вас в темную, туманную ночь, даже не простившись с вами, точно преступник. Но я боялся, что иначе не в состоянии буду совладать с собой!

Во время одного из наших последних длинных разговоров вы сказали мне: «Насколько счастливее были современники Гомера! Каждое дерево, каждый источник они населяли дриадами и нимфами, а для нас даже небо стало пустым!..» Но если наше знание не может нам заменить потерянную веру, то разве так уж необходимо снова населять призраками образовавшуюся пустоту и, как в средние века, верить в ведьм и в заговоры? Вы устали, дорогая Дельфина, устали от бессонных ночей, от мыслей, которые терзают вас. Если бы не это, то вы

не могли бы так заблуждаться теперь, не могли бы вернуться от тех познаний, которыми вы были так богаты недавно и которые делали вас сильной. Вы занимаетесь ужасным делом саморазрушения, и все это ради существа, которое, собственно, хуже всякого животного! Еще раз умоляю вас: не приносите себя в жертву этому ребенку, не имеющему никакого права на жизнь и которому лучше всего было бы в каком-нибудь заведении для неизлечимых. Я знаю, что вы ответите мне теми же самыми словами, какие вы так часто говорили мне: «Что же мне тогда останется в жизни?»—Жизнь, Дельфина! Я говорю вам, как ваш друг, как человек, который похоронил свою самую смелую мечту—быть вашим руководителем в новом мире!

Вы жалуетесь на мир, лишенный богов. И все же есть сила, которая может возместить всех богов мира и земли. Эта сила читает в сердцах людей лучше, чем они сами в собственных сердцах, она доставляет им более прочную опору, дает большую силу, чем вера,двигающая горами. И вот, потому что я сам отдался этой силе с той минуты, как Дельфина Лаваль вошла в мою жизнь, я и мог читать в вашем сердце, как в раскрытой книге. Я нашел там заглавное чувство, дремлющую надежду, но пылкость моих чувств рисовала мне яркую картину собственного счастья, и я не хотел видеть то, что я видел. Теперь, когда я знаю, что женщина, которую я люблю всеми силами своего сердца, никогда не будет моей, я хочу, по крайней мере, спасти ее от ее самого величайшего врага—от нее самой!

Вы любите. Только ваша гордость мешает вам сойтись в этом себе самой. Вы надеетесь. Но ваша большая совесть мешает вам почерпнуть в этой надежде жизненную силу. Имейте же мужество для себя самой. Сохраните себя для человека, который отправился на чужбину, потому что думал, что вы его покинули!..

Каждое слово, которое я пишу вам, наносит мне глубокую рану в сердце. Но это все равно. Моя главная задача в жизни—ваше счастье.

Иоганн фон Альтенау—Дельфине.

Париж, 18 сентября 1778 г.

Как мне благодарить вас за ту радость, которую доставили мне ваши строки, дорогая Дельфина. Они всего яснее говорят о том, о чем умалчивают. Вы называете меня своим единственным другом, потому что только дружба, говорите вы, может быть самоотверженной. Вы хотите мне доказать этим, что я ошибаюсь в собственных чувствах... Я должен быть и далее вашим другом и писать вам о себе.

Мне не хотелось бы отвечать вам банальными фразами, поэтому я лучше попробую продолжать наши прежние разговоры и следовательно, по возможности, постараюсь быть безличным. Впечатления, полученные мною по возвращении сюда, в мой прежний круг, достаточно значительны сами по себе и заслуживают того, чтоб я изложил их вам.

Со времени смерти нашего великого передового борца наступило глубокое уныние. Мы видим перед собой новое положение, видим беспокойную, лихорадочно возбужденную и часто сентиментальную толпу, в которой преобладает простонародный элемент. Немногие оставшиеся старики, потерявшие силу и влияние, разделились на группы. Неужели время энциклопедистов миновало и из посеянных ими семян не выросло плодов, для которых мы только и работали?

Преследования прежних дней сделали их великими и сильными. Чтобы защитить себя от них, бороться с ними, надо было напрягать все свои силы, надо было тесно сплотиться, чтоб огнем искреннего убеждения завоевать духовный мир. Только таким путем можно было воздвигнуть среди бушующего моря общественной жизни маяк энциклопедии, с вершины которого его строители обзоредали всю вселенную и указывали направление всем кораблям. Разве это одно уже недостаточно занимательно, что люди, создавшие это дело, пишут теперь статьи для „*Mercur de France*“?!

И вот, наступило время, когда Европа превратила пре-

следуемых в своих героях, когда слава Вольтера, Монтескье, Руссо восторжествовала над кострами, где все еще сжигались их книги, когда угнетенное человечество, пострадавшая невинность находили убежище у Фернейского патриарха, и часто разум и справедливость одерживали его именем победу над всеми властителями мира.

Преследования прекратились; некоторые принципы философов достигли всеобщего признания, а их идеи, точно семенная пыль, отделяющаяся от цветов и деревьев, наполнили воздух. Но в то же время ослабело единение людей. Отпадение Руссо от энциклопедистов превратило внутреннее раз'единение в открытый скандал. Его оппозиция против материализма Гольбаха и его последователей ясно указывала, что даже те убеждения и решения, которые были провозглашены с такою твердостью, в сущности, покоились на зыбкой почве.

Представители церкви и правительства, даже версальский двор, перестали бояться философов. Триумфальный въезд Вольтера в Париж, в сущности, был его поражением.

Вчера, погруженный в свои пессимистические размышления, я встретил Гальяра в кафе де ла Режанс и долго разговаривал с ним. Он смеялся над моим угнетенным состоянием, но это не был веселый смех; он звучал жестко. «Что за беда, — сказал он, — что Руссо оказался слабым человеком, а Вольтер — изменником собственного учения. Идеи мыслителей порождают прежде всего людей действия». Я думал, что он намекает на Неккера, деятельность которого встречает такое сочувствие в народе. Он еще раз засмеялся. «Неккер? — вскричал он насмешливо, — человек, который в своих писаниях и публичных речах льстит народу, а украдкой, вместе с королем, точит оружие деспотизма»...

Вечером он повел меня в свой клуб, где я был свидетелем самых горячих споров. Молодые люди из городского сословия старались превзойти друг друга в диких нападках на все существующее. Религия, монархия, искусство, женщины, даже американская освободительная война, которую еще недавно так превозносили, — ничто не было пощажено, и подвергалось самому жестокому осмеянию. Недовольный, я собрался уходить. Гальяр сопровождал меня.

«Это ваши люди действия?» спросил я его. «Конечно,— отвечал он.—Ведь чтобы созидать, надо прежде разрушить».

У Пале-Рояля мы встретили маркиза, который слишком поздно закрылся своим широким плащом, и поэтому мы узнали его. «Он — частный посетитель задних комнат моей матери», сказал Гальяр. Мне кажется, дорогая Дельфина, что такое открытие совершенно освобождает вас от всякой щепетильности в отношении его. Я, конечно, постараюсь выследить его, чтобы дать вам в руки еще более верное оружие против него.

Значит, через четыре недели решится судьба ребенка. Но я предполагаю, что г. Месмер будет достаточно умен, чтоб отложить это решение еще на четыре недели.

Граф Гибер—Дельфине.

Париж, 25 сентября 1778 г.

Ваше возвращение, глубокоуважаемая маркиза, наполнило мою душу надеждой. Париж казался мне очень пустынным во все эти годы вашего отсутствия. Салон Неккера—в этом едва ли мне нужно уверять вас—не мог служить умственным убежищем для таких людей, как я. Вы сами, как я заметил, чувствуете себя несовсем ловко в этом обществе, состоящем из министра, гордого своею добродетелью и наполненного всякими сентенциями, его рассудительной и умной жены и рано созревшей дочери, литературными дарованиями которой все гости должны восхищаться. Там не чувствуется веяния духа XVIII века, и если такова должна быть атмосфера XIX века, то я не хочу дожить до нее.

Впрочем, салон Неккера является типом множества других салонов, которые, благодаря богатству, задают тон, покровительствуют художникам и собирают художественные произведения. Как жены их одеваются только для других, а в тесном семейном кругу целый день остаются в negligé, так и они украшают свои комнаты знаменитыми именами, не для того, чтобы обогатить свою собственную жизнь, а только, чтобы произвести впечатление. Иначе они не могут, поэтому их надо извинить. Но что худож-

ники и писатели, пользующиеся известностью, соглашаются служить им,—это является печальным знаменем умственного упадка.

Театр только подтверждает это положение дел, как вы сами вчера убедились. У нас нет ни пьес, ни авторов. Маленькие таланты, обладающие некоторым остроумием, но не умом, утонченные декорации, прелестные, обнаженные члены,—все это должно утешать нас в том, что пьесы, в сущности, являются только средством для достижения этих целей.

Я предлагаю вам, прелестная маркиза, бросить все эти посредственные удовольствия и снова вернуться к нашим, столь внезапно прекратившимся поездкам верхом. Но, разумеется, мы хорошо сделаем, если не будем слишком далеко удаляться от Парижа. После летней засухи этого года, людей и животных может ожидать голодное бедствие зимой. Страх их вполне понятен, и поэтому лучше держаться подальше от раздраженных крестьян. Хотя помещики и финансисты стараются превзойти друг друга, раздавая деньги и пищу, основывая больницы и приюты, чтобы помочь нужде, но поспешность, с которой они это делают, заставляет думать, что ими движает скорее страх, нежели любовь к человечеству, и это, разумеется, только усиливает возбуждение умов. Вместо того, чтобы успокаивать их. При этом же все реже и реже встречаются богобоязненные люди, которых можно удовлетворить благодеяниями, так как теперь идеи прав человека уже просветили их головы.

Но со мною вам нечего бояться, и я надеюсь, что свежий воздух скоро зарумянит ваши щечки, и это будет тем восхитительнее, что для нас, мужчин, естественный румянец представляет нечто совершенно необычное, потому что женщины всегда скрывают свой натуральный цвет кожи под стереотипными румянами.

Граф Гибер—Дельфине.

Париж, 30 октября 1778 г.

Многоуважаемая маркиза! Наконец, я могу вздохнуть свободно. Хотя вы еще не хотите меня видеть, но все же вы были настолько добры, что сообразовали собственно-

ручно написать мне несколько строк, для того, чтобы я знал, что мне больше нечего дрожать за вас.

Это были ужасные недели, последовавшие за нашей злополучной прогулкой. Я думал, что уже потерял вас, когда я стоял на коленях возле вас и тщетно старался остановить кровь, которая текла из вашего белого лба. И хотя вы потом открыли ваши прекрасные глаза, тем не менее не прошло ни одного дня и ни одной ночи с тех пор, когда бы я не чувствовал смертельной тревоги за вас! С отчаяния я застрелил вороную лошадь, на которой вы ехали. Она умерла невинная, но я не мог ее видеть больше.

До сих пор для меня является загадкой, как могло случиться, что это спокойное животное, без всякого внешнего повода, вдруг понесло вас и, в конце концов, перекувырнулось, перескакивая через высокую изгородь.

Вы давно не были так веселы, как в тот день. Возможность выздоровления вашего сына, о чем вы говорили мне, заставила и меня радоваться вместе с вами. А солнечный осенний день, обдававший нас своим теплом, казалось, разделял наше веселье. Я мог в такой день разговаривать с вами только о веселых вещах, заставляющих смеяться. Я сообщил вам занимавшую меня новость, только что услышанную мной, что ваш храбрый Лафайет собирается покинуть Америку со своими друзьями, чтобы предоставить свои силы к услугам отечества в войне с Англией. В этот самый момент я увидел, что вы побледнели, и ваши широкооткрытые глаза устремились на меня, как будто перед вами находился призрак, и затем вы умчались, точно хотели броситься куда-то.

С очаровательной грацией умели вы, во время нашей прогулки верхом, отклонять разговор от той темы, на которую я хотел навести его. Но теперь, очаровательная маркиза, когда радость по поводу вашего выздоровления так велика, что лишает меня всякого самообладания, вы не можете помешать мне высказать вам, что если бы вы умерли, то и моя жизнь была бы кончена!

Иоганн фон Альтенау—Дельфине.

Париж, 3 ноября 1778 г.

Серый ноябрьский туман, тяжело лежавший на моем сердце, исчез от одного дуновения вашего дыхания, дорогая маркиза. Одного взгляда на ваше лицо было достаточно, чтоб я понял, то, чему не хотел верить, несмотря на ваши уверения. Не только рана на вашем лбу зажила, но зажили также и ваши внутренние раны. Я не посмел больше мучить вас своими сомнениями, когда увидел вас снова, и как увидел! Исхудавшая и бледная, с глазами, горящими как уголья, с узким красным рубцом на белом лбу и ласковой улыбкой на полуоткрытых устах, выражающих нетерпеливое желание, вы лежали на кушетке, и ваше ослабевшее тело было закутано в белый шелк, и вся ваша фигура была залита красным сиянием от каминного огня. «Он говорит: мальчик будет здоров!—прошептали вы, протянув мне обе руки,—и тогда я буду свободна, совершенно свободна... для новой жизни!».

Вы—точно верующий ребенок. У кого же хватит жестокого мужества сказать ему: «Бог, которому ты молишься, не существует!» Я хочу верить вместе с вами. В день окончательного решения,—вы говорили о 21-м декабря?—я буду ждать перед вашим домом известий. До этой же минуты я снова удаюсь в свое изгнание.

То, что я узнал о маркизе, об этом вы теперь не хотите слышать. «Мне так это безразлично!»—сказали вы. Но если ваша свобода когда-нибудь окажется в зависимости от знания этих вещей, то помните, что я нахожусь к вашим услугам.

Граф Гюи Шеврез—Дельфине.

Париж, 20 декабря 1778 г.

Вы призвали меня к себе, прекрасная Дельфина! Вы смеялись над всеми историями, которые я вам рассказывал. Мир не обеднел ими, хотя люди, охваченные рвением низвергать королей и Бога, продолжают утверждать, что у них не хватает времени на всякие безумства.

Заставил ли знаменитый д-р Месмер снова забиться наше парализованное сердечко или же сотрясение, вызванное падением, вывело вас из летаргии? Вы позволили мне расцеловать каждый из ваших розовых пальчиков. «Только не как любовник!»—пригрозили вы. Я почти готов был бы впасть в уныние от этих слов, еслибы не то, что моя страшная тоска по вас заставила меня поискать утешительницу.

Вспомните-ка! Вы видели в опере маленькую Тевенен, незадолго до вашей злополучной поездки верхом. Она была самая молоденькая из нимф в балете Роза, и на ней ничего не было, кроме розового облака вокруг бедер, да чудных золотистых волос на голове и черных как смоль— в другом месте.

Пожалуйста: не прикрывайте ротика своей ручкой. Я знаю, что несмотря на ваши возмущенные взгляды, вы всетаки смеетесь!

Я—говорящий попугай маркизы Дельфины, которому дозволяется болтать с тем лишь условием, чтоб это забавляло его госпожу! А в эту минуту вы, ведь, одни! Нет возле вас страшного и серьезного домашнего философа и, наверное, нет маркиза. Должен я вам показать дальнейшие пробы своего искусства?

Г. Жанлис застал недавно m-lle Жюстин, свою престелстную любовницу, в нежнейшем tête-à-tête с маркизом Левенштейн. «Что вы хотите, милостивый государь?—отвечала она на его упреки. Но ведь я же изо всех сил старалась заинтересовать г. маркиза вашей дочерью!» И действительно, в ближайшие дни маленькая Жанлис сделалась счастливой невестой. Не послали ли вы ей сердечных поздравлений по этому поводу?

M-me Шаман увидела, что ее семнадцатилетняя дочка погружена в чтение «Lettres de chevalier du Saint-Ilme». Возмущенная мать вырывает у нее книгу и говорит: «Ретиф де ля Бретонн не мог написать более отвратительной вещи!» Дочка чуть не умерла со смеха. Ведь роман-то написан про нее.

Герцогиня Д'Анвидль хотела возбудить ревность своего любовника, который оставлял желать многого в отношении страсти, и поэтому она начала восхищаться

Д'Аламбером. «Это бог!» говорила она восторженно.— «Ах, madame,—отвечал небрежно любовник,—если бы он, действительно, был богом, то начал бы с того, что сделал бы себя мужчиной!»

А вот еще недурная шутка, которая несколько дней забавляла Париж во время вашей болезни. Каких-то два польских дворянина, с лучшими рекомендациями, получили от графа Артуа разрешение осмотреть его павильон Bagatelle. Перед одним из мраморных бюстов они вдруг залились слезами. «О, как она похожа на нашу умершую сестру!» говорили они. Предупредительный граф тотчас же подарил им этот бюст. Они повторили этот удавшийся маневр у целого ряда наших меценатов, и, прежде чем мошенничество было открыто, они успели исчезнуть со своей богатой художественной коллекцией.

Если вам опять захочется смеяться, прелестная маркиза, то вспомните обо мне. Запас мой неистощим, а мое старание сделаться для вас необходимым тем более сильно, что я уже слышу вдали бряцание оружия наших возвращающихся военных героев и, к сожалению, знаю, как поверхностны женщины! Они мечтают о забрызганных кровью мундирах и не замечают сердец, в тиши истекающих кровью!

Впрочем, эти герои везут с собой целый гарем индианок с бронзовой кожей, и я уже предвижу, что их туалет—три пера на голове и двадцать колец в ушах—явится величайшей модой будущего сезона. Вам, очаровательница, эта мода будет удивительно к лицу!

Не забудьте своего обещания, после завтра мы должны встретиться на бал-маскараде.

Иоганн фон Альтенау—Дельфине.

21 декабря.

На коленях молю: впустите меня! После такого известия вы не должны оставаться одни.

«Все кончено. После завтра я уезжаю с ребенком домой, чтобы там похоронить себя с ним навсегда!» Эта ужасная записка принесена мне. Вы не должны уезжать! Вы должны бороться с судьбой, а не покоряться ей. Я

останусь у вашего порога и схвачу лошадей под уздцы, чтобы помешать вам. Послушайтесь же того, кого вы сами называете своим единственным другом!

Граф Гюи Шеврез—Дельфине.

21 декабря.

Вы слишком долго занимаетесь своим туалетом. Вы хотите ослепить всех своей красотой, только поэтому вы и заставляете меня ждать так долго, прелестная Дельфина? Если я не получу никакого ответа через своего егеря, то через час буду у вас и силой увезу мою красавицу!

Иоганн фон Альтенау—Дельфине.

Париж, 22 декабря 1778 г.

Свершилось. Это сделал я. Вы—единственная, знающая это, можете указать на меня, как на убийцу своего ребенка. Но и под виселицей я буду утверждать, что это было лучшим актом всей моей жизни!

Более милосердный, чем его мать, я пустил пулю в висок бедному идиоту и вернул жизнь женщине, которая хотела осудить себя на смерть!

То, что я встретил ночью графа Шевреза, когда пробирался в комнату ребенка, умерило мою радость. Правда, вы его не велели впускать, но он как будто имел право так просто являться к вам. Я сожалею о вашем поспешном выборе, но своим актом я сам лишил себя всяких прав на вашу дружбу, а следовательно, и права делать вам предостережения.

Прощайте, Дельфина. Будьте счастливы!

КАЛИОСТРО.

Барон Фердинанд Вурмзер—Дельфине.

Петербург, 2 июля 1779 г.

Уважаемая кузина! Вряд ли вы помните бледного юношу, который тщетно старался отбить у своего соперника прелестнейшую из нимф. Принц Фридрих-Евгений остался победителем, и его лба коснулись ее губы, посвящая его своим поцелуем. Я же, спрятавшись в боскете, оплакивал свое поражение и целый день не расставался с мрачною мыслью исчезнуть ночью в черном лебедином пруде.

Внезапная смерть моего старшего брата вынуждает меня оставить мое место при дворе великого князя Павла, чтобы посвятить себя управлению нашими имениями. И выезжаю на-днях, и если горе, которое я испытываю, расставаясь со своею доброй повелительницей великой княгиней, смягчается радостью возвращения на родину, то этому много способствует мысль о вас, чью красоту и радостное гостеприимство мне так часто расхваливали.

Однако, может быть, я не осмелился бы теперь же уведомлять вас о своем приезде в Страсбург, если бы великая княгиня не поручила мне напомнить вам прекрасные дни молодости, которые вы проводили вместе в Монбельяре и Эгюне и передать вам ее сердечный привет. «Скажите маркизе, что я прошу ее принять моего бывшего камергера, как друга»—были ее слова, которые она, по доброте своей, поручила мне передать вам. Она надеется, в скором времени, если состоится посещение ею Франции, возобновить с вами прежние отношения. С глубоким сочувствием и

искренним сожалением услышала она о горе, постигшем вас, дорогая кузина.

Мне в особенности было тяжело узнать о страданиях вашего ребенка, только после его ужасного конца. Я в состоянии был бы указать вам настоящего врача. Быть может, вы уже слышали о необыкновенном человеке, который внезапно появился здесь, и никто не может сказать, откуда он и кто он такой. Я говорю о графе Калиостро. Он разгуливает и исцеляет больных, как Христос, раздает деньги бедным, как Гарун-аль-Рашид, и заставляет мертвых выходить из недр своих темных могил на свет его мистической лампы.

Вы, наверное, его встретите, потому что он находится везде.

Через пять-шесть недель я надеюсь быть в Эльзасе и представиться вам. Прошу вас передать мое почтение маркизу, с которым я не имею чести быть лично знакомым, но которого знаю по рассказам моего брата, представившего мне его, как образец дворянина старой школы.

Граф Гибер—Дельфине.

Париж, 25 августа 1779 г.

Встреча с вами в Спа, дорогая маркиза, преследует меня как потрясающее сновидение, воспоминание о котором не исчезает даже днем.

Ни одно из впечатлений во время моего путешествия—а они были достаточно сильны—не могло изгладить из моей памяти трогательной картины, которую я увидел. Ваш нежный стан, окутанный черной вуалью, и взгляд ваших темных горящих глаз на мраморно-белом лице—все это поразило меня до глубины души. Вы приехали, чтобы лечиться в этом знаменитом курорте.

«Маркиз пожелал этого»,—сказали вы мне с горькой страдальческой улыбкой. «Маркиз»?—повторил я про себя, удивленный. Ведь я же знал то, что было всем известно. Уж не соединила ли трагедия ребенка с ее ужасным, загадочным концом, двух разошедшихся супругов? Но еще прежде, чем я обдумал это до конца, ответ уже

был мною получен. Подошел маркиз,—сгорбившийся старик, с осунувшимся лицом,—я едва узнал его! Тут я вспомнил со страхом темные слухи, которые распространялись по поводу неудачных спекуляций Сен-Джемса и участия в них маркиза и кардинала де Рогана. Но вскоре я увидел, что совсем другая тревога снедала его. Заботливо, как отец, закутал он вас плащем и поздоровался со мной с сердечностью, которая меня поразила. Ведь мы всегда были далеки!

«Как я рад, что вы здесь!»—несколько раз повторил он. Когда же я потом остался с ним наедине, я был поражен еще больше. Страх за вас заставил его позабыть всякие светские правила, и я внезапно увидел человека там, где до сих пор привык видеть только аристократа. Он просил меня занимать вас, развлекать и заставить вас снова заинтересоваться парижской жизнью.

Можно ли было найти для меня более приятную задачу? Вы знаете, с каким горячим рвением я взялся за нее, но вы не подозреваете, как с каждой каплей крови, медленно приливавшей к вашим щекам, когда я изошрял перед вами свое умение рассказывать, свое остроумие и прищипоривал свою фантазию, точно всадник своего коня,—в моем сердце снова разгоралось пламя, и тень улыбки, мелькавшая на ваших губах, бурно подымала во мне старые, неудовлетворенные желания.

Я сказал вам, что приказ военного министра требует моего возвращения в Париж. Я солгал. И я даже не хотел разоблачать эту ложь. Только теперь, когда я нахожусь вдали от вас, я чувствую, что должен сказать вам правду.

Два года назад я добивался вашей любви. Обладание вами явилось бы самым драгоценным золотым лавровым листком в венце моей славы. Ни на одно мгновение не смущала меня мысль о вашем законном обладателе—маркизе Монжуа, о котором ничто не напоминало в вашем доме. Маркиз Монжуа, относящийся с такою высокомерной холодностью к прелестной Дельфине, предпочитавший задние комнаты в помещении м-ме Гальяр спальне собственной супруги, от которой он выходил всегда с сумрачным скучающим лицом—как будто пребывание

с нею было для него только выполнением неприятного долга—не мог, конечно, служить ни малейшим препятствием на моем пути к вам. Но даже, если б я знал, что он ценит вас больше, нежели какуюнибудь особенно драгоценную вещьцу своего домашнего обихода, то все же и это не могло бы меня удержать. Пока мужчина в борьбе за женщину имеет перед собой соперника равного ему—хотя бы даже это был супруг его красавицы—сама природа дает ему право оспаривать у него ее обладание. Не сила, а слабость обезоруживает!

Вот почему я должен от вас бежать теперь. Я не мог оставаться возле вас равнодушным и не мог, как честный человек, добиваться вас. Старый, больной маркиз больше не соперник.

И всетаки! Если бы ваше сердце приняло когда-нибудь добровольное решение... Милая Дельфина, я начинаю понимать, что вы не только можете быть золотым листком в венке победителя, но сами по себе представляете тот розовый венок, которым жизнь венчает своих любимцев.

Смею ли я в награду за мое самоотречение, которому я не в состоянии был бы подвергнуть себя во второй раз, так как и теперь уже у меня едва хватает силы переносить его, возобновить наш последний разговор? Могу ли я надеяться, что при вашем содействии он постепенно образует между нами крепкую связь?

С тою гениальной, чисто женской добротой, которая может даже заменить деловой интерес, вы приняли участие в моей военной научной работе. Между тем, эта работа возбудила такое общественное внимание, на которое я даже не мог рассчитывать. Со времени блестящего успеха «Ифигении» Глюка наши великие умы,—я почти готов был написать «великие» в кавычках,—снова принялись истощать свои силы в музыкальной войне. Такое явление возможно только в стране, где на граждан смотрят как на несовершеннолетних, и их действительное участие в политической жизни страны награждают Бастилей.

Защищая свои идеи, я вступил в очень горячий спор

с г. Мениль-Дюран и вынужден был критически высказываться не только против него, но и против моего старого друга и благодетеля герцога Брейль.

В то время, как я ограничивался только критикой по существу, они прибегали к личным нападкам, и весь Париж повторял, как эхо, их слова и упрекал меня в грубой неблагодарности: герцог Брейль отказал мне от дома. Печальный признак, указывающий на полное отсутствие убеждений у французских граждан, требующих, чтоб я принес любовь к отечеству в жертву чувству личной благодарности!

Впрочем, в данном случае, я разделил участь моего друга Кондорсе, который навлек на себя жестокую хулу за то, что осмелился подвергнуть критике финансовую политику Неккера. «Как это вам пришло в голову выступать судьей министра?» спрашивали его с возмущением. «Разве же я должен оправдываться в том, что меня занимают общественные дела?»—отвечал он.—«Это право и долг каждого гражданина и не нужно никакой специальной миссии для того, чтобы вступаться за права народа или же бороться с такими мероприятиями, которые нарушают эти права».

Испорченное версальское общество, не признающее других законов, кроме придворного этикета, и убежденное в превосходстве всех учреждений, дающих возможность придворным лизоблюдам получать свои пенсии, а банкирам иметь превосходных поваров, конечно, смеется над такими взглядами, как наши. Как будто не существует никаких других страданий, кроме тех, которые касаются нас лично! Как будто природа, вложившая в нас мужество и чувствительное сердце, сама не призвала нас к тому, чтобы мы были защитниками общественного блага!

Нам пришлось пережить то, что наше общество гораздо больше заинтересовалось волнениями среди балетных танцовщиков, нежели потерями, которые понесла наша торговля, взятые Пондишери и несчастной экспедиции Сент-Люси. Еслиб я незадолго перед тем не был сам свидетелем иступленных восторгов парижан, приветствовавших вернувшихся героев американской осво-

бодительной войны, я потерял бы все свои надежды. Это был мгновенный взрыв глубоко укоренившейся ненависти к феодальному государству, быстро, однако, потасканный, потому что, когда маркиз Лафайет и принц Монабельяр, не давая себе ни минуты для отдыха или для наслаждения овациями, которые всюду их ожидали, немедленно предоставили себя и свое испытанное оружие к услугам французского флота для борьбы с Англией, то это удивило всех, и никто их не понял.

Я имел случай разговаривать с принцем незадолго до его отплытия. Я был рад найти в нем одного из тех редких патриотов, которые чувствуют не как отдельная единица, а как часть целого. Он был очень удручен всем, что нашел по возвращении во Францию. «Америка открыла мне глаза на Францию,—сказал он.—Там целый народ борется за свободу, отдавая все свои силы и средства, а здесь отдельные члены государства смотрят на свое отечество как на завоеванную область, которую каждый имеет право грабить изо всех сил, соблюдая только свою выгоду. Там—мужчины, из которых каждый считает себя защитником отечества, а здесь—офицеры, спальни которых больше похожи на будуары куртизанок и которые ни к чему так страстно не стремятся, как только к тому, чтобы перещеголять друг друга в своих расходах на любовниц».

В течение нашей длинной беседы с принцем я чувствовал искушение заговорить также и о вас, дорогая маркиза, и о вашем опасном падении с лошади, которое странным образом совпало с упоминанием его имени. Но моя скромность победила мое любопытство. Впрочем, может быть, я втайне боялся, что стою перед соперником, равным мне по силе?

Граф Гибер—Дельфине.

Париж, 21 июля 1780 г.

Я едва смел надеяться получить от вас письмо, дорогая маркиза, и теперь не знаю, должен ли я радоваться, что, наконец, получил его. Это холодное и короткое письмо, и я готов был бы думать, что оно продиктовано

только вежливостью, если бы в нем не заключалось столько же вопросов, сколько и строк,—вопросов, которые явно вызваны не одним только любопытством, но за которыми скрывается и тайная тревога.

Нет сомнения, времена теперь серьезные, маркиза. Но мое путешествие из Спа в Париж, во время которого я проехал мимо угольных копей Анзена и Френа, указало мне, для кого особенно страшны наши современные условия. Я с содроганием видел детей, видел женщин, готовящихся сделаться матерями и работающих в темных подземных шахтах. И это в век Руссо! Я видел надсмотрщиков, вооруженных плетью, которыми они подгоняли рабочих. И это в век освобождения Америки! Кто видел это и хранит в душе эти впечатления, тот может только презрительно улыбаться, слушая жалобы «терпящих нужду», которые, красуясь в шелковых жилетах с бриллиантовыми запонками, наполняют переднюю министра и скорбят о плохих временах. Не сами ли они виноваты, что сельские рабочие предпочитают идти работать в подземелья, нежели отбывать барщину в их поместьях?

Если вам указали на финансовую политику Неккера, как на причину всеобщих стесненных обстоятельств, то это неверно. Он не виноват ни в чем,—ни в хорошем, ни в дурном. Сделанные им ограничения расходов на содержание королевского штата, конечно, были очень неприятны для двора. Множество версальских офицеров, вся обязанность которых заключалась только в наблюдении над кухонной службой и над тем, чтобы жаркое подавалось во-время, откомандированы теперь во флот, где, разумеется, должно ожидать от них чудес храбрости, в виду того, что они обладают таким опытом в командовании над мертвыми гусями и свиньями!

Но эти жалкие мероприятия представляют лишь отчаянную попытку как-нибудь успокоить общественное мнение. Они так же мало приносят пользы, как мало принесла бы ее попытка превратить девственный лес в плодородное поле при помощи ножа, которым разрезают жаркое! Налоги, которые Неккер частью отменяет, частью же назначает вновь, тоже не ведут ни к

чему. Это Сизифова работа. Если удастся заткнуть одну дыру, то сейчас же является рядом другая. Я повторяю: он не виновен, и ужасающий долг прошлого не смог бы покрыть и другой, более великий, чем он.

Вы говорите: «Я сама не боюсь, но маркиз болен, и опасения финансовых катастроф угнетают его, поэтому мне и хотелось бы это выяснить». Я знаю, что ваша гордость не позволит вам поддаваться страху, но знаю также, что даже рискованные спекуляции Сент-Джемса не могут подвергнуть серьезной опасности колоссальные богатства маркиза. Впрочем, в данный момент все возбуждает тревогу, так как от исхода войны зависит очень многое. Покамест мы еще не можем говорить ни о каких значительных успехах Франции, и лавровый венок, врученный адмиралу Д'Эстен в опере, в сущности, принимая во внимание место, был только театральным представлением для народа. Со времени великого короля мы уже так отвыкли от побед, что теперь склонны каждый маленький успех возводить в геройский акт. Король в особенности обнаруживает в таких случаях чрезмерную щедрость в раздаче орденов и титулов, но ни то, ни другое не может придать эпигонам величия их предков.

Вы спрашиваете о настроении двора? Я стараюсь держаться от него в отдалении, насколько возможно, поэтому, на основании собственных наблюдений, могу сообщить вам лишь очень мало. Если судить по количеству празднеств и приемов, то двор находится в очень радужном настроении, но так как празднества тем менее могут служить выражением удовольствия, чем более они входят в ежедневный обиход, то, следовательно, они и не могут являться мерилom хорошего настроения у королей.

Я встретил королеву в июне, в Эрменонвилле, куда я приехал по приглашению любезной m-me Жирарден. Какое божественное поместье! Сам Руссо не мог бы выбрать лучшего места для своего вечного успокоения. У его могилы на острове тополей, где высокие деревья как будто пророчески указывают на небо своими светло-зелеными верхушками, цвет которых напоминает о надежде, где траурные розы, словно плачущие женские лица, прильнули к памятнику, а возле него тихо шепчутся между со-

бой струйки воды в реке, словно они боятся нарушить тишину этого места, — там все кругом, как будто проповедует блаженство возвращения к природе.

Королева была очень недовольна. Утром она узнала о намерении еще сократить число ее придворных слуг и это после того, как она была вынуждена, незадолго перед этим, значительно ограничить свои желания, касающиеся постройки театра в Трианоне! «Повидимому, придворный штат короля Франции соразмеряется теперь с буржуазным бюджетом Неккера», — сказала она. В ее мягких чертах, которые до сих пор я видел всегда освещенными улыбкой, появилось жестокое выражение, особенно присущее ее матери-императрице. «Позволили бы вы, чтобы ваш дворник назначал меню вашего стола?» — спросила она меня. «Дворник, конечно, нет, — отвечал я, — но мой управляющий — да, потому что он несет на себе ответственность за правильное ведение хозяйства».

Обходя парк, мы прошли мимо могилы бессмертного философа. Королева бросила на памятник ледяной взгляд через лорнетку и, высокомерно задрав голову, — жест, присущий только дочери Марии Терезы — заметила: «Траурные розы цветут в Трианоне гораздо роскошнее», и, приподняв платье, словно оно не должно было даже прикасаться к этой земле, прошла мимо.

За ужином я высказал графине Полиньяк похвалу изящным туалетам дам. «Они носят мягкие ботинки, без каблучков, большие соломенные шляпы на свободно ниспадающих локонах, белые, простые муслиновые платья», — сказал я. — Не называется ли весь прелестный ансамбль такого туалета костюмом *à la Руссо*?» — «М-лле Бертен, создавшая этот туалет, назвала его платьем королев», — крикнула мне через стол королева и затем решила больше меня не замечать.

Спустя несколько недель, я был у графа Прованского; в замке Брюнуа. Тот, кто ничего другого не видел во Франции, кроме этого дворца Креза, должен, конечно, воображать, что Франция утопает в золоте. На один из излюбленных господских праздников, устраиваемых там и обладающих особенной привлекательностью, благодаря пикантным танцам наших очаровательных жриц Терпси-

хоры и еще более пикантным куплетам, ожидали прибытия короля. В ночь, перед его приездом, кавалеры импровизировали похищение сабинянок, и рассказы об этой шутке, закончившейся вакханалией, забавляли короля гораздо больше, чем все заранее заготовленные представления. Он, как вы знаете, добродетелен только поневоле!

Затем состоялась охота на оленей, тоже как будто обладающих придворными качествами. Повидимому, смерть от королевской пули они принимали за особенное отличие.

В заключение король имел частное совещание с графом и уехал очень довольный.

Спустя несколько дней после этого улицы Версаля были полны пьяных швейцарцев—просроченное жалование было им выплачено наличными деньгами—придворные конюшни снова наполнились английскими лошадьми, а в Трианоне возобновилась прерванная постройка театра. «Заниматься денежными сделками—это так пошло!» сказали вы мне в Спа, сопровождая эти слова неподражаемым, презрительным жестом. Но короли все облагораживают, не так ли, госпожа маркиза?

Я снова перечитал ваши строки, и мне показалось внезапно, что в них сквозит скрытое желание опять вернуться в Версаль. Я был бы безутешен, если бы я подавил его, вместо того, чтобы раздуть сильнее. Но зачем вы всегда прячете свое внутреннее я за тысячами мерцающих покровов? Не оттого ли, что тайна скуки, как вы знаете, заключается именно в том, чтобы все высказывать?

Кардинал-принц Луи Роган—Дельфине.

Версаль, 30 августа 1780 г.

Уважаемая маркиза! Любезный прием, оказанный мне вами во Фроберге, и приятное впечатление—вы разрешите это откровенное замечание священнику?—которое я вынес вследствие возобновления дружеских отношений между вами и маркизом, заставляет меня обратиться к вам с этим письмом.

Вы помните наши длинные разговоры по поводу уди-

вительного сообщения барона Вурмзера о графе Калиостро, о его исцелениях и пророчествах. Вспоминая свой печальный опыт с Месмером, вы, дорогая маркиза, заранее объявили обманом все то, о чем рассказывал барон Вурмзер. Я тоже отнесся скептически к этому, хотя, как верующий христианин, я никогда не буду отрицать возможности новых чудес, так как именно такие беспокойные времена, преисполненные надежд и всяческих ожиданий, особенно пригодны для проявления божественной силы, скрывающейся в отдельных избранных людях.

Вы можете заключить из этого, что я, не смущаясь, стал искать знакомства с таинственным графом, находящимся в данную минуту в Париже. Он превзошел мои самые смелые ожидания. Я пришел к нему в поздний час, в гражданском платье и совершенно замаскированный. Но он, не колеблясь, встретил меня глубоким поклоном, как кардинала Рогана, еще раньше, чем я успел сказать слово, и так подробно описал мне мой характер, мои склонности и желания и даже самые сокровенные события из моего прошлого, что я сам, пожалуй, не решился бы сделать это. Таких доказательств его феноменальных способностей, конечно, было бы вполне достаточно, чтобы рассеять мои сомнения. Но то, что мне пришлось испытать, превратило меня уже окончательно в его последователя. Я встретил у него на следующее утро графиню Бетюн и разговаривал с нею так, как будто она никогда не была глухой. Я видел одного бедного парализованного нищего, который, по его повелению, стал ходить с легкостью юноши. Я видел одну слепую маленькую девочку, которой он дуновением своего рта раскрыл глаза. Когда же вечером его покинула толпа больных—их горячая благодарность была единственной наградой, которую он принимал,—то он удержал меня у себя.

При свете только голубоватого мерцающего пламени, горевшего без лампы и фитиля посреди его лаборатории, наполненной склянками и пахучими эссенциями, у нас произошла замечательная беседа о настоящем и будущем Франции. То, что он сказал, должно остаться тайной между нами. Меня глубоко потрясло это, и та роль, которую он предназначал мне в грядущих событиях, заставила меня

преисполниться такой горячей благодарностью к Богу, что я упал на колени и погрузился в молитву.

Треск искр вырвал меня из этого созерцательного настроения. Вся комната была наполнена сиянием. Я уже хотел броситься к окну, чтобы позвать на помощь, как услышал голос, грозный, точно голос архангела, который удержал меня. Передо мною стоял граф, и в то же время это был не он. Только что перед тем это был человек, едва достигший 50-ти-летнего возраста, теперь это был глубокий старик, возраст которого никто не мог бы определить. Коричневая кожа обтягивала его кости, глубоко в глазных впадинах блестели глаза, худые руки ловили раскаленный воздух, окружающий нас, и там, где они схватывали его, воздух стучался, превращаясь в красноватое золото, в сверкающие драгоценные камни. Уж не дурачил ли меня выходец ада? Я сорвал крест с моей груди и с заклинанием протянул его к графу... С благоговейным жестом он прижался к нему губами!..

Верьте мне маркиза. В момент самой величайшей нужды сам Бог послал Франции спасителя!

В течение моего пребывания я употребил все усилия, чтобы привлечь сторонников, которые разделяли бы мое убеждение. Но, к сожалению, яд неверия распространился точно эпидемия и не пощадил даже первых слуг государства и церкви.

Как говорил мне граф Шеврез, королева, повидимому, живо интересуется чудесами графа Калиостро. Когда же Шеврез рассказал ей, по моему настоянию, о том, что делает граф Калиостро, она всплеснула руками, как радующийся ребенок, и вскрикнула с блестящими глазами: «Он делает бриллианты!..»

К сожалению, мне все еще не удалось добиться личной аудиенции, от которой так много может зависеть. Влияние графини Полиньяк сильнее чем когда-либо. С истинно-адской хитростью она умеет извлекать выгоды из этого влияния для себя и своей семьи, а это означает, что она старается держать подальше всех Ротанов и их сторонников. Я надеялся, что буду иметь возможность, во время праздника по случаю открытия маленького театра в Триа-

ноне, тайком представить королеве графа, но зоркие глаза партии Полиньяк очень ловко помешали этому плану.

Как я жаждал, прекрасная маркиза, что вас не было с нами в этот волшебный вечер! Маленький, весь залитый золотом театр, снаружи похожий на храм, а внутри на будуар любви, без сомнения, представляет наиболее подходящую рамку для грациозной игры нашей прелестной королевы. Она изображала субретку, и вполне можно было поверить, что г. Водрейль, игравший роль любовника с неподдельным жаром, мог сойти с ума от неудовлетворенной страсти. Пьеса г. Седэна «Король и крестьянин», правда, немного непристойна и не очень остроумна, но очаровательная игра высокопоставленной актрисы заставляла прощать эти недостатки. Сияя гордостью, королева принимала овации изысканной публики. Новые китайские фонарики распространяли магический свет в темном ночном парке, и когда театр открыл свои двери, все высыпало в парк, и там искали в темноте друг друга — и находили.

«А в это время, на море, ставят на карту человеческую жизнь ради будущего Франции!» услышал я слова офицера, стоявшего возле меня, — одного из многих, все более и более забывающих в настоящее время, что верность монарху заключается в том, чтобы мы без всякой критики преклонялись перед его мероприятиями, даже если они неправильны!

Вскоре после того мне пришлось наткнуться еще на один пример господствующего теперь духа строптивости. Герцог Шартрский давал в честь своей остроумной приятельницы m-me Жанлис ночной праздник в парке Монсо, который должен был закончиться поездкой на гондолах, украшенных гирляндами. Но едва только эlegantное общество заняло свои места, как оказалось, что все гребцы были пьяны. Конечно, общество перепугалось, и все вскочили из гондол. В этот момент я слышу, как один какой-то ничтожный капитан высказывает нашему благородному хозяину следующее замечание: «Мы, французы, повидимому, всегда подвергаемся неприятным испытаниям на воде». — «Однако, посмотрите, какие прекрасные победы мы всетаки одерживаем!» возразил ему, смеясь.

герцог и указал на группу испуганных дам, которые, дрожа от страха, прижимались к кавалерам, раскрывшим им свои объятия. Неизбежный Лагарп не упустил, конечно, случая для поэтической импровизации, в которой прославлял м-те Жанлис как Венеру, а герцога как Марса, ну, а себя—разве только из чрезмерной скромности!—он не представил Адонисом!

Через несколько дней я возвращаюсь в Страсбург. Если граф Калиостро уступит моим настоятельным просьбам и поедет со мной, то я надеюсь,—не только для себя, но, в особенности, для вас, дорогая маркиза,—что мы будем свидетелями в высшей степени знаменательных вещей.

Маркиз Монжуа—Дельфине.

Страсбург, 15 сентября 1780 г.

Моя милая Дельфина! Ротан ничего не преувеличил. Я в высшей степени поражен тем, что видел, и считаю поэтому возможным питать очень большие надежды.

Мне незачем уверять вас, что мысль о том, что я могу вернуть свои физические силы и если не увеличить, то, во всяком случае, сохранить свое богатство, так тесно связана у меня с желанием не быть вам в тягость и окружить вас тем блеском, для которого вы созданы, что совершенно сливается с ним. Со времени великой трагедии нашего дома, когда вы упали, точно подкошенная, я только и думаю о том, как бы увидеть вас снова веселой. Ничто не могло бы доставить мне большей радости, чем возможность исполнять все ваши желания, и ничто так не огорчает меня теперь, как трудные финансовые обстоятельства, которые лишают меня этой возможности! Но от этой заботы избавляет меня граф Калиостро. Остается другая, более мучительная для меня: то, что вы не имеете никаких желаний! Я должен обращаться к прошлому и искать в нем то, что тогда интересовало вас. И вот я пригласил архитекторов и искусных садовников, чтобы усовершенствовать парк и павильон, и надеюсь, по крайней мере, что вы одобрите это.

Но у меня есть еще просьба к вам. Я задал графу очень

важный вопрос, могу ли я еще надеяться иметь наследника? Он утверждает, что может ответить на этот вопрос только тогда, когда увидит вас. Я прошу вас исполнить это желание, первое, с которым я к вам обращаюсь после стольких лет. Вы сами говорили, что я обращаюсь с вами как друг и отец. Докажите же мне теперь свою благодарность, в которой вы столько раз уверяли меня.

Кардинал-принц Роган—Дельфине.

Страсбург, 26 сентября 1780 г.

Забота о вас, дорогая маркиза, преследует меня даже в моих сновидениях. Дайте мне знать поскорее, как вы перенесли этот ужасный (к сожалению, ужасный по вашей вине) вечер? Как могли вы так внезапно прервать то состояние отрешения от всего окружающего, в котором находился граф, так что он свалился, как мертвый, на землю? Неужели мысль, что у вас еще может быть ребенок, так ужасна для вас, что она вызвала этот возглас крайнего отчаяния? Или вы не хотите признавать больше супружеских обязанностей—обязанностей, которые под влиянием разлагающей антихристианской морали тоже выброшены теперь в мусорную кучу прошлого?

С величественной улыбкой на устах, в полном сознании своего превосходства, граф не стал останавливаться на этом волнующем эпизоде. Когда же он потом, при магическом свете мерцающего пламени, заставил падать капли жидкого золота из вашего собственного кольца и сверкающие драгоценные камни из вашего собственного ожерелья, а мы с маркизом с благоговейным удивлением взирали на это чудо, то вы опять вскочили и схватили пламя, так что ваша белая рука покрылась красными ожогами. И зачем же вы тогда бросили слово: «обманщик!» в лицо человеку, который может сделаться нашим всеобщим благодетелем?!

Когда я сегодня утром поздоровался с графом—его вид убедил меня на этот раз более, чем его слова, что он достиг возраста Монсея.—то он заговорил о вас с выражением самого теплого сочувствия. Мы все желаем вам только добра, моя красавица, и я надеюсь, что вы примете меня и

графа, если мы явимся к вам в течение этого дня. Не забудьте, что ваш отказ лишит вашего супруга помощи человека, от которого он ожидает так много.

Граф Калиостро—Дельфине.

Госпожа маркиза! Вы не хотите меня принять? Повидимому, вам неизвестно, что все, что относится ко мне, не зависит от воли какого-нибудь смертного.

Маркиз без меня разорен, а вы—его пленница на всю жизнь.

В замке Фроберг мы увидимся снова.

Граф Гибер—Дельфине.

Париж, 15 декабря 1780 г.

Дорогая маркиза! Ваше известие не заключает для меня ничего нового. Весь Париж наполнен славой Калиостро, которого одни считают ловким фокусником, другие же—волшебником. Что кардинал Роган подпал под его влияние, а маркиз Монжуа устроил в Страсбурге лабораторию, чтобы научиться у таинственного чужестранца искусству делать золото, об этом говорят теперь во всех салонах, и Калиостро может быть уверен, что при помощи этой славы, которая предшествует ему, он завоюет Париж. Такое общество, которое устремляется к м-ме Бонтап, чтобы погадать на кофейной гуще, и предпочитает умным разговорам сеансы с сомнамбулами, конечно вполне созрело для подобного пророка. Стали ли бы наши философы так стараться разрушать веру, если бы они знали, что таким путем они только расчищают дорогу суеверию? Чем больше растет страх перед действительностью, тем больше трусливых людей убегают в царство фантастических снов!

Вы, вероятно, читали уже о неуспехе моей трагедии «Смерть Кая Гракха?» Серьезность испугала публику. Наша публика переносит насмешку, даже сатиру, сама смеется над собой и над нашими политическими условиями, хотя бы эти насмешки и преподносились ей в форме самых едких карикатур, но она никогда не поймет, что комедия, в сущности, не что иное, как трагедия.

Неккер, повидимому, истощил все средства своей мудрости, но не желает открыто признаться в этом. Правда, Ленгэ, не перестающий в своем журнале осмеивать все мероприятия генерального контролера, теперь попал в Бастилию, где ему дана возможность искупить свои литературные грехи. Но каждому известно—и лучше всего это известно самому мне,—что при дворе с большим удовольствием читают его едкие сатиры. Я вовсе не сторонник Неккера, с его деревянной неподвижностью, а еще менее сторонник Ленгэ, умеющего, с его полною беспринципностью ослеплять только таких людей, которые совершенно отвыкли от дневного света, но я все-таки не могу не признать, что кто бы ни явился преемником Неккера, в случае его отставки, он, наверное, окажется еще менее способным спасти Францию от разорения.

Разве это не признаки серьезного упадка, что я пишу прелестнейшей из маркиз, как будто бы она была старым дипломатом? В самом деле, француз в своих клубах и кофейнях разучился разговаривать с хорошенькими женщинами. Искусство разговора заменяется теперь дурным стилем газет или же грубым жаргоном гризеток.

Служба заставляет меня отправиться в скором времени в Эльзас. Вы будете иметь право похвалиться тем, что духовно спасли жизнь человека, если дадите мне приют на несколько дней. Одна только надежда увидеть вас и почтительно поднести к губам вашу маленькую ручку разгоняет мое унылое настроение. Забывать о настоящем, когда им наслаждаешься, это, в конце концов, лучшая философия.

Граф Гибер—Дельфине.

Париж, 20 марта 1781 г.

Дорогая Дельфина! Как я завидую Адаму! Правда, он, подобно мне, был изгнан из рая, но простетивши некоторого времени, которое было безвременным и потому было таким же долгим, как вечность, и таким же коротким, как мгновение ока!—но он все же вкусил запрещенного плода!

Разве я не служим вам верно целые недели? Я даже

постарался преодолеть ужас, который внушал мне ваш страшный гость, чтобы помочь вам в борьбе с этим гигантским пауком, который невидимо плетет вокруг вас свою паутину?

Разве я не играл роль главного садовника при разбивке аллей в вашем новом парке и роль архитектора при постройке вашего павильона, при чем, конечно, я питал сладкую надежду, что эти гроты и беседки, эта розовато-золотистая раковина Венеры доставят мне нечто большее, чем простое художественное наслаждение?

Наше столетие представляет корабль, богато нагруженный самыми драгоценными товарами, плывущий в неведомую часть света, чтобы там под ударами урагана разбиться о ее скалы. Но пусть погибнут все богатства, лишь бы удалось спасти то, что расцвело у нас таким пышным цветом—искусство любви! А вы, прирожденная хранительница этого искусства, хотите уже теперь изменить ему? Разве это не значит предоставить будущее варварам? Не должны ли мы, дети умирающей эпохи, пользоваться каждою возможностью счастья, чтобы эта эпоха закатилась, окруженная ярким сиянием вечерней зари, а не под холодным дождем с хмурого неба?

О, это, конечно, очень горько для графа Гибера, что он должен заменять любовь философствованием о любви! Я бы совершенно отказался от этого, я бы ни за что не исполнил вашего желания и не стал бы разговаривать с вами о литературе и политике, вместо того, чтобы говорить о чувствах, если бы ваши блестящие глаза, пунцовые губки, ваши маленькие беленькие ручки, весь ваш очаровательный, изящно кокетливый образ не убедили бы меня, что вы ничего общего не имеете с политиканствующими дамами Пале-Рояля. Такие вещи не могут быть жизненным интересом для Дельфины Монжуа. Они служат ей только для того, чтобы развить ее ум, углубить ее чувства, словом, служат для нее таким же украшением, как цветы и ленты, шелковые ткани и драгоценности, которые усиливают обаяние ее наружности.

Только в этом смысле я и подчиняюсь своей роли простого хроникера.

Об отчете Неккера, который находится теперь в руках у всех, вряд ли стоит вам говорить. Он таков, какого и можно было ожидать от этого человека, обладающего умом, но не величием души. Это просто ловкое укрывание фактов, отклонение недовольства за расстройство финансов, на головы немногих соучастников. Впрочем, народ или, вернее, те классы, которые любят себя называть народом теперь: адвокаты, газетные писаки, лавочники и выброшенные из своего класса аристократы,—ликует, а парламентские советники, интенданты и генеральные откупщики, которым Неккер высказывает некоторую правду в глаза, конечно, очень возмущены этим. Вероятно, еще раз будет доказано, что в политике имеет перевес не мнение большинства, а сила денег, тем более, что королеве надоела экономия. Все это должно неминуемо вызвать падение Неккера, если только Калиостро не поторопится научить королеву делать золото.

Замечаете, мои мысли, несмотря на мою волю, все же постоянно возвращаются к этому «мастеру». Никто не может относиться к нему более недоверчиво и враждебно, чем я, особенно с тех пор, как я видел, что он превратил маркиза и кардинала в простое орудие своей воли, а вас, заставил так сильно страдать. Все же я не могу так просто об'явить его искусным обманщиком: он рассказал мне такие вещи из моего прошлого, которые известны только мне одному. Он сделал такие пророческие предсказания, которые нельзя, не долго думая, зачислить в рубрику снов, сбывающихся в действительности. Он затронул в моей душе такие струны, которые я считал раньше простыми остатками детского духовного понимания, и которые, как мне казалось, давно уже были разрушены Вольтером и Гольбахом.

Помните, как в последний вечер моего пребывания у вас, я пробовал шутить у павильона над этим «делателем золота», чтобы прогнать ваш страх. Сверкающее небо было совершенно безоблачно и пурпурный солнечный диск склонился к закату. Вдруг длинная черная тень упала на луг и потянулась к пруду. Лебеди захлопали крыльями, вы, дрожа, закутали в белый платок свои плечи...

Калиостро прошел мимо!
Я хотел только внушить вам осторожность в Париже,
дорогая маркиза!

Маркиз Монжуа—Дельфине.

Париж, 25 мая 1781 г.

Дорогая Дельфина! Не успел я приехать сюда, как уже произошло событие огромной важности. Как раз, как это предсказывал Калиостро. Вот новое доказательство, которое не может не произвести на вас соответствующего впечатления.

Неккер получил отставку, после того, как весь мир ожидал, что, в благодарность за свой изумительный труд, доставивший государственной казне прибыль в десять миллионов, он, по крайней мере, получит повышение и будет назначен министром.

Вы знаете, что я всегда видел в нем женевского банкира, но тем не менее, я питал к нему большое и—как теперь оказывается—вполне основательное доверие. К сожалению, он был слишком умен для наших финансистов и генеральных откупщиков, которые тем больше приобретают значения, чем больше усваивают себе наше образование и присваивают себе наши поместья и наши богатства, стараясь этим ввести в заблуждение и самого короля. В действительности, это они вызвали отставку Неккера. И как велико должно быть их влияние, если им удалось добиться этого!

Я был в городе в воскресенье, когда распространилось это известие. Все были чрезвычайно огорчены этим фактом. Бульвары, кафе наполнились в один момент народом, но повсюду господствовала какая-то тревожная тишина. Бросали друг на друга многозначительные взгляды и жали друг другу руки, как будто угрожала всеобщая катастрофа. Тотчас же, в следующие дни, произошло настоящее переселение народов в Сен-Кан, куда немедленно удалился Неккер со своей семьей. Герцоги Орлеанский и Шартрский, Шуазель и Ришелье, даже парижский архиепископ были в числе посетителей Неккера, и все увидели

в этом открытую демонстрацию против короля, которой массы любопытного народа горячо аплодировали.

Вечером во Французской Комедии произошли бурные сцены. Давалась пьеса: «Охота Генриха IV», и вот, при словах герцога Бельгарда: «Говорите с уважением о таком великом министре!»—публика разразилась неистовыми криками браво, а когда Генрих IV воскликнул: «Жестокие! Как могли они так обманывать меня относительно этого человека!..» то в публике раздалось рыдания.

В опере еще более бурные сцены были вызваны одним кавалером, который слишком громко высказал свое удовольствие по поводу ухода Неккера. А Бурбулон, издавший брошюру, в которой обвиняет генерального контролера в подлоге, вследствие опубликованного им отчета, не может теперь показаться на улице без того, чтобы не подвергнуться оскорблениям. «Теперь Франция погибла!»—слышал я, как говорили друг другу на улицах простые люди, со слезами на глазах.

Не могу отрицать, что и я бы чувствовал то же самое, если бы в последнее время я не считал себя в праве питать новые надежды, которые—о чем я глубоко сожалею!—вы не разделяли со мной. Сент-Джемс был немало изумлен, когда я объявил, что беру часть своего капитала. Он предостерегал меня от обманщиков, из чего я заключил, что мои сношения с Калностро не остались неизвестными. Но, верный своему обещанию, я не намекнул ни одним словом на то, что уже много раз видел собственными глазами, то-есть, что лундор, в пламени таинственного огня, удваивается и утраивается! Во время моего визита к Сент-Джемсу я исполнил и ваше желание и вынул ваш маленький капитал из дела. Я надеюсь, что вы превратите его в пару серег для ваших розовых ушек или в цепочку для вашей беленькой шейки—иначе мне был бы непонятен такой каприз хорошенькой маркизы! Почти такую же сумму я уже истратил для вас. Кружева, шелковые материи, шляпки и чепчики для вашей очаровательной головки и прелестная малевкая мебель для вашего павильона,—который служит для вас золотой рамкой—все это отправляется сегодня в Фроберг.

Подумаете ли вы когда-нибудь о том, чтобы нарядиться

для меня, дорогая Дельфина? У вас нет любовника, и хотя я только супруг, но мне кажется, что я могу утверждать это. Так не попробуете ли вы, ради опыта, полюбить меня? Я женился на вас, потому что вы привели меня в восторг, и ваша юная красота льстила моему тщеславию. Но теперь, Дельфина, я добиваюсь вас, потому что я вас люблю! Я не могу играть роль сентиментального поклонника. Я даже не могу стараться повлиять на вас трогательной историей моей супружеской верности. Верность—это буржуазная добродетель, отзывающаяся барщиной. Но я сделаю то, чего не мог сделать никто другой—положу к вашим ногам все великолепие мира!

Маркиз Монжуа—Дельфине.

Париж, 3 июля 1781 г.

Дорогая моя! Известие о вашем отъезде в Спа и ваше намерение, по окончании пребывания в курорте, поехать на продолжительное время к вашей подруге Клариссе—дружба, о которой вы только теперь почему-то захотели вспомнить!—все это служит вполне ясным ответом на мое последнее письмо.

Я могу ждать! Мой учитель сказал мне, во время нашего последнего сеанса: «Она вернется!» Я верю ему. Отдыхайте, выздоравливайте, веселитесь, и пусть мужчины томятся у ваших ног. Я ничего не имею против этого, потому что вы вернетесь!

Граф Гюи Шеврез—Дельфине.

Версаль, 18 июля 1781 г.

Только что получил известие от моей сестры, что вы, дорогая маркиза, наконец-то, согласились приехать в Шато-Лароз. Сестра моя в восторге, а я еще больше, и мое любопытство не знает никаких границ, так как маркиза Дельфина—загадка, заставляющая постоянно ломать себе голову человека, который полагал, что женщина уже не представляет для него никакой тайны.

«Маркиза Монжуа сделалась монахиней», сообщила мне год назад маленькая Ламбаль со своею небесной

улыбкой. Я испугался. И моя фантазия тотчас же начала работать и нарисовала мне восхитительную картину похищения из монастыря.

«Прелестная Дельфина сделалась последовательницей графа Калиостро», с удивлением рассказывал несколько месяцев спустя барон Вурмзер. Как будто вам нужно было учиться волшебству, чтобы быть обворожительной. Я был возмущен и принял твердое решение разоблачить этого колдуна и отнять у него его жертву.

«Знаете ли, кто единственный любовник маркизы Монжуа?» — смеялся Водрейль в Страсбурге прошлой зимой. — «Это маркиз Монжуа!» Я пришел в полное отчаяние, потому что тогда вы были для меня окончательно потеряны.

А теперь я узнаю о вашем придворном штате в Спа, к которому маркиз не принадлежит, — я вижу его в свите Калиостро в Париже, — и о вашем предстоящем приезде в Лароз!

В Версале все замерло с тех пор, как положение королевы вынуждает нас к добродетели. Но даже если бы Версаль блистал, как прежде, даже если бы все мраморные богини в его садах внезапно ожили, чтобы заключить меня в свои объятия, — Лароз, где находится Дельфина, показался бы мне раем на земле, — конечно, если он населен не архангелами и святыми, а гуриями и грациями.

Я незадолго до вас приеду в Лароз, не только для того, чтоб иметь счастье вынести прелестную Дельфину из экипажа, но чтобы первому рассказать вам о новом общественном событии в Париже — открытии отеля «Дервилье», в улице Шантерен, представляющем мастерское произведение Белянже. Его хозяйкой будет самая молодая и самая прекрасная служительница Терпсихоры, благодаря милостям принца Субиза, и я горжусь тем, что открыл ее. Что она красива — это вы мне поверите, маркиза, так как разве может тот, кто знает вас, иметь другой масштаб, кроме вашей красоты? В пользу ума этой малютки говорит следующий анекдот: «Один молодой человек добивался ее благосклонности. Она его отвергла. Он явился опять и, наконец, написал ей умоляющее письмо: «Подарите мне вашу благосклонность, хоть как

милостыню!» Она отвечала ему запиской на розовой бумаге: «Очень сожалею, милостивый государь, но у меня уже есть мои бедные»...

Согласитесь, прекрасная маркиза, что Гюи Шеврез, благодаря тому, что он воспитан вашей красотой, не изменил своему хорошему вкусу.

Чем больше ломают себе голову ученые над открытием новых чудес химии и физики и в жертву своему бессмертию приносят все наслаждения доступные смертным, тем больше считаю я своим долгом открыть человечеству, сделавшемуся вдруг ужасно серьезным, новые источники радостей, хотя бы благодарность мне за это заключалась только в *jus primaе noctis*. Это латинские слова, моя красавица, и ими исчерпываются все мои познания в классическом языке. Я узнал их от Бомарше — он придет в Лароз и будет моим самым опасным соперником! — прошу вас заставить его об'яснить вам эту фразу.

Впрочем, в числе гостей будет еще одна воспитанница аббатства О'Буа: принцесса Генен. Не будет, следовательно, недостатка в доказательствах, что вопреки Руссо и его последовательнице м-ме д'Эпинз, проповедующих свободное воспитание детей в близости к природе, лучшим воспитанием всетаки остается воспитание монастырское. Оно дало нам самых очаровательных, самых свободных от предрассудков и самых достойных любви женщин. Принцесса сумела с бесподобной грацией отнестись к связи своего мужа с м-ме Арну. Когда одна добродетельная особа из салона Неккер вздумала было пожалеть ее, она сказала, пожимая плечами: «Что вы хотите? Мне антипатичны мужчины, которые ничего не делают. По крайней мере, теперь у принца есть занятие». — «Разве у него нет другого занятия?» язвительно заметила добродетельная особа. «Во всяком случае, не у меня!» возразила, смеясь, принцесса.

Я хватаюсь поскорее за сургуч и печать, так как боюсь, что израсходую все свое остроумие еще до нашей встречи. А мне хотелось бы, прелестная маркиза, привезти его с собой в Лароз хорошо упакованным, как лучистый сверток, и предстать перед вами, моя очаровательница, в блестящем ореоле этих лучей.

Бомарше—Дельфине.

Париж, 11 октября 1781 г.

Кто сменяет Лароз на Париж, тот гораздо больше похож на колодника, чем если бы даже он сменил свободу столицы на цепи Бастилии. Я сижу перед письменным столом, вместо того, чтобы сидеть перед прекраснейшей женщиной Франции. Я смотрю сквозь грязные стекла на стены домов, вместо того, чтобы смотреть сквозь зеленую листву на голубое небо и — величайший из всех ужасов! — я читаю проказы Фигаро горсти безмозглых комедиантов, вместо того, чтобы читать их изысканному парижскому обществу. У меня еще звучит в ушах ваш жемчужный смех и, как резкий диссонанс, врывается в него критика высокообразованных коллег, которые сами не в состоянии ничего сделать лучше, но убеждены, что все знают лучше!

Есть между ними люди — в роде Демуана, сплетавшего венки добродетелям Дюбарри и так долго уверявшего Людовика XVI, что он гений, пока тот сам не поверил этому, — которые перед моими комедиями, дрожат за благополучие государства и добрые нравы парижан. Но я утешаю себя: ведь все, отточившие свои перья, как меч, должны были переносить упреки в том, что они создавали опасность тогда как, в сущности, они имели только мужество раскрывать то, что уже существовало. Тревожные опасения литературных карьеристов только подтверждают мне, что моя пьеса хороша, а горячее одобрение, которое она встретила у старого канцлера Морепана, во время чтения ее в обществе почтенных князей церкви, заставило меня еще более убедиться, что Фигаро совершенно прав, ударяя по альмавивам плетью шута. Не согласны ли вы, что даже простой цырюльник самого темного происхождения имеет право презирать общество, которое находит только комичной проказу, развещающую его?

Вы правы, умнейшая из всех маркиз! Бомарше и Фигаро составляют одно и то же. «Здесь господин, а там батрак, — как повезет счастье». И я подразумеваю всех та-

ких Морепа — для которых Франция существует только, чтоб они могли быть министрами, и всех Роганов, — которые запрещают мне издание сочинений Вольтера и думают этим уничтожить Вольтера, — когда заставляю Фигаро говорить Альмавиве: «Вы думаете, что вы великий гений, оттого что вы важный господин? Аристократическое происхождение, богатство, ранг и сан, — все это делает гордым. Но что вы-то сами сделали, чтобы заслужить такое великолепие? Вы только потрудились родиться! В общем такой заурядный человек, как я, затерянный в темных массах, рожден только для того, чтобы пробиться, — потратить больше ума и знаний, чем это нужно было в последние сто лет для управления государством».

Но вы не правы, когда говорите: «Фигаро никогда не попадет на сцену». Он попадет на нее, маркиза, попадет! Я уже подсунул в руки m-me Кампан копию моей комедии, и она прочла ее королю и королеве. «Это отвратительно. Это неприлично! — повторял Людовик XVI. — Эта вещь не будет поставлена на сцене!» объявил он со всем авторитетом абсолютного монарха. Разве же это не колоссальный успех, не вернейшая гарантия, что пьеса будет представлена? Король не хочет, чтобы «Свадьба Фигаро», была поставлена, а я клянусь, что она будет поставлена, если бы даже пришлось играть ее на хорах в Notre-Dame!

Прихожая уже желает перейти в салон, маркиза, и Фигаро с этой целью распакивает двери.

Вы мне не верите? Вы указываете мне на то, какой восторг вызвало рождение дофина, как «народ» кричал ура, и как этот «народ» носит теперь инициалы новорожденного в виде брошек и булавок. Но что же представляет этот «народ»? С одной стороны, это горсть блаженных детей, живущих в сказочном мире и готовых видеть в каждом маленьком принце освободителя заколдованных принцесс, с другой — это стадо кровожадных хищных зверей, которые с такой же жадностью растерзают голубя, как и дикую кошку.

Не желаете ли еще немного парижского рагу? Кали-остро делает блестящие дела. Правда же, он великий вос-

питатель, потому что он доказывает, что надо обладать только наглостью и выдавать осколки стекла за драгоценные камни, чтобы заставить всех глупцов—то-есть большинство—поверить, что это, действительно, драгоценные камни.

Открытие китайского маскарада произошло в присутствии лучшего общества. Это варьетэ, где поются песни уличных девок, а рассказываются истории бродяг, следовательно, это — воспитательное заведение, которое должно будет занять место в театрах для «народа». Пресыщенные, как известно, всегда возвращаются к свиному салу, как к самому изысканному блюду.

Муза Ретиф де ля Бретонна снова произвела на свет жалкий плод. Для семимесячного ребенка этот младенец обладает чрезвычайно большой живостью и к тому же такую естественностью!.. Если его старшие братья и сестры являлись совершенно обнаженными, даже без фигового листка, то он, самый младший, уже не считает нужным скрывать даже своих самых примитивных отклонений! Успех его, само собою разумеется, громаден. Не служит ли это доказательством нашей дряхлости, в конце концов? Такого рода выставление на показ действует всегда только на людей, лишившихся способности к деторождению.

Впрочем, у Ретифа есть теперь опасный конкурент в лице шевалье де Лакло. Его *Liaisons dangereuses* изящная книжечка, и если Ретиф — это Руссо сточных канав, то Лакло будет Ретифом хорошего общества.

Из старых друзей почтенный Лагарп выступил с полным собранием своих сочинений. Прежде это предоставляли потомству, и если меня удивляло, что Лагарп имеет мужество так откровенно раскрыть всю свою карьеру—от восторженного сторонника Вольтера вплоть до друга Марии-Антуанетты, — то еще более я поражен теперь его самомнением. Он делает то, что, разумеется, никто не подумает сделать после его смерти. Шамфор язвительно сказал про него, что он такой человек, который пользуется своими ошибками, чтобы скрывать свои пороки.

Герцог Шартрский приказал вырубить большую аллею Пале-Рояля, чтобы заменить ее аркадами. С тех пор,

как спекулянты живут как принцы, нельзя пенять на принцев, что они становятся спекулянтами!

М-те Жанлис также решила взять в свои руки форму воспитания, — разумеется, только в том смысле, что она написала об этом книгу. Разве не страшно трогательно такое рвение спасать детей от дурного воспитания, как раз теперь, когда их родителям нечего есть?

Вы видите, какое изобилие удивительных событий! Приезжайте же скорее, чтобы не пропустить слишком многого, а главное — не пропустить победы Фигаро.

Барон Фердинанд Вурмзёр—Дельфине.

Париж, 10 февраля 1782 г.

Уважаемая кузина! Если я только теперь, наконец, собрался написать вам, то вы должны простить это человеку, который вернулся в Париж после десятилетнего отсутствия и думает на каждом шагу, что все это он видит во сне.

Какое превращение! Я поражен до такой степени, что сам не знаю, должен ли я радостно приветствовать его или с ужасом отступить. Ошеломляющее впечатление, которое я вынес из всего, я могу выразить в двух словах: народ об'явился!

Оттого ли, что мы прежде, верхом или в карете, быстро проезжали по улицам мимо него, или же он, в самом деле, не решался выходить из своих логовищ — я не знаю, — но, во всяком случае, мы только теперь видим народ. Он ходит по тем же дорогам, по которым ходим и мы, и не уступает нам места; он кричит и шумит в общественных местах и громким голосом говорит о свободе демократии и о республике там, где он прежде осмеливался только раскрывать рот, чтобы кричать: «Да здравствует король!» Но самое удивительное пришлось мне пережить вчера.

Распространился слух о прибытии Лафайета. В Версале еще ничего не было известно об этом, как уже парижские уличные мальчишки кричали: «Да здравствует Лафайет!» Я был с самого раннего утра в Пале-Рояле, где уже близится к концу постройка аркад, которыми

герцог заменил вырубленную большую аллею, и где, по-видимому, будет сборный пункт умственной жизни Парижа. Кругом раздавались воодушевленные разговоры о прибытии ожидаемых героев, об окончательном освобождении Америки и о решительной победе при Иорктауне.

«Маяком свободы был пожар города!» крикнул какой-то человек, будто бы находившийся там в это время. «Скоро загорится и у нас!» воскликнул другой. «И из феодальных прав и эдиктов о налогах воздвигнем мы костер монархии!» радовался третий, горбатый человек с изможденным лицом Савонаролы. И все аплодировали.

Крик: «Лафайет!», как будто раздавшийся сверху, покрыл шум. На мгновение воцарилась глубокая тишина, и затем толпа ринулась ко входу, а через минуту я уже увидел человека в военной форме, которого несли сильные руки, высоко подняв над головами. Шапки взлетали на воздух, колыхались носовые платки, — все белые флаги. Когда же, наконец, маркиза снова спустили на землю, то тысячи рук протянулись к нему. И широкие грязные лапы крепко пожимали его узкую, аристократическую руку.

Все возмутилось во мне при виде этого прикосновения. Я старался протиснуться через толпу, чтобы выйти. Тогда мой взор упал на другого человека в военной форме, сидевшего рядом с Лафайетом. Мне был хорошо знаком этот резко очерченный профиль, эти глаза стального цвета и светлые, белокурые волосы. «Фридрих-Евгений»! Изумление исторгло у меня этот возглас. Но он не слышал его. Он разговаривал — почти дружески, как мне это показалось — с горбуном, и его загорелые щеки окрасились легким румянцем, а на тонких губах появилась улыбка. Он радовался этой встрече!..

Я не в состоянии был приветствовать старого друга и поэтому локтями проложил себе дорогу в толпе, чтобы выйти на свободу.

Когда я, после того, беспечно бегал по улицам, то случайность — или судьба? — привела меня к дому Калиostro. Я невольно вздрогнул и взглянул наверх. Учитель стоял у открытого окна. Какая-то дьявольская улыбка, которую я никогда раньше не замечал у него,

искажала его черты. Он сделал мне знак своей большой желтой рукой и позвал меня каким-то необыкновенно скрипучим голосом: «Сегодня очень резкий воздух, не правда ли, г. барон? Отправляйтесь-ка вы домой, для нежной кожи это вредно!..» И, громко засмеявшись, он с шумом захлопнул окно.

Я стоял, точно прикованный к месту, и вдруг увидел маркиза, вашего супруга, выходящего из ворот. Он шел медленно, сильно сгорбившись, и его плечи вздрагивали, как будто ему было холодно в его толстом черном плаще. Встревоженный, я хотел заговорить с ним. Но взгляд его был устремлен мимо меня, в пустоту.

Это был очень скверный день, дорогая кузина, и всего приятнее было бы для меня снова упаковать свои сундуки и как можно скорее вернуться назад. Россия представляется мне теперь точно тихая, окруженная скалами бухта, в темных водах которой, правда никогда не отражается солнце, но зато и буря никогда не вздымает их.

Но предстоящий приезд великого князя удерживает меня здесь, и я надеюсь, что многочисленные празднества и приемы, которыми будет сопровождаться его пребывание здесь, рассеют впечатление от дурных снов.

Граф Гюи Шеврез—Дельфине.

Версаль, 15 марта 1782 г.

Высокоуважаемая маркиза! По требованию моей высочайшей повелительницы, ее величества королевы, я имею честь почтительнейше изложить вам высочайшее желание.

Его императорское высочество, великий князь Павел и его супруга великая княгиня Мария Феодоровна, урожденная принцесса Монбельяр, предполагают в мае посетить французский двор, и ее величество королева желает употребить все усилия, чтобы сделать как можно более приятным их высочествам пребывание в Версале. Поэтому она просит вас, как подругу юности ее императорского высочества, приехать в будущем месяце в Вер-

саль и принять предлагаемое вам дружеское гостеприимство двора.

Эти строки, прекрасная Дельфина, написаны пером, повинующимся высшей воле, но теперь выступает на сцену сам Гюи Шеврез, чтобы лично выразить свое удовольствие по поводу того, что даже самая любезная просьба королевы является приказанием, хотя бы для самой гордой из всех маркиз, и у вас, таким образом, — как я уже осторожно предупредил вас — отнимается всякое основание к непослушанию королеве. Я сам убедился в Ларозе, что вы вовсе не расположены надеть покрывало монахини и, вместо четок, которые перебирают руки благочестивой монахини, я видел на ваших ручках напизанные мужские сердца, которыми вы жестоко играете. И всегда, как только я начинал надеяться, что вы удержите мое сердце, вы пропускали другое сквозь свои беленькие пальчики. Я знаю также, что вы в Страсбурге не находитесь на высоте новейшей моды и не соглашаетесь разыгрывать супружеских голубков, знаю также, что вы не принадлежите к приверженцам Калиостро, уже потому, что к ним принадлежит маркиз. Я встретил его вчера в ложе grosмейстера, где самые очаровательные дамы и самые знатные кавалеры, дрожа от страха и восторга, ждут, когда этот новоявленный жрец Изиды откроет им свои тайны.

Что же заставило меня идти к нему? Страсть игрока. Его плавильная печь — это игра в кости и карты; она создает и поглощает целые состояния. Затем — любопытство. В том мире, которым мы, казалось, насладились до конца, оккультные науки являются новой, неизведанной сенсацией. Кроме того, жрец, который делает золото, может обратить даже самых отъявленных еретиков, тем более, что страсбургский кардинал и сам придворный духовник благословляют на это.

Можно было бы думать, что Калиостро тайный агент Кондорсе и Мирабо. Он одурманивает своим колдовством их противников, обвораживает умы, усыпляет недоверие и отвлекает воображение от обыденных фактов общественной жизни. Как вы думаете, нашелся ли бы кто-нибудь в Париже, чтобы волноваться по поводу осады Гибралтара,

если бы каждый мужчина мог делать золото, а каждая женщина обладала бы эликсиром вечной молодости?

В Трианоне мы уже заняты приготовлениями к очаровательным представлениям, которые будут даны в честь высоких гостей. Калонн, унаследовавший вместе с финансами Франции и угрюмость всех своих предшественников — точно какой-нибудь франт, теряющий все свое остроумие, когда начинает подсчитывать свои долги, — сказал недавно королеве с мрачным видом: «Вы танцуете на вулкане, ваше величество!» — «Если только на нем можно танцевать и если паркет достаточно гладок, — отвечала она, со смехом, — что мне за дело до того, что там, внизу, скрывается!» И, напевая романс Керубина, она пошла навстречу к королю, который всегда сердито нахмуривает лоб, как только слышит звуки запрещенной песни.

Я же все еще думал, с приятной дрожью, о вулкане. Мне представляется гораздо более привлекательным взлететь на воздух, вместе с фейерверком, нежели боязливо оглядываясь сползать в долину...

А что вы об этом думаете, прекрасная женщина?



ПРИНЦ.

Принц Фридрих-Евгений Монбельяр—Дельфине.

Версаль, 12 апреля 1782 г.

Дорогая маркиза! В тот момент, когда я снова коснулся ногой почвы Франции, и годы, отделявшие то, что было, от того, что есть, как будто исчезли совсем, мне показалось, что я должен прежде всего встретить вас, и что новая жизнь может начаться только тогда, когда снова засияет звезда, светившая мне в моей ранней юности. Только когда добряк Гальяр, который, правда, не видит вас больше, но никогда не терял вас из вида, рассказал мне о вас и вашем ребенке, и когда я в первый раз увидел вас в версальском замке и вы поклонились мне, как кланяется каждому постороннему, я понял, что не одни только годы, но и судьбы людей отделяют прошлое от настоящего.

Если вы, привыкшая к жизни большого света, наполняющей душу шумом и развлечениями, в состоянии отнестись ко мне, как к совершенно постороннему человеку, во время предстоящих нам по необходимости ежедневных встреч, когда придет сюда моя сестра, то я, Дельфина, научившийся в степях и девственных лесах Америки больше думать, чем говорить, и больше чувствовать, чем рассуждать, я совершенно этого не могу!

Одно из двух: или мы позабудем то, что нас разделило, и протянем друг другу руки, как взрослые люди, научившиеся смеяться над детскими глупостями, или я уйду! Я тяжело оскорбил вас, я это знаю! Но я так же тяжело и страдал из-за вас. Поэтому простите меня, если я был не прав. Я хочу вырвать из своего сердца острое жало, которое все еще терзает меня.

Я не жду от вас никакого письменного ответа. Вы не должны садиться за письменный стол, побуждаемая к этому какими-нибудь внешними влияниями. Я не хочу получить от вас такую записку, из которой я не увижу, была ли она вызвана чувством или только вежливостью. Сегодня мы увидимся в академии. Один ваш взгляд скажет мне больше, чем могли бы сказать слова.

Принц Фридрих-Евгений Монбельяр—Дельфине.

Версаль, 13 апреля 1782 г.

То, что я не осмелился высказать вчера, потому что боялся, что так долго подавляемый поток моих чувств может слишком бурно прорваться наружу, я должен сказать вам сегодня! Благодарю вас за ваш взгляд, за ваше пожатие руки. Благодарю вас за то, что вы живете, за то, что я смею вас видеть!

Когда Кондорсе начал говорить, я все еще был настолько взволнован вашей добротой, дорогая Дельфина, что долго не мог следить за речью, несмотря на весь мой интерес к личности оратора. Я стоял в оконной нише и видел перед собой только вас! Слова долетали до моих ушей, но в них звучал только ваш нежный голос!

Только постепенно пришел я в себя и начал слушать. Как часто там, на чужбине, я мечтал о том, чтоб услышать одного из передовых умов Франции! Теперь он стоял передо мной. Темой его речи был восемнадцатый век, и я думал, что он будет восхвалять свободу, ради которой мы так проливали свою кровь.

«Молодой человек, выходящий из наших школ в настоящее время, имеет больше знаний, чем величайшие гении древности», сказал он. Ему аплодировали и в особенности громко аплодировали молодые люди, точно восхваляя этим самих себя.

В тихой палатке, у лагерного огня, по ту сторону океана, нашим единственным чтением, подкрепляющим нас, как подкрепляет Библия добрых христиан, был Плу-тарх. Разве мы, действительно, превзошли силой и добродетелью героев древности, потому что мы знаем законы

тиготения, или потому, что мы знаем, что земля вертится вокруг солнца? Я не додумал еще до конца эту мысль, когда услышал слова Кондорсе: «Каждый год, каждый месяц, каждый день одинаково отмечаются новыми открытиями, новыми изобретениями». Однако, я не нашел, что это делало Францию богаче и счастливее. Придильная машина служит для привлечения на фабрики бедных женщин, где их ожидает тяжелый рабский труд. Электричество служит для забавы праздных людей, знаменитая летательная машина Бланшара не что иное, как новое искусство плясать на канате.

С пафосом заключил свою речь оратор, и голос его melodически звучал, то усиливаясь, то затихая, как будто на трибуне стоял не Кондорсе, знаменитый ученый, а комический актер Ле-Кен. «Как свидетели последних усилий невежества и заблуждения,—говорил он,—мы видим теперь, что разум вышел победителем из этой трудной и долгой борьбы, и, наконец, можем провозгласить: Истина победила! Разум спасен!..».

«Калиостро!»—крикнул кто-то в ответ, и шпага, ударившаяся о пол, громко зазвенела. Вы оглянулись с испугом. Вы поняли, что только такой одичавший человек, как я, мог так неприлично вести себя!

Уверяю вас, что возмущение до сих пор еще сдавливает мне горло. После трех лет отсутствия, я возвращаюсь и вижу: разорение стоит у дверей Франции, тревога за существование написана на лице у каждого. Одни в безумном страхе бросаются в руки чужеземного обманщика, а другие выражают свой гнев только в речах да в газетных статьях. И в довершение, я еще должен был услышать, как один из первых людей в стране объявляет у нас разум спасенным и истину победительницей!

Ах, Дельфина, если бы можно было бежать в уединение, подальше от хаотических голосов настоящего! Я часто вспоминаю о белом маленьком замке, между крытыми аллеями, о лебедином пруде перед ним и о маленьком светлом храме на зеленом лугу!

Но время теперь слишком суровое, и мы не можем позволить себе быть сентиментальными. Мы даже не смеем радоваться. Мне было бы совестно участвовать в пред-

стоящих празднествах, если бы ваше присутствие не извиняло все в моих глазах. Только я бы не мог заставить себя быть комедиантом, иными словами, забавлять общество, и меня огорчает, что вы на это согласны. Не сердитесь на меня за мою откровенность! Скрывание всех истинных чувств до такой степени содействовало развитию всеобщей лживости, что я предпочитаю быть грубым и прямым, как американцы.

Граф Гюи Шеврез—Дельфине.

Версаль, 9 мая 1782 г.

Мы не можем принять ваш отказ, прекрасная маркиза. Вы разрушаете весь наш ансамбль, художественное единство, а главное,—лишаете наших гостей удовольствия видеть прелестнейшую из трех граций. Плохое состояние здоровья не может служить предлогом в Париже, где есть Калиостро, и еще менее может служить предлогом дурное настроение, которого не должно быть у маркизы Монжуа и на которое она не может ссылаться перед королевой.

Ее величество серьезно рассержена, и ничего нет удивительного, что она начнет приказывать там, где она прежде обращалась с тщетными просьбами. Не подвергайте же себя этому, очаровательная маркиза! Немильность имеет горький вкус. Вчера буря августейшего негодования донеслась даже до моих самых отдаленных комнат. Причина была достаточно серьезная. Ювелир Бемер был принят в аудиенции. Он принес бриллиантовое ожерелье, которое своим великолепием превосходит все, и графиня Полницяк надела его на королеву. Никакая сказочная принцесса, которую мать ее—солнце, украсила ожерельем из небесных звезд, не могла бы превзойти своим блеском королеву! Только радость, светившаяся в ее глазах, превращала их в еще более блестящие драгоценные камни.

В этом ожерельи она пошла к королю. Прошло четверть часа, и еще, и еще... Лицо ювелира, попеременно, то краснело от раздражения, то бледнело от гнева. Затем

мы услышали столь знакомые предвестники королевского гнева, хлопанье дверей, быстрые шаги... Ее величество королева явилась с покрасневшими от гнева глазами и дрожащими губами! В руке у нее было зажато ожерелье.

— Берите ваше театральное украшение!—крикнула она и с такой силой швырнула его на мраморную доску стола, что оно зазвенело.—Камни фальшивые!..

— Ваше величество!—пролепетал пораженный ювелир.

Но она, вместо всякого ответа, указала ему на дверь.

Герцог Бретейль, с которым я говорил потом об этом, открыл мне, что только чудовищная цена ожерелья—за него требовали не менее полутора миллиона—заставила короля отказаться от покупки.

Раньше чем королева отпустила меня сегодня вечером, я рассказал ей о Калиостро и его искусстве делать золото. Она слушала меня и, развеселившись, обращалась с насмешливыми замечаниями к графине Полиньяк.

— И кардинал Роган,—говорите вы,—обладает этой тайной?—спросила она, явно заинтересованная. Я молча наклонил голову, а она задумалась и, повидимому, даже забыла о моем присутствии. Наконец, она меня отпустила, сделав рассеянno жест рукой.

Сегодня утром она снова была в прекрасном настроении и все-таки слушать не хотела о вашем отказе. Граф Артуа предложил старую герцогиню Монпансье, как вашу заместительницу,—остроумная насмешка! Она проиграла недавно свои последние лундоры и теперь кокетничает с г. Ватле, миллионан которого она готова была бы принести в жертву даже свою герцогскую корону. Повидимому, он не совсем нечувствителен к этому. Ведь для буржуа никакая герцогиня не бывает старше тридцати лет!

Я слышал, что уже на будущей неделе вас ждут, как гостью двора. Вы должны принять решение до тех пор.

Мы уже играли с вами вместе, прекрасная маркиза. Помните ли вы эту игру? Это была самая восхитительная игра в моей жизни.

Бомарше—Дельфине.

Париж, 18 мая 1782 г.

Как нищий, просящий милостыню, стою я у ваших дверей, дорогая маркиза! Кто же, знающий вас, может являться к вам иначе?

Я видел вас вчера в театре, принц Монбельяр сидел рядом с вами. На сцене античные герои потрясали своими исполинскими мечами, вращали глазами и декламировали про свои добродетели. Я был почти готов предложить измученной публике, которая не могла поверить в подлинность греческого мира, несмотря на изобилие световых эффектов, красных, голубых и зеленых, обратить свое внимание на вашу ложу. Там находились Марс и Венера собственной персоной.

Вы смеялись в то время, как герои драмы убивали друг друга! Вы склоняли свое розовое ушко к принцу, слушая его шопот, в то время, как на сцене влюбленные навеки прощались друг с другом! Короче говоря: эта поэзия вас приятно взволновала. Я не хотел мешать, но все же спешу воспользоваться настроением, которое, наконец, удержалось, благодаря теплоту майскому дню.

Ее императорское высочество великая княгиня ответила еще из Штутгарта согласием на мою всепреданнейшую просьбу дозволить прочесть ей «Свадьбу Фигаро». Но так как я знаю по опыту, что люди бывают тем вежливее, чем выше они стоят на лестнице рангов (вежливость ведь является всегда маской или теми духами, которые употребляет лучшее общество, с тех пор, как оно заметило свой естественный дурной запах), то я не могу быть твердо уверен в этом согласии, пока мне не будет назначен день и час. Это будет не легко, тем более, что графиня дю Нор, пожалуй, не сочтет для себя обязательным исполнять обещания русской великой княгини. Программа развлечений не оставляет ни одного свободного часа в течение дня в ближайшие недели. Мне нужна волшебница, которая помогла бы Фигаро проскользнуть туда. Кто же, кроме вас, мог бы быть такой волшебницей? Картина парижской жизни, которую развертывают перед

высокими гостями, в самом деле, была бы не полна, если бы мой цирюльник не стоял бы рядом с Лагарпом, воскресшим Эврипида из мертвых, с m-me Бертен, из-за платьев которой не замечают тех, кто их носит, с Мармонтелем, который утверждает, что ему известна тайна красивого стиха Расина, и который в то же время, менее чем кто-нибудь другой, умеет хранить ее, и, наконец, — с Глюком и Пиччини, которые заботятся лишь о том, чтобы великие умы Парижа не оставались праздными.

Вы знаете, я поклялся, что Фигаро завладеет сценой. Вы слишком добрая христианка, дорогая маркиза, и поэтому не можете не помочь бедному грешнику исполнить свою клятву. Если русский великий князь выразит одобрение моей пьесе, то французский король, из вежливости к своему высокому гостю, не может меня осудить.

Маркиз Монжуа—Дельфине.

Париж, 20 мая 1782 г.

Моя милая! Вы переселились в Версаль, и хотя ваша жизнь и до этого была постоянным бегством от меня, теперь я уже никогда не буду иметь случая поговорить с вами наедине. Рано утром, с появлением парикмахера, начинается ваш туалет, затем следуют утренние гулянья с королевой, визиты и обеды, поездки в экипажах и перерывом, послеобеденные чай, балы, театры, ужины, — где же время для супруга, который, вследствие милостиво отведенного ему «отцовского» места, привык уважать также и немногие часы вашего ночного отдыха?

Я вынужден поэтому, когда дело касается таких вопросов, которые не могут быть разрешены в присутствии слуг или между двумя танцами, прибегать к письменным сношениям с вами.

Вы пользуетесь расположением королевы и, как добрая француженка, вы должны, в это необыкновенно трудное время, которое мы переживаем, постараться употребить его для хорошей цели. Имея в виду склонности королевы, вам, конечно, было бы нетрудно устроить доступ к ней такому человеку, как граф Калиостро, который может доставить ей возможность осуществить все ее неудовлетво-

ренные желания. Услуга, которую вы этим окажете Франции, будет иметь неоценимое значение. Правда, граф вам антипатичен—вас отталкивает от него страх перед необъяснимым,—но ведь вы же собственными глазами видите его искусство добывать золото! И вот, дело идет только об этой способности, быть может, самой незначительной из тех, которыми он обладает.

В последнее время он с лихорадочным нетерпением ждет того момента, когда он должен будет сделаться спасителем Франции. Поэтому его опоспособность добывать золото теперь парализована. Другой был бы введен в заблуждение этим странным явлением, но я понимаю, что судьба отдельных личностей должна отступить перед судьбой целой страны. Кроме того, я знаю, что с достижением великой цели будут соблюдены и мои собственные интересы.

Еще два слова. Роган пускает в действие все пружины, чтобы Калиостро попал к королеве только через него и чтобы самому получить доступ к ней при его посредстве. Это было бы не желательно, тем более, что я, как теперь вижу, заблуждался насчет честности намерений Рогана. Он добивается, как я опасаюсь, своей реабилитации при дворе, чтобы получить вакантный пост канцлера. Он более заботится об улучшении собственного финансового положения, нежели о пользе Франции.

Маркиз Монжуа—Дельфине.

Париж, 21 мая 1782 г.

Вы отказываетесь, моя милая? «Как раз именно потому, что королева питает опасную склонность к такого рода вещам, я не хочу толкать ее на это и быть виновницей ее несчастия»,—пишете вы. О, ослепленная! Ведь вы, быть может, губите свою собственную будущность! Но мы не так слабы, наши вспомогательные источники не ограничиваются только вами, и ваш отказ не может повергнуть нас в уныние.

Кардинал-принц Луи Роган—Дельфине.

Париж, 24 мая 1782 г.

Уважаемая маркиза! Я еще не оправился от изумления, вызванного нашим коротким разговором в опере. Вы отказываетесь замолвить доброе слово перед королевой за старого друга вашего дома, каким я смею считать себя? Вы желаете избежать даже тени подозрения, что вы принадлежите к разряду тех интриганок, которые смотрят на Францию как на свою дойную корову?! «Только прямыми путями достигаются великие цели!» сказали вы. Я бы просто посмеялся над этой сентенцией, произнесенной вашими розовыми губками, если бы только взгляд, брошенный мною на вашего знаменитого соседа, сражавшегося в качестве предводителя американских бунтовщиков против священной особы его величества короля Англии, не объяснил мне как происхождение этой фразы, так и значение вашего настроения.

Он друг вашего детства, как я слышал? Как трогательна такая верность, если она могла пережить даже дружбу с Карлом фон-Пирш, Гюи Шаврёзом, Гибером и Бомарше!

Пораздумайте хорошенько, моя красавица. Роган—опасный враг, даже когда он находится в немилости.

Бомарше—Дельфине.

Париж, 27 мая 1782 г.

Где найти слова, чтобы выразить то, что я хотел бы сказать вам? Вчерашний вечер в моей жизни, столь богатой превратностями, был настоящим вступлением в разукрашенные врата победы.

Декорации были так же бесподобны, как и актеры той пьесы, которая служила рамкой для моей комедии. Красный салон, залитый мягким светом ароматных свечей. Перед белым камином, где весело потрескивал огонь, словно аккомпанируя моему чтению, восседала великая княгиня в блестящем желтом атласном платье, а

на табурете, у ее ног, сидел ее маленький супруг с красивым славянским лицом, но которого приходится любить за его ум. За ним, разукрашенный, как павлин, и надутый, как индейский петух, сидел Лагарп, на лице которого, желтевшем все более и более, я ясно читал степень моего успеха. Рядом с ним, благоразумно, как всегда, скрывая лицо в тени, чтобы на нем нельзя было ничего прочесть, сидел барон Грим, друг всех беспокойных умов и корреспондент всех властителей. А на другой стороне сидела моя прелестная покровительница, в небесно-голубом платье из шелкового муслина, окутывающего ее мягкими прозрачными складками, с розами в волосах и с личиком, перед свежестью которого должны побледнеть от стыда все цветы мира!

Знаете ли, что в течение целого вечера я боролся с вашей красотой, как с самым опасным из соперников? Эта красота ведь отвлекала внимание слушателей. Князь Юсупов не мог оторвать своих черных круглых глаз от ваших ослепительных плечиков, и только очень едкие остроты могли отвлечь на время его взоры от этого зрелища. А граф Куракин как-будто занимался изучением волнистых линий ваших ножек, и только любовные вздохи Керубина отвлекли его. И все же я не мог вполне победить вас, очаровательная волшебница! От принца Монбедьяра я должен был отказаться, так как его загорелое лицо только тогда теряло свою неподвижность, когда его взоры погружались в ваши глаза.

Сегодня утром я получил предложение послать свою комедию русской императрице. А Франция энциклопедистов, мнящая себя представительницей высшей культуры мира, запрещает ее постановку! В то же время я узнал, что сочинения Вольтера освобождены во Франции. Очевидно, они кажутся менее опасными, чем проказы Фигаро!

Еще года два борьбы, с вами, как союзницей, прекрасная маркиза,—еще годика два финансового хозяйства Калонна и... цырюльник победит короля!

Граф Гюи Шеврез—Дельфине.

Версаль, 7 июня 1872 г.

Дорогая маркиза, простите, что я нарушаю ваш покой в такой ранний час утра. Мы находимся в сильнейшем волнении и опасаемся скандала, последствия которого невозможно предвидеть, если только вы не захотите безусловно стать на нашу сторону. Приближенные герцога Шуазеля—герцог Бриссак и маркиз де ля Сюз, распространили ночью слух, что королева, во время вчерашнего праздника в Трианоне, имела тайное свидание с кардиналом Роганом в рыбацкой хижине. Еще до рассвета они уже успели сообщить новость королю. И вот, во время вставания короля, произошла такая сцена, какой мне еще не приходилось видеть. Лакеи сбежались из всех углов, испуганные шумом! Королева отреклась от всего. Она ссылается на вас, бывшую возле нее, на меня, на графа Водрейля, на m-me Кампан и принцессу Ламбаль. И мы должны придти ей на помощь—должны!

Хотят прогнать придворного капеллана, который, по видимому, впустил тайком кардинала. А он грозит разоблачением всего дела. Если это случится, то при том настроении, которое существует в Париже, у нас завтра же будет революция на улицах.

Податель этой записки—надежный человек. Передайте ему ваш ответ и сообщите, можете ли вы принять меня приблизительно через час.

Принц Фридрих-Евгений Монбельяр—Дельфине.

Версаль, 7 июня 1872 г.

Любимая! Итак, руки коварной интриги касаются и нашей тайны! Она сурово оторвала нас от сладких грехов этой ночи! Около меня мог рушиться мир, но я видел только вас, вас, которая всегда была предметом желаний всей моей жизни. Я слышал только ваш голос, говоривший мне то, что я не надеялся услышать никогда! Быть-может, наиболее завидною участью было бы умереть в этот час упоения величайшим блаженством.

И вдруг я почувствовал, что вы дрожите в моих объятиях. Я увидел, что ваши глаза, только что горевшие любовью, широко раскрылись от ужаса, и прежде чем я успел оглянуться, вы шепнули мне побледневшими губами:—«Кардинал!».

Огненное колесо, на лугу, бросавшее во всех направлениях снопы пламени, позади беседки, укрывавшей нас, ярко осветило черную закутанную фигуру, красные чулки и каблуки. А в нескольких шагах, белая, тонкая фигура и—тихая рыбацья хижина!

Это была женщина, и мой рыцарский долг повелевает мне защитить ее. Но это была королева, и мой долг гражданина повелевает мне принести ее в жертву. Абсолютная монархия, благодаря которой эта бедная страна истекает кровью, получила бы здесь такой удар, от которого она не могла бы оправиться.

Если же я все-таки молчу—только молчу, потому что я не в состоянии был бы показывать противное тому, что я видел, то тут я подчиняюсь тому могучему чувству, которое, как буря, сносит все плотины, с трудом построенные разумом, разрушает все светочи, воздвигнутые долгом, чтобы указывать дорогу заблудившимся кораблям. Это чувство—любовь, Дельфина, любовь к вам!

Вы спасли королеву, спасли ложью! И у меня, моя возлюбленная, вы просите прощения? О, как бы я хотел поцеловать ваши нежные губки ради этой лжи, которую они произнесли! То, что для мужчины было бы позорным унижением, является для женщины трогательною добродетелью.

Будь я духовником, к которому бы вы обратились, я бы, конечно, наложил на вас покаяние. А теперь я только прихожу к вам с просьбой ради нашей любви, моя Дельфина!

Она чиста, эта любовь, но ядовитое дыхание здешнего общества грозит загрязнить ее. Она глубока, но развращенность кругом нас не отступит ни перед какими средствами, чтобы исследовать ее до самого дна. Она священна, но гнусное отродье царедворцев употребит все усилия, чтобы заставить ее служить своим грязным це-

лям. Мы должны ее спасти. В данный момент, быть может, это лучшее, что есть в мире.

Там, вблизи лесов, роскошного великолепия которых еще не коснулась грубая рука человека, где природа сама преподносит жителям свои сокровища, любовь эта будет дышать свободно и достигнет изумительной красоты.

Я легко найду корабль, который отвезет нас туда, и знаю, что сотни рук протянутся нам навстречу. Пусть же решает ваше сердце!

Принц Фридрих-Евгений Монбельяр—Дельфине.

Париж, 9 июня 1782 г.

Только что я вернулся от вас и еще ощущаю на своих устах ваше дыхание, впервые пробудившее меня к жизни. Я не понимаю, как я мог раньше жить, не ощущая его!—и вот мои мысли снова летят к вам.

Даже раны, которые вы наносите, Дельфина, доставляют наслаждение. Я мысленно повторяю каждое ваше слово. Вы стоите перед моими глазами, точно изваянная из мрамора. «Этого нельзя!»—сказали вы мне.—Это было бы смертью старика, чье имя я ношу. Я много страданий причинила ему, и он все перенес. В самые трудные времена он был для меня другом и покровителем, не напоминая мне о том, что он также и мой супруг. А когда он напомнил мне об этом, то все же не стал настаивать на своих правах, когда получил отпор, хотя мог бы требовать покорности. Теперь он болен и опечален. Я бы охотно выказала ему дружбу, если бы не боялась, что он поймет это иначе. Только одно я могу сделать для него—избавить его от скандала, которого он опасается пуще всего».

И вот, когда вы почувствовали, как больно отозвался на мне ваш отказ, то с поцелуями и слезами вы спели мне великий гимн любви, услышать который вряд ли удавалось какому-нибудь смертному.

«Я не переставала стыдиться брака,—говорили вы.—Утвержденное документами право на любовь—это могла любви. Любовь должна оставаться великой тайной между двумя людьми, потому что она есть глубочайшая из

всех тайн. На головокружительных вершинах высоких гор, куда могут собираться только сильнейшие, в тиши зеленых лесов, к которым находят дорогу только бегущие из мира—вот где должны находиться ее храмы! И даже там только немногие проникают в ее святилище и получают последнее посвящение».

Не сердись на меня, моя обожаемая, что я решаюсь повторять твои слова, которые без звука твоего голоса так же немы, как птицы.

Принц Фридрих-Евгений Монбельяр—Дельфине.

Версаль, 1 июля 1782 г.

Еще один привет—последний перед вашим отъездом в горы! И я мог годы оставаться в разлуке с вами, когда мне даже две недели кажутся вечностью!

Я последую за вами в Барреж-ле-Бен, как было условлено, лишь только двор покинет Версаль.

Когда я вчера вышел от вас, я встретился с маркизом. При тусклом свете масляной лампы он показался мне очень бледным. Он поклонился мне с улыбкой, которая сжала мне сердце, поэтому я всю ночь пробродил под вашими окнами. Но все было тихо, и ваша нежная записка, полученная мной сегодня утром, окончательно меня успокоила.

Я целую ваш белый лоб для того, чтобы под ним не скрывалось бы ни одной мысли, принадлежащей другому, а не мне! Я целую ваши нежные руки, чтобы сковать их цепями, пока я не освобожу их, для того, чтоб они могли обвиться вокруг моей шеи! Я целую ваши пунцовые губки, для того, чтобы ни одно слово любви не могло сорваться с них, пока своими устами я не уничтожу чары, сковавшие их!

Принц Фридрих-Евгений Монбельяр—Дельфине.

Париж, 25 сентября 1782 г.

Любимая моя! Снова вокруг меня раздаётся уличный шум, и я в толпе чувствую себя очень одиноким. Но хотя я думал, что после нескольких недель величайшего

счастья горе разлуки должно окончательно сразить меня, я вдруг почувствовал, каким богатым, каким сильным сделала меня моя Дельфина! Даже тогда, когда она далека от меня, я чувствую, что обладаю ею, и это чувство дает мне возможность перенести временную разлуку...

Прежде всего я отправился в Пале-Рояль. Оттого ли, что я прожил несколько месяцев в полном спокойствии, но только мне показалось, что лихорадочное возбуждение, охватившее всех, действительно, возросло в этот промежуток времени. Наше печальное поражение при Гибралтаре и условия, на которых заключается теперь мир с Англией, служит темой всех разговоров. Я слышал Гальеяра, окруженного тесно сомкнувшейся группой слушателей, и его пламенная речь одинаково была проникнута ненавистью к правительству и любовью к отечеству.

«Почему мы разбились о скалы Гибралтара?—восклицал он.—Потому, что наше войско питается только славой прошлого, вместо того, чтобы ежедневной работой подготавливать славу будущего. Сотни тысяч выброшены на постройку знаменитых пловучих батарей Арсона, которые в несколько часов сгорели от каленых английских ядер, тогда как эти же сотни тысяч могли быть употреблены на то, чтобы превратить голодающих безработных в хороших, сильных солдат. Никогда машины не заменят людей!.. Почему мы, при заключении мира, фактически окажемся потерпевшими? Потому что нашим противником был народ, не имеющий холопов! Потому что у нас, вместо ответственных министров—Питта или Фокса,—страной управляют продажные царедворцы... И все же я восхваляю эту войну, которая в самом начале воодушевляла нас, восхваляю потому, что она явилась нам в ярком сиянии американской борьбы за освобождение, хотя она и послужила для нас таким тяжелым уроком! Гораздо более, чем все книги философов, открыла нам эта война, указав, чего нам не хватает. И мы научились тому, чему должны научиться, если не хотим, чтобы наше отечество погибло. Мы научились проливать кровь за идеалы!».

Этот некрасивый маленький человек стал почти красивее, когда произносил свою речь. Я не мог сдержаться

и с увлечением и благодарностью пожал ему руку, как товарищу. Но когда я осмотрелся кругом и увидал тех, кто сочувственно аплодировал ему, и услышал безграничные комментарии к его словам, то—не хочу отрицать этого!—в душе моей поднялось нечто в роде враждебного чувства. Что если эти люди с грубыми страстями, охваченные гораздо больше жаждою мести, нежели стремлением к политической свободе, вдруг захватят власть в свои руки? Не будет ли, в конце концов, тирания масс гораздо страшнее тирании отдельных лиц?

Когда же я вечером, по приглашению нашего нового казначея флота, г. Бутена, приехал в его великолепный загородный замок, где собралось самое изысканное общество, около ста человек и начали подавать на золотых блюдах всевозможные гастрономические редкости мне стало стыдно чувства, испытанного мною утром. Вполне естественное у аристократа, оно недостойно гражданина современной Франции: у него оно служило бы признаком жалкой трусости. Если даже народные массы раздавят нас, это всетаки будет победой справедливости. Мы заслужили свою участь.

Пусть моя ненаглядная Дельфина простит мне, что бываю моменты, когда мои мысли отвлекаются от нее в сторону. Но ты должна простить, потому что даже самые отдаленные мои мысли, я приношу, в конце концов, к твоим ногам, моя единственная возлюбленная!

Скоро ли я получу от тебя известие и узнаю, как ты перенесла путешествие в Страсбург? И когда, моя возлюбленная,—ах, когда!—я снова обниму тебя!!

Принц Фридрих-Евгений Монбельяр—Дельфине.

Париж, 8 октября 1782 г.

Как много счастья ты даешь мне! Как каждое твое слово трогает меня! О, если б я имел теперь крылья, которые, по предсказанию Бланшара, будут у грядущего человечества!

Не надо было твоей трогательной просьбы. Мое собственное пламенное желание неудержимо влечет меня к тебе. Я проеду через Монбельяр, где мое присутствие не-

обходимо—я не был там со смерти моей дорогой матери,—и в течение будущего месяца я уже буду в Страсбурге. Дела, которые находятся в связи с моими поместьями в Эльзасе, вполне оправдывают мое присутствие в этом городе.

Со времени моего последнего письма мне пришлось видаться с самыми различными людьми. Насчет того, что теперешнее положение вещей долго продержаться не может, никто уже не сомневается, за исключением версальского двора! Королева продолжает танцевать и играть в спектаклях, и даже ее благотворительность смахивает на сентиментальную трогательную пьесу. Король охотится и, чтобы показать свое понимание современного духа, изредка принимает какого-нибудь почтенного буржуа, которого он весело похлопывает по плечу, и если буржуа достаточно богат, жалует ему дворянство. И тогда мечтатели снова, в течение нескольких дней, говорят о доброте и простоте монарха!

«Слабость, которая не может препятствовать злу и не умеет поощрять добро, только укрепляет тиранию». За эту фразу Дидро едва не попал в Бастилию!

Я был также в Сен-Кане у Неккера и вернулся оттуда разочарованный. Надо иметь весьма скромные требования, чтобы считать его выдающимся. Течение событий увлекает его за собой и бросает из стороны в сторону, и, таким образом, он, конечно, не в состоянии направить это течение в соответствующее русло. Поразительное явление представляет его дочь. Она похожа на своих родителей только тем, что наследовала от них часть женеvской рассудительности. Ее великолепные глаза и прекрасная фигура примиряют меня с ее некрасивым лицом. Ее замечательный ум невольно вызывает удивление. И тем не менее, в глубине души, я чувствую к ней антипатию. Если таков тип будущей женщины, то я не могу не пожалеть о мужчинах. Как счастлив я, что могу назвать своей женщиной, представляющую самое очаровательное воплощение XVIII века!

Я встретил у Неккера графа Гибера, и то, как он держит себя в его доме, позволяет заключить, что он принадлежит к интимному кругу семьи, что меня немало

удивляет в виду его прежнего отношения к политике Неккера. Очарование m-lle Неккер, очевидно, преодолевает всякие колебания, основанные на убеждениях. Такие мужчины, как он, представляют необходимое условие появления таких женщин.

Знаешь ли, возлюбленная, что ведь я известен своей молчаливостью? А с тобой я становлюсь болтливым! Я чувствую потребность делиться с тобой малейшим событием, каждым мимолетным чувством, каждой мыслью. Мне кажется, что именно такое полное духовное слияние отличает любовь от простого волокитства.

Принц Фридрих-Евгений Монбельяр—Дельфине.

Этюп, 26 октября 1782 г.

С последними, бледными розами из Этюпа посылаю тебе привет, единственная! Я прошел один по запущенным аллеям и с глубоким благоговением пал на колени перед храмом Венеры. Меня точно осенило прозрение: с тех пор, как я однажды тут нашел тебя, Дельфина, я уже больше никогда тебя не терял!

Принц Фридрих-Евгений Монбельяр—Дельфине.

Страсбург, 3 января 1783 г.

Курьер принес мне рано утром потрясающее известие: племянник кардинала, принц Роган-Геменэ, объявлен несостоятельным. Я немедленно передаю тебе эту новость, потому что и твоя подруга Кларисса должна потерять при этом банкротстве все свое состояние. Бесчисленное множество бедных людей, в том числе и его собственные слуги, доверившие его честности свои сбережения, теперь стали нищими, благодаря его преступному легкомыслию. Всеобщее негодование очень сильно, и вполне понятно, что вместо усиления гнева против сословных привилегий, увеличивается только ненависть к отдельным личностям из аристократии.

Сегодня, отчасти из-за этого события, мне надо за-

няться очень большой корреспонденцией, и это лишает меня счастья быть с тобой.

Видишь, моя Дельфина, я написал эту фразу на бумаге, черным по белому, для того, чтобы ты знала, как я близок был к тому, чтоб обмануть тебя! Нет у меня никакой работы, которая отнимала бы у меня возможность заключить тебя—хотя бы только на одну минуту!—в свои объятия.

Но порою бывает у меня такое чувство, что мне самому не хочется себя видеть, а тем более не хочется, чтобы ты меня видела. Вчера, когда маркиз в первый раз с тех пор, как я нахожусь в Страсбурге, провел с нами вечер и разговор поддерживался с трудом, прерываемый большими паузами, которые казались, бесконечными, когда ты, охваченная любовью, низко склоняла свою голову, а он худой, изможденный, седой, бессильно вытянув руки на темной бархатной обивке локотников кресла, медленно переводил взор своих глубоко запавших глаз с тебя на меня,—я почувствовал с острым сознанием вины весь ужас нашего положения. И не в том вина, что мы любим друг друга, моя возлюбленная, а в том, что мы это скрываем от него, словно какое-нибудь преступление!

Я не могу жить без тебя, а между тем я не могу так жить! Дай мне этот один день, чтоб я мог справиться с собой.

Граф Гюи Шеврез—Дельфине.

Шато Лароз, 25 января 1783 г.

Дорогая маркиза. Моя бедная сестра так потрясена жестоким ударом, который на нее обрушился, что не в состоянии сама отвечать на ваше милое, сочувственное письмо и поэтому просит меня сделать это за нее.

Не стану отрицать, прекраснейшая, что, несмотря на несчастье, которое послужило поводом для этого письма, я всетаки с радостью пользуюсь случаем, чтобы снова завязать с вами сношения. По крайней мере, таким образом наши глаза будут все же покоиться на строках, написанных моей рукой!

Вы чувствуете нетерпение? Я сейчас перехожу к делу! Кларисса потеряла почти все свое состояние, и это тем более тяжело для нее, что она опасается, вследствие этого, оказаться в зависимости от своего супруга, который не перестает обманывать ее. Но едва только королева узнала об этом несчастии, как тотчас же сама от себя назначила ей ренту, соответствующую процентам с ее прежнего капитала. Если что-нибудь могло еще крепче привязать нас к ее величеству, так это именно такая великая милость, еще более ценная, благодаря тому, как она была оказана.

Королева страдает. Иногда она часами сидит, задумавшись, и никто из нас не решается нарушить гнетущей тишины, которая воцаряется в зале. Но если кого-нибудь из ее приближенных постигнет горе, то она первая приходит на помощь и утешает, и к ней тогда возвращается ее прежняя веселость. У нее даже нашлись резкие слова,—что всех поразило,—для того, чтобы осудить откровенное злорачество, выказанное партией Шуазеля по поводу банкротства Рогана.

В Париже все повторяют теперь слова герцогини Граммон, сказавшей недавно: «Роганы давно уже заявляют притязание на титул суверенных государей. Надо надеяться, что их денежное хозяйство, разоблаченное теперь, явится последним доказательством правильности их притязаний».

Впрочем, семья Роган сделала все, чтобы спасти честь своего имени. Кардинал, получив известие о банкротстве в своем замке Савенн,—где он, повидимому, сидит взаперти с Калиостро,—тотчас же отвечал на это обещанием внести значительные суммы. Это было принято не без некоторого трепета, в виду их происхождения, при данных обстоятельствах, из кухни Вельзевула. Маленькая принцесса Гемене-Субиз пожертвовала свои драгоценности, а принцесса Марсан ушла в монастырь и пожертвовала все свое состояние, чтобы спасти честь Роганов.

Но следующая история еще трогательнее всех этих, в сущности вполне понятных; жертв, принесенных близкими людьми.

Мы сидели за ужином в отеле Гимар. Шампанское вернуло нас к прежним золотым дням полной беззаботности. Восхитительная хозяйка, в греческом одеянии, танцевала на паркете между роскошно сервированными столами. Она в первый раз исполнила перед нами тот танец, который будет в скором времени исторгать восторги многочисленной публики зрительного зала. С голыми ногами и держа в руках античную чашу, она раскачивала свое стройное тело, причем пластично выступала каждая линия ее красивой фигуры, и ее движения постепенно ускорялись, выражая вакхические упоение и восторг. С высоко вздымающейся грудью она сразу осушила чашу, которую я наполнил, и вдруг остановилась, когда двери салона раскрылись, чтобы впустить султана оперы, принца Субиз. Восторг, вызванный танцем, сразу затих. Принц принес известие о банкротстве, от которого должна была сильнее всего пострадать его дочь. Не говоря ни слова, Гимар подходит к своему письменному столу и, набросав несколько строк, молча передает бумагу своим подругам из балета, которые также все подписывают свои имена. Это был формальный отказ в пользу обедневшей челяди принцессы Гемез-Субиз от той ренты, которую каждая из танцовщиц получала от принца. Ну, разве в самом деле они не восхитительны, эти распутные малютки?

Когда же Версаль снова увидит вас, очаровательная маркиза? Чтобы забыть то, что случилось и грозящие нам еще беды, мы собираемся устраивать самые необузданно веселые празднества.

Принц Фридрих-Евгений Монбельяр—Дельфине.

Страсбург, 11 марта 1783 г.

Слезы, возлюбленная? Я заставил тебя плакать—в первый раз! Я готов был бы пожертвовать жизнью, чтоб их осушить, но поступить иначе я не мог, даже зная, что ты будешь от этого плакать!

«Я отдаюсь тебе без всякого раскаяния», сказала ты мне с упреком. Разве ты не понимаешь, Дельфина, что любовь женщины все освящает, тогда как честь мужчины стоит над его любовью? Я прекрасно знаю, что придвор

ные господа в Версале гордятся своим умением как можно утонченнее обманывать мужей. Но их чувство чести стоит на той же ступени, как и то чувство, которое они не стыдятся называть любовью. Я же чувствую все это с постоянно усиливающейся тревогой. Эта необходимость ежедневно скрываться, запертая комната, боязнь каждого шага, робость перед глазами лакеев,—все это может даже мою великую любовь к тебе повергнуть в грязь и унижить ее до степени толкования этих мужчин.

Я должен уехать, не потому, что я перестал тебя любить, а потому, что я тебя слишком люблю! Роль галантного кавалера не по мне. Только когда я буду вдали от тебя, я в состоянии буду радоваться нашей любви. И только тогда, я в том уверен, ты поймешь меня!

Думать о будущем, в такую минуту страшной внутренней бури, я совершенно не в состоянии. Но одно мне всетаки совершенно ясно: ничто,—во всяком случае не внешнее отдаление,—не может разлучить нас!

Принц Фридрих-Евгений Монбельяр—Дельфине.

Париж, 6 апреля 1783 г.

Как мог бы я обмануться в тебе? Моя любовь не могла бы с такой непоколебимой уверенностью избрать тебя, если бы ты не выполнила всего, о чем я только мечтал. Только простая чувственная связь может оборваться,—все равно, будет ли она освящена браком или нет,—если только чувства не возбуждаются ежедневно и взаимно.

Мое путешествие было полно приключений. Может быть, судьба хотела помочь мне, отвлекая мои мысли. Дороги хуже, чем когда-либо. Вряд ли найдется хоть один крестьянин, который согласился бы отбывать барщину, исправляя дорогу, а в некоторых местах, с явным умыслом, на дорогу навалены камни. Два раза ломалось из-за этого колесо моего экипажа, и тогда тотчас же появились какие-то сомнительные фигуры в лохмотьях, которые, заложив руки в карманы, смотрели на то, как мои слуги старались исправить беду. На постоялом дворе отказались дать корм лошадям, и я уж собирался ехать дальше, когда вдруг хозяин, после краткого разговора с моим кучером,

настоял на том, чтоб я дозволил покормить моих лошадей, и не взял с меня за это платы. Как я узнал, достаточно было назвать имя моего военного товарища, Лафайета, чтобы вызвать эту перемену. Дальше на моем пути собирались уже все жители этих мест и долго, в ночной тишине, раздавались в моих ушах их возгласы: «Да здравствует республика! Да здравствует свобода!»

В Париже меня встретили тревожные известия. Памфлет Мирабо о *lettres de cachet* и государственных тюрьмах находится в руках у всех, несмотря на запрещение. Это—блестящее произведение, проникнутое огнем и мужеством и заставляющее вабывать о личных недостатках автора. Бывают времена, когда энергия и смелость имеют столь преобладающее значение, что они заменяют все другие добродетели.

В кофейнях теперь только и разговоров, что о случае на последнем балу оперы, уже составляющем предмет грубых уличных песен. Королева, замаскированная и закутанная до полной неузнаваемости, появилась на этом балу, но тотчас же, вероятно, вследствие измены кого-нибудь из лакеев, была узнана в толпе. Ее начали преследовать шутками, которые сначала забавляли ее, что, разумеется, подстрекало к дальнейшим грубым выходкам. Только когда маска в кардинальской одежде приблизилась к ней и, несмотря на все ее старания уйти, не оставляла ее, королева залилась слезами и быстро удалась. Никто не слышал, что говорила маска, но Гибер уверяет, что он видел, будто маска протянула ей туго набитый кошелек. Только после таких отвратительных сцен монархи, наконец, узнают, что толпа, не подготовленная к их приему полицейскими мероприятиями и придворными приказами, готова встретить их скорее грубостями, нежели выражениями восторга и преданности!

Перо мое останавливается. Каким незначительным представляется мне все то, что я пишу, в сравнении с одним великим чувством, владеющим мной, и которое не может вылиться в словах. Не было ли безумием, что я ушел от тебя? Разве не все, все безразлично, лишь бы

ты была моей? Дельфина, моя любимая, что сделала ты со мной? Все здание моей жизни разлетается как карточный домик от одного твоего дыхания!..

Принц Фридрих-Евгений Монбельяр—Дельфине.

Версаль, 3 мая 1783 г.

Не затем ли ты так долго заставила меня ждать твоего письма, моя любимая, чтобы все другие мои чувства были поглощены огнем моего страстного желания? И вдруг ты спрашиваешь меня, как будто ты не знаешь заранее, каков будет ответ: «Должна ли я приехать?» Если бы между нами было что-нибудь похожее,—хотя бы отдаленнейшим образом,—на возможность запрещения или приказания, я бы сказал: «Ты должна приехать!» Да, ты должна, потому что даже если я живу, дышу и говорю, то все это не имеет отношения к моему «я». Все мое «я» находится при тебе! Только как автомат двигаюсь я по улицам Парижа и паркету Версаля. Приезжай, приезжай так скоро, как только могут доставить тебя лошади из Фроберга в Париж!

Королева часто спрашивает о тебе. Любезный прием, оказанный ею мне, вызвал было у меня надежду, что, быть может, на нее можно иметь влияние. Но две недели, проведенные мною среди ее приближенных, доказали мне, что это невозможно. Результат ли это вообще воспитания монархов, принуждающего ее скрывать свою настоящую натуру, или... она и в самом деле такая, какой показывает себя? Я пробовал заговаривать с нею об очень серьезных вещах, но ничто не в состоянии приковать ее внимания, если только не имеет какого-либо личного отношения к ней. Искусством она интересуется только тогда, когда украшает свои замки и прогоняет свою скуку, а финансам Франции—лишь постольку, поскольку они отражаются на ее бюджете. Она никогда не бывает так счастлива, как после конференции о туалетах с m-me Бертен или после посещения Бемера.

Уже достаточно плохо, когда король не умеет быть ничем другим, как только носителем короны, но еще хуже, когда королева оценивает землю, на которой живет, только как питательную почву для себя!

Ты сообщаешь, когда приедешь. Но я не смею этому верить, пока не увижу тебя, пока не заключу тебя в свои объятия. Неужели я тебя так мало любил, что мог когда-нибудь раскрыть эти объятия и выпустить тебя?

Бомарше—Дельфине.

Париж, 10 июля 1783 г.

Дорогая маркиза. Ваше возвращение в Париж имеет такое же значение для суеверных чувств неверующего, как появление белого голубя над храмом Аполлона.

Уже три месяца актеры *Comedie Française* репетируют комедию, а восемь недель назад мне дано обещание графом Артуа, что она увидит свет со сцены Версаля. Но где бы ни состоялось первое представление, хотя бы в самом маленьком театре, перед дюжиною зрителей, она все же завоеует этим мир!

Однако, только ваше прибытие, только надежда, что вы будете находиться в зале, в тот момент, когда занавес откроется для моего триумфа, служит мне порукой, что это действительно произойдет.

Представление состоится через три дня. После этого вы разрешите мне поцеловать вашу ручку?

Бомарше—Дельфине.

Версаль, пятница, 13 июля.

Только что, за пять часов до представления, официальные посланные маршала Дюраса и начальника парижской полиции передали мне и актерам приказ короля: «Сладьбу Фигаро» играть запрещается!

Людовик французский бросает мне вызов. Я, Карон Бомарше, принимаю его. Теперь мы будем бороться не из-за права на существование пьесы, но из-за права на существование целого сословия!

Бомарше—Дельфине.

Париж, июль 1783 г.

Дорогая маркиза! Вечер у вас был восхитителен. Ради вас я готов примириться со всем восемнадцатым веком и даже склонен был бы, если бы Господь Бог сделал меня своим ответственным министром, навсегда сохранить его.

Знакомство с графом Водрейль, которому вы содействовали, для меня неоценимо. Я завтра же уезжаю в Женевилье, чтоб осмотреть сцену и, в случае нужды,—граф дал мне на то широкие полномочия,—поспешно перестроить ее. А тогда!!!

С тех пор как воздушный шар поднялся на воздух и братья Монгольфьеры собираются собственной персоной составить конкуренцию всему, что имеет крылья: орлам и ангелам, амурам и фантазии, самое невозможное становится возможным, а, следовательно, возможно рождение на свет и детища моего юмора.

Если бы вы только слышали, с каким, подлинно патристическим огорчением, наши политики из кофейен обсуждают те возрастающие расходы, которые необходимо поведет за собой неотвратимое создание воздушного флота. Если бы вы видели, как они заняты разработкой счастливой идеи учреждения нового воздушного департамента для тех, кто тщетно дожидается министерского поста на земле, и как серьезные друзья отечества поглощены разрешением жгучего вопроса, какие меры следует принять, чтобы во-время воспрепятствовать Англии узурпировать царство Эола, как она уже узурпировала царство Посейдона. Ну, а меня во всех этих будущих возможностях воздушных путешествий привлекает только одна мысль: медленно подняться вверх, вооружившись хорошей подзорной трубой, и там спокойно ждать, пока наша планета повернется настолько, чтобы мой шар в один прекрасный вечер мог опуститься в Китае. Для французских писателей, философов и мечтателей о свободе это, должно быть, идеальная страна.

Маркиз Монжуа—Дельфине.

Фроберг, 20 июня 1783 г.

Моя милая! За ваше дружеское осведомление о моем здоровье я благодарю вас от души. Я не ожидал, что вы интересуетесь этим. В этом году я отказываюсь от поездки в Париж. Парижские удовольствия слишком утомительны для меня и слишком дорого стоят. Я предпочитаю

им тихую работу в моей лаборатории. Так как вы не собираетесь вернуться раньше поздней осени, то вас, вероятно, не стеснит то, что граф Каллиостро, который недавно вернулся из Англии, придет ко мне, как только кардинал отпустит его.

Я желаю вам столько удовольствий, сколько в состоянии вынести ваше душевное равновесие и ваше здоровье.

Принц Фридрих-Евгений Монбельяр—Дельфине.

Версаль, 1 августа 1783 г.

Ты жалуешься на мой мрачный вид. Ты огорчаешься, возлюбленная, потому что ты думаешь, что я скрываю от тебя какое-то тайное страдание, чтобы не огорчить тебя. Ах, ведь ты же знаешь слишком хорошо, что меня мучает! Я не выношу улыбающихся лиц дураков, их многозначительные мины и тайный шопот вокруг нас! И часто я испытываю такое ощущение, как будто ты, ты, моя святая, стоишь обнаженная перед похотливыми взорами толпы. Тогда невольно моя рука хватается за шпагу.

Что только было вчера на Марсовом поле, где огромная толпа народа, затаив дыхание, с напряжением ожидала подъема Монгольфьера с первым пассажиром, маркизом д'Арлянд! Экипажи придворного общества, где сидели дамы, стояли радами и их окружали тесным кольцом кавалеры, верхом на лошадях и пешие. Когда я пришел, мои взоры недолго искали тебя. Ты была окружена больше других, — «красавица Монжуа», «прелестная Дельфина», «роза Вогез»... Как и все прочие, я подошел и поклонился тебе. И тотчас же все многозначительно переминулись и отодвинулись, совершенно так, как во времена Людовика XV отодвигались придворные дамы, когда входила королевская любовница. Я молча поклонился и ушел, не обращая внимания на твои прекрасные, увлажненные слезами глаза. Я позавидовал в этот момент воздухоплавателю, который мог навсегда скрыться в облаках.

Позволь мне с этого времени видеть тебя только в твоей тихой комнатке: утром, раньше, чем праздные лю-

ди начинают свой об'езд с визитами, в полдень, когда, истощив свой запас сплетен, они возвращаются домой, и ночью, моя возлюбленная, когда благодетельная тем нота закроет доступ всем любопытным взорам.

Бомарше—Дельфине.

Париж, 26 августа 1783 г.

Дорогая маркиза! Прежде всего, вернувшись из Лондона, я отправился не к графу Водрейль, а к вам, судите поэтому о моих чувствах к вам. И у ваших дверей я узнаю, что вы больны. Как раз теперь! Через три недели вы должны быть здоровы, хотя бы мне пришлось предписать вам для этого средства всех чудесных целителей мира! Пробовали вы сахарные шарики Диллона, мышиный жир m-me Бернар, электрическое лечение доктора Дюрана? Ведь вы же не Франция, которой для лечения у первейших докторов не хватает самого главного—денег! Поэтому она и вынуждена позволить лечить себя цырюльнику,—бедняжка.

Могу я надеяться получить от вас известие, когда вы можете принять меня?

Бомарше—Дельфине.

Париж, 12 сентября 1783 г.

Вас нигде не видно, ваши окна занавешены, но вы, ведь, не сидите же в уединенной лаборатории и не размышляете над искусством делать золото! Ваши двери остаются для меня закрытыми, а между тем я видел гостя, для которого они открылись!

Не бойтесь ничего. Все, что открыто или тайно восстает против закона и установленных обычаев, находится под защитою Фигаро.

Знаете ли, что именно по этой причине, к тем, кто уже находится под моей защитой, я уже причисляю и одну очень высокопоставленную даму. Вы, может быть, думаете о герцогине Бурбонской, которая оплачивает своему неверному супругу тою же монетой, или о маленькой принцессе Шартрской, которая... распевает дуэты с кра-

сивым ад'ютантом своего супруга в то время, как он сам... учится играть на арфе у m-me Жанлис. Или о хорошенькой Кондэ, соблазненной в годы девической невинности каким-то невидимым богом и потом, вероятно, в награду за святость нашедшей принца королевской крови, который повел ее к алтарю, но... не к постели? Не идите дальше в этом направлении, моя красавица. Этот путь бесконечен, но он все же не приводит к той даме, о которой я говорю.

Я хотел бы рассказать вам, что я видел, чтобы в ваших выразительных глазах прочесть любопытство, волнение, испуг,—словом, все те ощущения, которые ваши уста не высказали бы мне из скромности. Должен я молчать? Но во мне слишком силен поэт и вследствие этого я не могу сохранить только для себя тот необыкновенно занимательный акт пьесы, по всей вероятности, не первый и не последний, которого я был случайным зрителем. Слушайте же!

Вы знаете, что я хожу гулять по ночам. Когда люди совлекут свои украшения, смоят румяна со своих желтых щек, снимут кудрявые парики со своих лысых голов и станут прекрасные, чистые белые чулки с роскошными подушечками, заменяющими икры, со своих худых, грязных, волосатых ног, то и души их так же снимают свои одежды. Правда, нагота их душ не всегда бывает приятна для взгляда, но всегда необыкновенно интересна. Я видел, как маршалы Франции превращались в кровожадных революционеров, архиепископы—в служителей дьявола, шутовские поэты—в трагических героев, гетеры—в мадонн, а королевы... но помолчим об этом, пока вы не услышите рассказа о моем приключении.

Это было в версальском парке. Никто во Франции не спит так крепко, как ее сторожа, и в этот ночной час ни возглас, ни бряцание сабли не остановили моих шагов. Ночь в конце лега! Легкий аромат разложения, сильнее действующий на чувства, чем первые невинные запахи весны, уже тяготеет над парком.

Вдруг я услышал шуршание, потом хрустение гравия под ногами. Я быстро спрятался за ближайшим боскетом, но не для того, чтобы шпионить, а чтобы не мешать

влюбленной паре. Но мужчин и женщин, закутанных в плащи и шмыгающих взад и вперед, привлекали друг к другу отнюдь не любовная страсть. Временами яркий свет потайного фонаря вырывался из-под их плаща. Я уже хотел поднять тревогу, крикнуть: «воры!..», но вдруг мой взор упал на изящные маленькие ножки и элегантные каблучки...

Внезапно все эти фигуры отступили. Показались трое других: стройный франт, в полумаске, может быть, граф Шеврез! За ним следовал другой, поменьше ростом. Я разглядел шелковую мантию священника, тонзуру на непокрытой голове,—может быть, Роган, кардинал? Затем женщина, окутанная вуалью, неузнаваемая, но такая осанка!.. Может быть—королева Мария-Антуанетта? Я притаил дыхание. Эти трое не произносили ни слова. Священник положил что-то темное на две руки, такие белоснежные, что, казалось, они сияли в темноте. Мне вспомнилась парижская сплетня, что Роган хочет купить милость королевы при помощи знаменитого ожерелья Бёмера. Но я не имел времени раздумывать. Снова шорох, хрустение песка... я протер глаза. Может быть, все это были только ночные призраки? Быть может, потому это так потрясло меня? Ведь раньше я не верил в привидения!

Разве граф Шеврез не ваш друг? Постарайтесь же предостеречь через него даму с такой предательской фигурой. Ведь не все нечаянные свидетели будут такие, как Фигаро!

Граф Гюи Шеврез—Дельфине.

Версаль, 15 сентября 1783 г.

Мысль о том, уважаемая маркиза, что я, во время моего вчерашнего посещения, не совсем прилично вел себя, вызвал раздражение, не соответствующее этому делу,—это были ночные похождения слуг, как я уже говорил вам,—заставляет меня написать вам эти строки. Сторожам парка сделано очень строгое внушение, чтоб они не допускали больше подобных ночных призраков. Чтобы рассеять все ваши опасения, я бы хотел сказать вам

то, что я, возмущенный подозрением, которому подверглась наша дорогая королева, забыл сообщить вам вчера. В ту ночь я находился в Париже у Гимар. Она сама и все ее гости подтвердят мое присутствие. А ее величество, как рассказывала мне принцесса Ламбаль, удалась на покой уже в девять часов, вследствие сильной головной боли.

Парижане везде видят призраки, с тех пор., как Каллиостро стал вызывать духов!

О том, что вы упорствуете в своем нежелании ехать в Женевилье, я сожалею не только ради себя. Вы предостерегали меня. Не могу ли и я доказать вам свою благодарность за ваше доброе намерение также предостережением?

Быть больным часто бывает очень неблагоприятно!

Если я выражаю надежду, что в своем обещанном отчете о великом дне я в состоянии буду сказать, что ваше отсутствие, и отсутствие принца было не слишком замечено, то вы должны понять, что эту надежду я питаю не из нелюбезности, а лишь из дружбы к вам.

Граф Гюи Шеврез—Дельфине.

Версаль, 27 сентября 1783 г.

И вас при этом не было! Такого дня еще не бывало. Дорога в Женевилье была уже с раннего утра запружена экипажами и всадниками. Залы маленького замка были переполнены всем, что своею красотой, происхождением, умом и богатством делает Париж центром вселенной. При том же напряженное лихорадочное ожидание, выражавшееся на лицах у всех и заставляющее блеснуть глаза, могло внушать каждому мысль, что ускоренное биение сердца является признаком юной силы. В этом ожидании забыты были и новейшие скандалы и шансонетки, которые обыкновенно наполняют жизнь.

Зала едва была в состоянии вместить всех гостей. Еще занавес не поднимался, а в воздухе уже чувствовалось как будто приближение грозы. Это ощущение возрастало с каждой сценой. Право, закон, нравственность и религия, философия и политика—все это появлялось

перед нами на сцене в образах Гуцмана и Бартоло, Базиллио и Марселины, Альмавивы и Фигаро, и подвергалось обсуждению, издевательству и жестокому бичеванию остроумной насмешкой. А мы сидели, словно очарованные, переходя от возмущения к восторгу, от скрежета зубов к громкому хохоту.

Было ли это результатом всеобщего возбуждения или огня бесчисленных свечей, но даже солнце Сахары не могло быть более знойным, чем воздух, которым мы дышали! Я слышал уже громкие крики ужаса дам, падающих в обморок, когда стекла высоких окон, через правильные промежутки времени, падали со звоном на пол. Это сам Бомарше разбивал их крючком своей палки, чтобы дать доступ в зал свежему воздуху. Только когда я почувствовал его веяние вокруг своей головы, я понял, что эта пьеса точно ураган промчалась над нашими головами.

Автору бурно аплодировали. Нет никакого сомнения, что в самом скором времени он добьется публичной постановки своей пьесы. Но будет ли это и тогда так же забавлять нас? Я охотно смеюсь над собой, но это было бы опасным уравнием в правах, если бы и черни было позволено когда-нибудь смеяться надо мной!

Большинство гостей, которых не мог поместить у себя граф Водрейль, в ту же ночь вернулись в Париж. Парижским врачам будет не мало работы после этого, потому что дождь лил потоками, а испорченные дороги и почти непроницаемая темнота заставляли экипажи с сидящими в них иззябшими людьми подвигаться вперед лишь очень медленно.

Я ехал вместе с бароном Вурмзер. Он находился в очень угнетенном настроении. Уж не зашел ли он слишком далеко в своем доверии к Калиостро? «Боюсь, что время делателя золота уже прошло и наступает время цырюльника!» — сказал он мне с горечью.

Маркиз Монжуа—Дельфине.

Замок Фроберг, 2 октября 1783 г.

Моя милая. Ваше намерение избрать своим местопребыванием замок Лаваль, давно уже никем необитаемый,

да еще в то время, когда приближается зима, разумеется, не могло не показаться мне очень странным. Но так как это исключительно ваше владение, а вы, как мне кажется, хотите выбрать только между этим или каким-либо другим местом, лишь бы быть подальше от меня, то я не могу и не хочу препятствовать вашему решению. Рассчитывая на ваше позволение, я отсылаю часть слуг в Лаваль, чтобы, по крайней мере, самое необходимое было для вас приготовлено.

Я чувствую себя хорошо.

Принц Фридрих-Евгений Монбельяр—Дельфине.

Монбельяр, 19 октября 1783 г.

Возлюбленная Дельфина. Как ты была права! Я уже дышу свободнее в знакомой старой обстановке, я вижу, как много запущено здесь с тех пор, как мой брат, герцог, удалился в свои прусские владения. Мне придется много потратить сил, чтоб исправить последствия долговременного хозяйничанья здесь недобросовестного управителя. Но то, что я нужен, что меня ждет здесь работа, уж это одно делает меня веселым.

Я ездил сегодня в Лаваль по той хорошенькой, лесной тропинке, по которой я буду ежедневно ездить к моему ангелу. С бьющимся сердцем смотрел я, как поднимаются передо мной из-за леса старые, старые башни, из окон которых, в былые времена, лукаво кивала мне в ответ прелестная головка маленькой девочки.

Во дворе замка кипела работа. Разгружали возы с мебелью, ящики и сундуки. Странно: при этом зрелище, которое, однако, служит признаком твоего скорого прибытия, у меня больно сжалось сердце! Я видел во всем этом заботу того, кто, молча, уступает тебя мне, из чувства ли презрительного равнодушия или великодушного самоотвержения? И то, и другое одинаково подавляет меня. Но я не хочу мучить тебя больше, моя бедняжка, делающая все это из любви ко мне и так бесконечно за меня страдающая!

Маркиз Монжуа—Дельфине.

Замок Фроберг, ноябрь 1783 г.

Моя милая! Никакой благодарности не нужно. Я исполнил только мой долг, приготовив замок ваших предков, откуда я некогда увез невинного ребенка, к его возвращению туда. Я желаю только одного, чтоб от времени до времени, согласно предварительному уговору, я был бы принят вами, чтобы не давать пищи злым языкам. Так как в начале будущего года я намерен отправиться в Париж по делам моего имения, то я позволю себе на Рождество справиться о вашем здоровье.

Принц Фридрих-Евгений Монбельяр—Дельфине.

Монбельяр, 6 января 1784 г.

Сегодня посылаю тебе только нежный привет, возлюбленная. Я не хочу приехать. Толпы поселян устремляются в город и собираются перед замком. Страшный холод гонит их сюда. И хотя я велел раздать почти все запасы дров и съестных припасов и дал разрешение вырубить Навирский лес, тем не менее, пришлые люди в особенную держатся угрожающим образом. Я распорядился открыть конюшни и манеж, чтобы, по крайней мере, женщины и дети могли там укрываться.

Моему посланному поручено взять твой ответ и собственными глазами убедиться, находится ли Лаваль в безопасности? В противном случае я, разумеется, бросаю здесь все и еду к тебе.

Принц Фридрих-Евгений Монбельяр—Дельфине.

Монбельяр, 7 января 1784 г.

Возлюбленная! Не бойся. Разве может что-нибудь дурное приключиться со мной, когда такой ангел, как ты, охраняет меня своей любовью? Рейткнехт все рассказал мне, сам растроганный тем, что он видел. В рыцарском зале Лавала—толпа людей, бледные лица, изодранные одеж-

ды, худые, покрытые пузырями от мороза, руки и ноги, — все это освещено ярким пламенем камина и среди них — ты, бесстрашная, даже перед самыми грубыми людьми!

Я посылаю тебе сегодня пару сильных мужчин для твоей защиты. Огненный сигнал на горе — и в самый кратчайший срок я буду возле тебя!

Принц Фридрих-Евгений Монбельяр—Дельфине.

Этюп, 9 января.

Бродяги ворвались в замок. Я со своими людьми прогнал их. Выстрел попал мне в бедро. У меня только одна мысль—ты! Мой рейткнехт мчится впереди коляски, которая везет меня к тебе. Никто, кроме него и кучера, не знает о цели моей поездки.

Барон Вурмзер—Дельфине.

Страсбург, 10 февраля 1784 г.

Уважаемая кузина. Тщетно хотел я повидать вас во Фроберге и только там узнал, что вы находитесь в Лавале. После долгой внутренней борьбы, я счел своею обязанностью сделать вам следующее сообщение: граф Калиостро — обманщик. Своими силами — я слишком много слышал и видел, чтобы мог сомневаться в этом, — он пользовался дьявольским образом для уловления своих жертв. И я тоже принадлежу к их числу. Маленькое состояние, которое у меня было, теперь находится в его руках. Я подумывал о том, чтобы велеть его арестовать без дальнейших церемоний, но у меня нет доказательств, а свидетели, на которых я бы мог сослаться, откажутся говорить, частью из трусости, частью из боязни выставить себя в смешном свете. Кроме того, ведь все деньги, полученные графом, были отданы ему добровольно. Себя я уже не могу спасти, но, быть может, могу спасти других.

Чтобы все уяснить себе, я не высказывал никому своих сомнений и несколько дней тому назад отправился на сеанс во дворец кардинала, где, кроме хозяина и меня, находился также, только что вернувшийся из Парижа маркиз, ваш супруг. Ожидали словно какого-то чуда.

Кучи золота лежали наготове, что всегда являлось предвратительным условием для всех экспериментов. Чем дальше оставались безрезультатными опыты, тем взволнованнее становился кардинал. «Я погиб, — я и вы!» закричал он, наконец, в безумном отчаянии. И когда граф в ответ громко расхохотался, то он бросился на него, схватил его точно железными тисками за горло, и зарычал, как дикий зверь: «Миллион или...!» Мы с трудом оторвали его, и пока я возился с беснующимся, Калиостро покинул комнату вместе с маркизом.

Роган вчера уехал в Париж. А маркиз заперся с обманщиком, которому он тем больше доверяет, что надеется пользоваться его силами только для себя одного.

Только вы, дорогая кузина, можете спасти ослепленного и вместе с этим свое собственное существование. Что бы ни разлучало вас с ним, что бы ни удерживало вас в Лавале — приезжайте скорее! Если бы вы могли видеть маркиза, когда он, сгорбленный, с дрожащими коленями, бредет по улице, если бы вы посмотрели на его глаза с красными воспаленными веками, отвыкшие от сна, на его выдавшиеся скулы, то, наверное, сострадание привело бы вас к нему, даже если бы он и был вам совершенно чужой!

Маркиз Монжуа—Дельфине.

Страсбург, 5 февраля 1784 г.

Моя милая. Ваше предложение сделано с добрым намерением, но ваша тревога всетаки неосновательна. Я здоров, ради меня вам не зачем покидать Лаваль. Химические опыты, которыми я занимаюсь, носят чисто научный характер. Вас должно успокоить то, что это занятие заменило мне все, что прежде наполняло мою жизнь: двор, политику и женщин.

Я слышал, что вы устроили в своем замке нечто в роде госпиталя. Женщины, дети и старики находят у вас приют от голода и холода, а за больными вы ухаживаете. Все это очень похвально и может, разумеется, заставить такую благонравную женщину, как вы, забыть все удовольствия Версаля.

Кузен Вурмизер, о котором вы спрашиваете, занят теперь, вместе с г. Адорн, сооружением нового воздушного шара. Таким образом, каждый старается найти для себя отвлечение от мыслей и воспоминаний, которые не всегда бывают приятны!

Бомарше—Дельфине.

Париж, 30 апреля 1784 г.

Прекрасная маркиза. Вы любите только тех, кто угнетен, и, повидимому, вам больше нравится утешать, нежели восхищаться? С тех пор, как Фигаро торжествует, вы ему изменили! А между тем, я среди беснующегося от восторга театра думал о вас. Я искал вашу очаровательную головку во всех ложах. Мне не хватало властительницы сердец, перед которой победитель в турнире склоняет колено, чтоб она увенчала его.

Фигаро победил, маркиза! И он выпустил на свободу мысли, заключенные в темноте трусливых голов. Он вернул речь немому и зрение слепым. Скоро не найдется в Париже ни одной рыбной торговли и ни одного носильщика, которые не приветствовали бы бурным ликованием его появление. Собак и кошек на всех улицах называют его именем, а уличные девки и придворные дамы носят шляпы и мантильи à la Фигаро. Таким образом его имя постоянно и громко звучит в ушах тех, кто его проклиняет.

Это была комедия в комедии. С раннего утра толпа осаждала двери театра, знатные дамы, чтобы поскорее получить местечко в театре, часами дожидались в гардеробной какой-нибудь маленькой актрисы, герцогини сражались за места с публичными женщинами. Весь Версаль был в театре. Король оказался в этот вечер совершенно покинутым!

«В чем состоит ремесло царедворца? — спрашивал Фигаро. — В том, чтобы принимать, брать и требовать!» — и в ложах знатные господа и дамы, бледные, прислушивались к грому рукоплесканий партера.

Поистине, еще безумнее, еще необузданнее моей пьесы оказывается ее успех!

Громкий шум, поднятый ею, заглушает тайный шопот, который все упорнее, все враждебнее пробирается сквозь задние двери замков и дворцов.

Вы помните ту пьесу, которую я наблюдал? Ну, вот оттого, что в ней участвуют знатные актеры и актрисы, она, пожалуй, не закончится шансонетками, подобно Фигаро! Даже граф Шеврез — он в отроческом возрасте, вероятно, был близнецом моего Керубина — настолько уже лишился своего легкомыслия, что Гимар дала ему отставку.

Почему я вам пишу? Из тщеславия и из любопытства. Во Франции такая красивая женщина, как вы, удаляется от света только по трем причинам: или у нее оспа, или у нее муж Синяя борода, или она имеет возлюбленным своего лакея. Так как ни одна из этих причин не может быть применима к вам, — оспа постыдилась бы портить такое прелестное личико, как ваше, супруг ваш, маркиз, предался чорту, а у вас слишком хороший вкус, чтобы вы могли вступить в любовную связь со служащим, — то невольно возникает вопрос: что же мешает вам осчастливить нас своим присутствием?

Я ищу нового материала для пьесы. Может быть, вы доставите мне его, если только тут нет никакой трагедии?

Маркиз Монжуа — Дельфине.

Страсбург, в июле 1784 г.

Сообщаю вам, чтобы вы не прочли этого раньше в газетах, что с бароном Вуризером вчера случилось несчастье, при первом же под'еме на воздушном шаре Адорна. Упав с высоты около тридцати метров, он сломал себе обе ноги. Доктора подают надежду на сохранение его жизни. Я вчера разговаривал с ним. Он посылает вам поклон и, кроме того, настоятельно просил меня передать вам, что он только теперь фактически «не удержался на высоте!»

У меня есть просьба к вам. Мое здоровье не важное. Лечение в Спа принесло бы мне пользу, и мне было бы очень желательно, чтобы вы сопровождали меня. Все не-

приятные толки и слухи были бы подавлены в самом зародыше этой совместной поездкой.

Если вы согласны, то я, при первой же возможности, сделаю дальнейшие распоряжения.

Принц Фридрих-Евгений Монбельяр—Дельфине.

Монбельяр, 25 июля 1784 г.

Это была ужасная поездка! Душная, темная ночь; лишь вдали, на горизонте, местами вспыхивает бледная молния, изредка освещая его. Сердце полное горя и пылающее гневом, — гневом на тебя, моя ненаглядная Дельфина, на тебя, разрушающую наше счастье из-за своей собственной доброты!

Только потому, что старику внезапно пришла фантазия показаться перед светом с молодой, прекрасной женщиной, ты немедленно же выразила готовность исполнить его желание? Ты уверяешь, что обязана ему благодарностью. За что? За то, что он предоставляет тебе свободу? Делает ли он это из доброты или, скорее, из себялюбия? Он не мешает тебе, потому что не хочет, чтобы ты ему мешала в его тайных занятиях. И вот, потому, что он не видит наших отношений, — не хочет их видеть! — ты считаешь его самоотверженным, достойным удивления другом? Я же считаю его жалким трусом! Тебе представляется выражением лишь скромного желания то, в чем я вижу осуществление закрепленных документами супружеских прав. Он нисколько не заботится о тебе, пока это удобно для него, но тотчас же требует тебя к себе, как только у него является старческое желание иметь тебя возле себя. И ты склоняешься перед его требованием! И меня, которого сама природа отдала тебе, — меня, единственного, которому ты принадлежишь во имя вечной любви, — ты отпускаешь от себя!

Ты говоришь, что маркиз несчастен. Но большое несчастье может испытывать только большой человек. Несчастье маркиза мелкое, холодное, презренное, и ты хочешь принести ему в жертву наше великое, горячее, сверкающее счастье!

Ты говоришь: он не перенесет правды, если у тебя

найдется мужество сказать ее. Что было бы потеряно если бы, действительно, это сгубило его? Существует ли на свете хоть один человек, для которого он был бы незаменим? Оставит ли он после себя такой пробел, который никто не в состоянии будет заполнить?

Я люблю тебя, Дельфина, за твою трогательную доброту, не желающую никому причинить страданий, за твою заботливую любовь, всегда готовую оказать попечение и защиту всему слабому и старому. Что было бы со мной теперь без твоих мягких, нежных ручек? Но жизнь, дорогая моя, сурова и тверда; гнилое дерево не должно мешать молодым деревьям устремляться к свету, и состарившееся государство, дрожащее в своих глубочайших основах, не должно находить у нас защиту, если оно уже стало тесным для нового поколения!

Мы будем разлучены на целые месяцы и не станем мучить друг друга письменными жалобами и упреками. Но ты, возлюбленная, должна испытать свое сердце и окончательно решить, когда мы с тобою увидимся. Он или я — вот вопрос, который я ставлю перед тобой!

Маркиз Монжуа—Дельфине.

Париж, 30 сентября 1784 г.

Моя милая. Я рад был услышать, что вы хорошо перенесли путешествие, и пользуюсь случаем, чтобы выразить вам благодарность за время, которое вы посвятили мне. Я надеюсь, что вы не совсем без удовольствия будете вспоминать о вполне спокойных неделях, прожитых вами, что было необходимо и для вас.

Мое пребывание здесь продлится самое большее месяца два. Париж, где повсюду выдвигается чернь, и Версаль, где ничего нет, кроме лакейского духа—противны мне.

Королева играет пастушеские пьесы не только на сцене, но и в собственном будуаре. Во всех парижских кофейнях рассказывают теперь, что Шеврез и Водрейль—ее партнеры.

Каллон, с которым я разговаривал, находится в очень скверном настроении. Он с радостью представил бы к

высшему ордену монархии того, кто указал бы ему возможность ввести новый налог. Беспредельные посещения разных верховных гостей—только что шведский король покинул Париж—поглощают громадные суммы, что, естественно, действует раздражающим образом в такое время небывалой дороговизны, какое мы переживаем. В беднейших кварталах Парижа полиции приходится беспрестанно подавлять возмущения, в которых принимают участие даже женщины. Весь Париж звенит от песен, осмеивающих благотворительность королевской семьи, дворянства и финансистов. Что шведский король пожертвовал десять тысяч франков на бедных, а на триста тысяч закупил фарфора только в одном Севре, и что ее величество дала пятьсот лундоров на раздачу супа бедным, а сама осталась должна тысячу m-me Берген за новый туалет—все это, разумеется, доставляет обильный материал для таких песен, тем более, что все это неизбежно предается широкой омаске. Пришлось бы заточить в тюрьму половину парижского населения, если бы, как прежде, стали наказывать за каждую насмешку, за каждое оскорбление короны и церкви!

Я доволен, что могу вернуться к ненарушимой тишине моей лаборатории. Что я отпустил большую часть слуг во Фроберге, это вас не должно беспокоить. Удерживать их там,—значило бы воспитывать тунеядцев.

Принц Фридрих-Евгений Монбельяр—Дельфине.

Этюп; 3 октября 1784 г.

Как я ждал письма от тебя! Чем больше возрастало мое страстное желание увидеть тебя, чем более яркими красками рисовало мне мое воспоминание картину прошлого счастья,—тем сильнее укреплялась во мне уверенность, что Дельфина будет моей, вполне моей!

И вдруг эти загадочные строки: «Жди меня в Этюпе. Каждое дерево, каждый цветик, каждая маленькая струйка будут просить за меня!» Ты приходишь ко мне и нуждаешься в каком-то заступничестве?! Но я не хочу раздумывать об этом, не хочу оскорблять тебя никаким подозрением, хочу жить только блаженным ожиданием.

Каждый день я наполняю вазы свежими цветами, каждый день велю ставить на круглый стол, в садовом зале, корзины, наполненные фруктами. И когда я одиноко сижу за своим обедом, то всегда наполняю два стакана пламенно-красным вином. Я смотрю часами в подзорную трубу на дорогу, стою на террасе, пока не начну дрожать от сырого осеннего ветра, и жду, не покажется ли платье, не услышится ли голос...

Когда ты придешь, возлюбленная, чтобы больше не уходить? Все готово!

Принц Фридрих-Евгений Монбельяр—Дельфине.

Этюп, 23 ноября 1784 г.

И вот ты опять ушла! Словно темное, траурное покрывало повис туман над садом и печально стоит белый маленький замок с закрытыми ставнями. Я не могу оставаться здесь без тебя, здесь точно кладбище теперь! В каждой комнате, на каждом стуле, перед каждым столом и—снаружи, под вязами и плакучими ивами, как будто погребено мое мертвое счастье. Последние, поздние цветы, которые ты сорвала, вянут в стаканах и наполняют запахом разложения комнаты, которые так недавно были полны ароматом твоего присутствия.

Ты одарила меня непонятным блаженством, ты превратила дни в сладостные сновидения, а ночи—в праздник богов. Не была ли ты тайком у Афродиты и не у нее ли ты научилась изготавливать волшебный напиток любви, обуздывающий мысли, прогоняющий сомнения и сковывающий волю?

Только теперь я начинаю пробуждаться от опьянения. Разве ты не сказал мне: «Имей терпение!» Говорила ли ты о нескольких неделях или это были месяцы!?

Ты оставила также без ответа вопрос, который я поставил тебе, когда ты велела мне уйти! Сегодня я сидел перед храмом Венеры, под дождем желтых листьев, сыпавшихся на меня, и вдруг,—улыбка богини показалась мне такой насмешливой, такой... двусмысленной!

Дельфина, возможно ли, что ты только мной играла? Пирш, Шеврез, Альтенау,—снова приходят мне на ум все

эти имена, которые довели меня некогда до отчаяния, забытого мною только в твоих объятиях. Или же я только увеличиваю собой этот ряд?..

Принц Фридрих-Евгений Монбельяр—Дельфине.

Монбельяр, 6 декабря 1784 г.

Возлюбленная! И я мог тебя мучить, когда ты и без того пережила столько дурного! Я слышал о внезапном исчезновении Калиостро. До меня дошли даже слухи, что Роган из-за этого пробовал лишить себя жизни. Он все потерял и увлек за собой еще других в эту финансовую катастрофу.

То, что тебе пришлось пережить, моя любимая, глубоко потрясло меня. Это было ужасно, когда маркиз, в слепой ярости, разбивал молотком свою лабораторию, так что народ, привлеченный шумом, сбегался к его окнам. И как должно было обливаться кровью твое нежное сердце, когда этот несчастный, обманутый, упал перед тобой, заливаясь слезами.

Нечто в роде сострадания к нему шевелится даже в моем сердце. Я постараюсь отогнать от себя все сомнения, все упреки и нетерпение, пока этот старик не оправится, и ты не будешь в состоянии обсудить положение. Для него должно быть утешением то, что он потерял только половину своего состояния. Для тебя же, моя ненаглядная, это безразлично. Если ты придешь ко мне, окутанная только мерцающим шелковым покрывалом твоих волос, то принесешь мне с собой все неисчерпаемые богатства земли!

Принц Фридрих-Евгений Монбельяр—Дельфине.

Монбельяр, 15 января 1785 г.

Ты возвращаешься назад, в Лаваль? Так внезапно? Твой почерк дрожит, как будто твоим пером управляет биение твоего сердца?..

Я следую пешком за посланным.

Маркиз Монжуа—Дельфине.

Страсбург, 17 января 1785 г.

Моя милая. Ваше сообщение гораздо менее поразило меня, чем вы это думаете. Уже три года назад кардинал обратил мое внимание на ваши отношения с принцем Монбельяр. Я считал это тогда одною лишней связью, не больше, и был убежден, — не только доверяя предсказаниям Калиостро, но и на основании воспоминания о том, как быстро вы отставляли своих прежних любовников, — что вы тем скорее покончите и с этой связью, чем скорее я буду в состоянии создать вам положение, которое делает вас предметом зависти всех женщин Европы. Но и обманулся в обоих направлениях, и если, несмотря на это, моя вера в ясновидение графа укрепилась, то только потому, что ведь он предсказал вам, как вы помните, появление еще одного ребенка! А я только ошибочно вообразил, что этот ребенок будет также моим!

Но мы не будем волноваться по поводу этого дела больше, чем это нужно. Это, в лучшем случае, ошибка, которая, при данных обстоятельствах, может быть исправлена. Я знаю в Париже врачей, которые исключительно занимаются такого рода операциями и вследствие своей огромной практики производят их всегда с благополучным исходом.

Как сложатся обстоятельства потом—это будет видно. Обыкновенно такое событие действует, как морозная погода на веселый источник любовных утех. В таком случае мой долг всегда будет служить для вас убежищем.

Маркиз Монжуа—Дельфине.

Страсбург, январь 1785 г.

Моя милая. Я должен признаться, что на этот раз вы меня действительно поразили. Вы хотите иметь ребенка? «Даже если бы мне пришлось сознаться перед целым миром в его происхождении!» говорите вы. Вы утверждаете даже, что уже теперь горячо любите его, — «потому что я никогда не любила и не буду любить ни одного мужчину.

кроме его отца!» заявляете вы. Тогда остается только один выход.

В моей жизни все ускользнуло из моих рук: любовь, власть, богатство. Только одно я мог сохранить до сих пор — незапятнанный щит моей чести. Но вы могли лишить меня его. Чувство, которое я питаю к вам и которое вы, во всяком случае, можете назвать любовью, делало меня слабым в вашем присутствии, и я не стал насильственно приковывать вас к себе. Сознавая свою вину,—так что это казалось мне даже чем-то в роде искупления,—я не мешал вашим, как я думал, мимолетным удовольствиям, которые я сам не мог вам доставить.

Теперь же, как я полагаю, мы расквитались. Оставьте у себя ребенка, но в глазах света это будет мой ребенок. Вы должны немедленно же вернуться в мой дом и мне, конечно, не надо вас уверять, что ваше положение останется таким же, как было всегда.

Мое решение относительно этого пункта неизменно. И я не отступлю даже перед серьезными мерами, если вы вздумаете сопротивляться.

Принц Фридрих-Евгений Монбельяр—Дельфине.

Страсбург, 30 января 1785 г.

Возлюбленная Дельфина. Только что вернулся после длинного разговора с маркизом. Я скрыл от тебя свое намерение посетить его, чтобы не испугать тебя. Теперь я пишу тебе, моя единственная, дрожа от страха, потому что от тебя будет зависеть, увидимся ли мы опять!

Я предложил маркизу вызвать меня на дуэль на самых тяжелых условиях. Но он отклонил это с презрительным смехом.

— Если бы дело шло о простой связи маркизы, то, быть может, об этом можно было бы говорить,—сказал он.—Я или вы остались бы на месте, это стоило бы несколькими слезами больше или меньше, и только! Замена для каждого из нас была бы скоро найдена. Но, к сожалению, тут приходится иметь дело с той неудобной страстью, которая в романе гораздо красивее, чем в жизни. Что же вы думаете, сохранилась бы моя честь незапятнан-

ной, если бы вы пали? Предполагаете ли вы, что маркиза вернулась бы когда-нибудь в мой дом после этого? И считаете ли вы возможным, чтоб она могла быть счастлива над моей могилой,—счастлива с вами, от руки которого я бы погиб... Нет, судьбы людей, как и народов, не решаются больше ударами меча!..

Я молча слушал с поникшей головой, я должен был сознаться, что он прав. Когда же я потом попытался склонить его к разлуке с тобой, то он оказался неумолим.

— Маркиза знает мой ответ. Ей предоставлен выбор. Только тогда, когда она не будет допускать явных последствий своей связи, я готов,—так как я раз навсегда отказываюсь от своих супружеских прав,—предоставить ей жить в Лавале от времени до времени. Но если родится ребенок, то это будет мой ребенок и будет принадлежать к моему дому.

Ты должна выбрать между мной и еще неродившимся, между твоим возлюбленным и надеждой, которая еще не стала жизнью!

Неужели ты будешь так немилосердна и решишь процесс ~~этот~~ против нашей любви? Ты не можешь желать убить меня, Дельфина, и не можешь заковать себя в цепи! Я заклинаю тебя каждым воспоминанием, которых у нас так много, каждым чувством, которые мы делили вместе, каждой мыслью,—оставайся верна любви! Если ты мужественно принесешь в жертву этот первый плод нашей любви, то у нас останется радостное настоящее и надежда на свободное будущее, когда тебе можно будет родить счастливых детей. Если же ты этого не сделаешь, то нам ничего больше не остается, кроме скорби о том, что потережно навеки.

Не отвечай мне. Ты можешь принять слишком поспешное решение, когда твои глаза не будут читать в моих глазах, что ты произносишь мне смертный приговор.

Прику Фридрих-Евгений Монбельяр—Дельфине.

Монбельяр, 5 февраля 1785 г.

«Я не могу умертвить ребенка, потому что это твой ребенок! Его жизнь является для меня ручательством, что

нас ничто не может разлучить».—Я ношу на своем сердце эту записку, которую передал мне старый садовник, когда я стоял на опустевшем дворе, перед закрытыми дверями.. точно изгнанник!

Я пробую сердиться на тебя—и люблю тебя все больше! Я пробую ненавидеть ребенка—и чувство глубокой нежности охватывает меня!..

Время, в течение которого он будет покоиться под твоим сердцем, должно быть для меня священным, и мое страдание не должно тебя беспокоить.

Прощай!

Маркиз Монжуа—Дельфине.

Страсбург, 12 июля 1785 г.

Моя милая. Так как мне представляется желательным устранить от вас всякий повод к волнению, в течение последних недель перед вашими родами, то я и не последую за вами во Фроберг теперь же, а останусь в Париже, куда меня призывают неотложные дела. Если я до сих пор тщетно старался умножить наше состояние, то теперь я должен позаботиться о том, чтобы сохранить его,—хотя бы уже ради наследника, которого я себе избрал.

Я тотчас же переговорю с доктором Дузе и попрошу его быть во Фроберге в назначенное время.

Маркиз Монжуа—Дельфине.

Париж, 25 июля 1785 г.

Моя милая. Я боюсь, что тревожные известия в газетах могут напугать вас, поэтому я и тороплюсь предупредить вас раньше. В Париже, громко и по секрету, говорят теперь о каком-то сказочном ожерелье, которое будто бы кардинал купил по поручению королевы и за которое она, очевидно,... позабыла заплатить!

Вчера я был приглашен на ужин в Трианон. Когда я вошел в замок, то меня поразили громкие голоса и смех, дошедшие до моего слуха, как будто я очутился на крестьянской ярмарке. Удивленный, я остановился, как вдруг двери в театральный зал раскрылись и оттуда ринулась

группа людей, среди которых находилась королева, очень разгоряченная, очень веселая, а непосредственно за нею, с видом триумфатора, шел г. Бомарше. Я поклонился, немного менее низко, чем обыкновенно.

— Мы репетируем «Севильского цирюльника»!—услышал я громкий голос Бомарше, словно командующего на параде. Необычайно изумленный такой неслыханной бесцеремонностью, я ожидал взрыва. Но королева рассмеялась еще громче. Однако, как мне показалось, в ее голосе слышался фальшивый звук.

За ужином я наблюдал за ней. Краснота и бледность попеременно сменялись на ее лице. Нарушая всякий этикет, она, тотчас же после ужина, встала из-за стола и исчезла... вдвоем с Шеврезом, в темных аллеях парка. Мы все примолкли. Только Бомарше старался своими рискованными шутками поднять общее настроение.

Бомарше в качестве режиссера королевы!—Я склонен верить теперь самым дурным слухам.

Вчера вечером я решился осмотреть знаменитые аркады Пале-Рояля, построенные герцогом Шартрским, как будто нарочно для того, чтобы давать убежище всякому темному сброду. С наглыми речами мужчин может поспорить только бесстыдство женщин, посетительниц аркад. И с этим обществом смешивались с явным удовольствием мужчины и дамы придворного круга, возвращаясь из оперы, и я должен со стыдом признаться, что в тоне разговора и в обращении почти нельзя было заметить разницы между высшим обществом и этим уличным сбродом.

Маркиз Монжуа—Дельфине.

Версаль, 16 августа 1785 г.

Ужасное событие, моя милая, задерживает мой отъезд. Кардинал, принц Луи Роган, был арестован вчера у капеллы версальского замка, в полном облачении и в присутствии всех сановников двора!

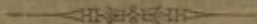
Едва произошло это неслыханное событие, как все члены семьи Рогана: принцы Субиз, Геменэ и Монпансье, вместе с епископами и кардиналами, тотчас же покинули замок. Король и королева увидели перед собой, когда по-

явились, почти совершенно пустой зал. Мария-Антуанетта была, повидимому, близка к обмороку.

Что случилось—этого никто не знает в точности. Говорят, что Роган принес себя в жертву ради королевы. Калиостро ведь предсказал ему: «с вашим именем будет связано освобождение Франции!»

Принц Фридрих-Евгений Монбельяр—Дельфине.

Всю ночь я стоял, как вор, под твоим окном, моя любимая! Каждый крик, который я слышал, разрывал мне сердце. Потом наступила тишина—могильная тишина... И вдруг тихий плач, точно чириканье птички, донесся ко мне через темноту. Наше дитя! Ты, моя ненаглядная жена! Положи ему красные лепестки этой розы на сердечко. Его бедный отец шлет ему привет!



ПОСЛЕДНИЙ АКТ.

Принц Фридрих-Евгений Монбельяр—Дельфине.

Париж, 3 мая 1786 г.

Наконец-то, возлюбленная, весть от тебя! Она снимает с нас запрещение и не только подает мне надежду на свидание с тобой,—в мыслях об этом я колеблюсь между мукой и блаженством, так как должен купить это слишком большим унижением!—но, главным образом, сулит мне возможность обсудить с тобой великий вопрос нашего будущего. Целые месяцы я молчал. Быть может, я не в состоянии был бы исполнить твое желание, если бы передо мной не явилось чудное видение.

Это было в октябре прошлого года. Страстная тоска истомила меня. Я забыл все: твои желания, мои обещания!—и вот, перед восходом солнца я выехал верхом, твердо решив увидеть тебя, если бы даже мне пришлось взорвать стены замка. Чем ближе становилась моя цель, тем больше я прищипывал свою лошадь, которая, непривычная к такому обращению, мчалась, как бешеная, вперед. Я оставил ее внизу, в деревенском постоялом дворе, а сам пешком пошел на гору. Запертые ворота парка поддались моим ударам. Сквозь зелень уже белели стены маленького замка. «Гора радости», шептал я себе, охваченный трепетным ожиданием, и вдруг я остановился!..

Я услышал тихое пение. Столько нежности было в нем,—хотя это не была любовная песнь, столько ликования—хотя это не был гимн победы! Голос был мне знаком. Я уже хотел броситься туда, откуда неслись эти звуки, но что-то новое, чуждое в них обуздало мою страсть. Я подкрался сквозь чащу кустарника...

И тут я увидал тебя! На белой скамье, под темно-красным сводом каштанового дерева, ты сидела с маленьким мальчиком на руках; крошечный ротик его с жадностью прижимался к твоей обнаженной розовой груди. Ты меня не видела, твой взгляд был прикован к ребенку. Ты не чувствовала моей близости. Все твои чувства принадлежали ему, этому маленькому созданию! Мое страстное желание умолкло, и все-таки я еще никогда не любил тебя так сильно, так глубоко, как теперь! Но я ушел так же тихо, как пришел, никем незамеченный. Нарушить этот мир казалось мне святотатством.

И вот ты, моя дорогая, мать моего сына, я могу снова увидеть тебя, могу осмелиться думать о тех волнениях, которые тебе придется вынести и которые будут предшествовать нашему соединению. Ты ни слова не пишешь об этом. Я не нахожу даже в твоём письме веселого тона радости по поводу твоего приезда в Париж. Ты жалуешься, что маркиз все больше и больше требует твоего присутствия и что он с каждым днем все с большею гордостью настоящего отца взирает на мальчика. Я бы хотел, чтоб он выказал себя еще большим тираном,—тогда ты менее стеснялась бы добиваться своей свободы!

Не правда ли, ты ведь непоколебимо решила, что ты принадлежишь мне... одному мне?

Когда я, в Этюпе, проходил один по пустым комнатам, мне часто слышались шорох платья возле меня, и из коридора доносился ко мне звонкий детский смех. Были ли то призраки прошлого или, скорее, радостное предчувствие будущего? Когда мы соединимся, моя возлюбленная, что может удержать меня в этом кипящем адском болоте, называемом столицей?

Вся жизнь здесь превратилась в лихорадку, каждый случай становится исходным пунктом катастрофических событий. Перед парламентом, где обсуждается, в течение уже нескольких недель, история с ожерельем, стекаются с каждым днем все возрастающие и раздраженные толпы народа. Если показывается Роган, на пути в Бастилию или из нее, то его встречают бурными овациями, и было бы трудно понять, как это те самые люди, которые рычат на каждого политического реакционера, могут так при-

ветствовать кардинала, врага всякого прогресса, если бы не было слишком ясно, что в этот момент они видят в нем только жертву монархического произвола! Кажущаяся любовь к нему есть не что иное, как самая настоящая ненависть к абсолютизму.

Я сам с возрастающим участием следил за производством дела, хотя по традиции оно и было секретным. Но это соблюдалось только на бумаге, как и много других традиций. Роган держит себя как благородный человек, спокойно, с достоинством, и не говорит ни одного лишнего слова.

Зато Ламотт, его соучастница, безумствует и всем своим поведением доказывает, что кровь Валуа, которой она хвастается, течет в ее жилах в очень разжиженном виде. Нет никакого сомнения, что свой последний неосторожный шаг кардинал совершил по наущению этой ловкой авантюристки. Но ее личность, выступающая в ярком освещении судебного следствия, бросает темную тень на личность другой особы, той, имя которой никто не осмеливается произносить в этом зале, но на которую новая грозно возрастающая сила—общественное мнение—уже указывает,—с трагической серьезностью и в разнузданных шутках,—как на истинную виновницу. Это—королева. Ожерелье, блестящие камни которого потускнели от последнего чумного дыхания умирающего короля, породило теперь еще более опустошительную эпидемию, чем та, от которой погиб Людовик XV.

Король и королева почти изолированы теперь. Духовенство и дворянство не могут простить им унижительного способа ареста одного из первых сановников церкви и аристократии, а народ с радостью пользуется случаем, чтобы стащить королеву в грязь своих человеческих слабостей. С тех пор как стало известно, что Калонн употребил часть денег из государственного займа, чтоб уплатить долги графа Артуа и герцога Бурбонского, всякий фантастический слух относительно добывания денег встречает уже полное доверие. Даже такой честный парень, как Люсьен Гальяр, с которым я вижу каждый вечер в Пале-

Рошле, был убежден в существовании в замке Трианона серебряного пола и брильянтовой залы.

Популярности Гальяра мог бы позавидовать каждый министр. Вследствие последнего остатка рабской покорности, всегда испытываемой буржуа перед аристократами, общественное мнение вообще тем более заглушает свой голос, чем выше ранг того, кого оно видит перед собой и поэтому к стенам королевских замков доносится лишь его отдаленный ропот. Гальяр же находится совершенно на высоте своего времени и настолько уже не чувствует словесных различий, что я,—позволь мне, со смехом, сознаться тебе в этой слабости!—зачастую очень неприятно чувствую его равенство, при всем моем теоретическом признании полной справедливости такого положения. Я уже подумывал как-то о том, чтобы взять его в качестве дворецкого в Этюп, но я все еще не могу свыкнуться с мыслью дружески пожимать руку своему подчиненному и считать его взгляды такими же правомерными, как и мои.

По тому затруднению, которое я испытываю, порывая с простыми формами прошлого, я сужу и о том, как трудно, и почти невозможно, абсолютному монарху отказаться от внутреннего содержания этих форм.

Недавно я обедал в Версали. Король очень плохо выглядит и стал необыкновенно серьезным, а королева проплетает искусственную веселость. Говорят, что нежное телосложение дофина тревожит ее, и эту тревогу не может прогнать даже цветущий вид ее второго сына. Свою ферму в парке Трианона, где она провела самые веселые часы своей жизни, королева предоставила для жительства двенадцати супружеским парам бедняков, а после злополучного представления «Севильского Цырюльника»,—состоявшегося через два дня после ареста Ротана, когда ей пришлось играть перед наполовину пустой залой, и публика оказалась скупа на аплодисменты,—королева уже ни разу не переступала порога маленького театра.

Оттого ли мир рисуется мне такими мрачными красками, что твое присутствие уже не освещает его, или же зрелые годы мешают мне видеть все, как прежде, окрашенным в розовый свет юности? А, может быть, действительно, грозовые тучи летней ночи окутывают все кру-

гом? Только с тобой, моя любимая, я решусь ближе подойти к этому вопросу.

Я вспомнил еще об одной встрече. В клубе я столкнулся с г. фон-Альтенау. Он как будто хотел уклониться от меня, но так как он занимает влиятельный пост в органе Неккера, «*Journal de Leyde*», я был заинтересован им и отправился с ним вместе, когда он вышел из клуба. Он был молчалив. Только на Пон-Неф, где Сена, освещаемая новыми красными фонарями, медленно течет, точно потоками крови, Альтенау стал разговорчивее. Он спросил о тебе и рассказал торопливо о том, что испытала ты однажды на этом самом мосту; когда я ему сообщил, что ты обрадована рождением сына, у него из глаз хлынули слезы. Знала ли ты, что он так любил тебя? Впрочем, кто же из тех, кто знает тебя, может не любить тебя?

Я едва осмеливаюсь надеяться, что ты, действительно, через четыре недели будешь здесь, ты и твоё дитя,—наше дитя, Дельфина!

Зачем надо принимать такие предосторожности с этим письмом? Разве маркиз следит за твоей корреспонденцией? Это, однако, мало подходит к его благородной натуре!

Крепко прижимаю тебя к моему сердцу. Ты моя милая, любимая жена! Я живу только ради того часа, когда я больше не отпущу тебя от себя.

Маркиз Монжуа—Дельфине.

Париж, 20 мая 1786 г.

Моя милая. После того как я нашел подходящую квартиру для нас в Отель де-Руа, я прошу вас как можно скорее выехать из Фроберга. Я уже дал необходимые указания нашему дворецкому, и никакие изменения не должны быть допущены. Пользование почтой, вместо собственных лошадей и экипажей, безусловно предпочтительнее в наше тревожное время. Когда у меня дорогой свалилась лошадь, и мой кучер отправился в ближайший крестьянский двор за помощью, то крестьянин наотрез отказал ему, заметив при этом: «Прошли времена, когда дворянин, не

имея лошадей, мог запрягать нас в свою коляску!» Путешествующие в почтовых экипажах, не выдавая своего сословия, не так легко подвергаются оскорблениям.

Вы, впрочем, сами убедитесь, во время вашего путешествия, как я был прав, восставая против вашего чрезмерного сострадания, привлечшего к нам во Фроберг всех нищих. Всюду теперь уже замечаются явные признаки усиления благосостояния, видны новые или хорошо исправленные дома, возделанные поля и люди в удобной одежде.

И несмотря ни на что, пробужденный однажды дух недовольства неискореним. Чем больше идут с реформами на встречу черни, тем она становится требовательнее. Как это подтвердили мне и сообщения моих друзей в Париже, слабость короля и страх министра финансов перед насильственным переворотом действуют в данном случае вместе, чтобы двигать нас дальше по этому пути. Процесс Рогана мог только ухудшить положение. После афронта, причиненного этим арестом, все благонамеренные люди отделились от двора. В этом случае я чувствую себя на стороне рычащей перед парламентом черни, требующей безотлагательного освобождения кардинала.

Не легко мне было променять спокойный Фроберг на Париж. Но, быть может, судьба всех нас зависит от ближайших недель и я не могу оставаться безучастным зрителем. Влияние, которое я еще имею у короля, должно быть использовано теперь. Причину, вынудившую меня вызвать вас из Фроберга,—к сожалению, вместе с малюткой, с которым вы не хотите расставаться, хотя ему было бы гораздо лучше в деревне—я бы хотел объяснить вам в нескольких словах, так как я, как вы знаете, избегаю словесных пререканий, которые легко ведут к сценам. У меня еще нет доверия к вам. Монбельяр и Этиоп находятся слишком близко, и поэтому у меня возникает опасение, что мать моего наследника может забыться.

Маркиз Монжуа—Дельфине.

Париж, 22 мая 1786 г.

Моя милая. Я вынужден до вашего отъезда написать вам еще несколько слов, для того, чтобы вы знали, чего

я жду от вас. Вчера я видел принца Монбельяра. Вы, следовательно, будете встречаться с ним в обществе, и само собою понятно, что мы не можем избегать его, чтобы не давать повода к разным толкам. Поэтому я требую от вас торжественного обещания, что вы не возобновите с ним отношений. Я не стану напоминать вам о благодарности, которую вы должны чувствовать ко мне, спасшему вас и ребенка от публичного позора. Я хочу только объяснить вам, что с того момента, как я признал своим наследником вашего ребенка, я сумею сохранить честь имени, которое я ему дал.

Вчера Роган был оправдан. Народ встретил его такими бурными овациями, что отзвуки их были слышны даже в самых внутренних покоях Версаля. Королева ваперлась одна в своей комнате. Она, может быть, чувствовала, что в этом оправдании заключается ее приговор!

Принц Фридрих-Евгений Монбельяр—Дельфине.

Версаль, 10 июля 1786 г.

Моя бедная голубка, что он с тобой сделал? Ты, моя прежняя, смелая Дельфина, стала такой боязливой, такой малодушной! Даже проникательные взоры моей любви не в состоянии были разгадать тебя, когда ты вчера стояла передо мною в академии, бледная и робкая, как маленькая девочка. Только твои бегло набросанные строки разъяснили мне это. Ты дала маркизу обещание, которое он от тебя потребовал. «Я покупаю себе этим грехом последний остаток свободы», пишешь ты и в трогательных словах просишь меня,—меня, от которого исходят все твои страдания!—простить тебе этот неправый поступок, как будто все твои грехи, возлюбленная, когда-нибудь могли быть грехами! Только твоя слабость, допустившая, чтобы маркиз назвал нашего ребенка своим, была несправедливостью против тебя самой, против нас, и она страшно мстит за себя! Но наша любовь будет достаточно сильна, чтобы и это преодолеть.

Мы не должны писать друг другу, говоришь ты. «Хотя маркиз никогда не унижится до того, чтобы сделать слуг шпионами, все же он видит и чувствует все, с тех

пор как никакой Калиостро не отвлекает его взоров». Но разве же мы не можем быть еще хитрее его?

Я спокойно поручил это письмо Гальяру, восхищение которого тобой превышает даже его республиканские чувства. Я в нем совершенно уверен. Мы будем вскоре встречаться с тобой в обществе, и чем оно будет многочисленнее, тем легче мы можем уединиться в толпе. Мы должны обсудить с тобой, как быть дальше, и... я должен иметь возможность целовать тебя снова, моя ненаглядная, для того, чтобы твои губки снова порозовели, и кровь вернулась бы к твоим щечкам. Я так люблю тебя, так люблю, и мое страстное желание так велико, что я, кажется, в состоянии был бы вынести все гадкие укрывательства тайной любви!

Увижу ли я тебя завтра у Пюи Сегюра, который, как он меня уверял, открыл какую-то новую, удивительную сомнамбулу,—а послезавтра у m-me Сталь, которая намерена блеснуть своим умом в какой-то новой общественной игре?

Никогда еще ты не была так обворожительна, как вчера, моя прелестная! Маленькая маркиза, с нежными ручками и ножками, с тонкой талией и грудью, возвышающейся точно роза из своей чашечки, и рядом с ней новая шведская посланница *), с крепкими костями, широким лицом, пытливыми глазами и в платье, напоминающем отчасти греческий пеплум, отчасти монашескую рясу. Даже Гибер, приветствовавший честолюбивую дочь Неккера как французскую Аспазию и выразивший свое уважение ко всей ее семье, в своей вступительной речи в академии,—чтобы совершенно сгладить воспоминание о своем прежнем отношении—на мгновение как будто растерялся, когда увидел тебя.

— Вы настоящий собиратель исторических документов эпохи, граф,—заметил ему у выхода Шансене.—М-ле Леспинас, маркиза Монжуа, m-me Сталь!..—Гибер, нахмурил брови, молча прошел мимо. Мне же хотелось хорошенько задать этому шутнику. Но по какому праву могу я вступаться за тебя, моя возлюбленная?

*) Г-жа Сталь.

Граф Гибер—Дельфине.

Париж, 23 июня 1786 г.

Прекрасная маркиза. Ваша мраморная холодность, по-видимому, не уступает никаким уверениям в преданности. Вы сердитесь на меня, как будто с полным правом, потому что я отдалился от вас. В действительности же я чувствовал себя отвергнутым. Всякий солдат лишь очень неохотно вспоминает свои поражения и поэтому сворачивает в сторону от крепостей, оказавших ему сопротивление!

Но если я не смог победить ваше сердце, то, по крайней мере, я хотел бы сохранить ваше доброе мнение.

Ум м-те Сталь обворожил меня как раз в такой момент, когда мое оскорбленное чувство должно было отступить и замкнуться в себе. Бывает такое утомление чувств, которое представляет самые подходящие условия для того, чтобы голова вступила в свои неограниченные верховные права. Тогда-то я стал смотреть на Неккера глазами его дочери и нашел в нем учителя и даже друга. Если бы вы чаще встречались с нею,—я надеюсь, м-те Сталь сумела бы постепенно завладеть вами, несмотря на вешти насмешки над ее излюбленными общественными играми, которые вы называете «пляской ума на канате». И вы согласились бы с нею, что единственным спасением Франции может быть только учреждение конституционной монархии по английскому образцу. Но в то время как англомания французского светского общества наносит опасный ущерб его светскому остроумию, его художественному вкусу, а драгоценные французские деньги обмениваются на английских лошадей, английские костюмы и экипажи, мы все же не можем решиться передать лучшее, что создал наш «исконный враг»—его государственную форму!

Вы видите, дорогая маркиза, как необходимо мне ваше присутствие. Будь вы здесь несколько дольше, я бы не смог говорить с вами о политике.

Посылаю вам обещанную программу лицей. Хорошо бы, если бы вы так же увлеклись ею, как дамы нашего общества, тогда я мог бы надеяться встречать вас и там! Кондорсе сделал очень хорошее вступление к своему математическому курсу,—который очень усердно посещается прекрасными слушательницами,—сказав: «Все претензии одинаково вытекают из невежества людей и еще из большего невежества тех, кто эти претензии признает. Поэтому мы думаем, что лучшим средством уменьшить количество претензий, это—уменьшить число ими обманутых. Знания, какого бы рода они ни были, полезны только тогда, когда они составляют общественное достоинство. Нет такого знания, которое не было бы вредным, если только небольшое число привилегированных обладает им».

Он не мог сказать ничего более подходящего к данному случаю—открытию общедоступных лицеев, и в то же время ничем не мог так возбудить против них духовенство! Старые и молодые!—в особенности женщины,—все стремятся на его лекции.

Разрешите ли вы мне проводить вас на одну из ближайших лекций? Если бы я знал, что это пробудит ваш интерес, я бы нашел время всегда находиться там в вашем обществе. В настоящее время встречаются перед кафедрой, точно так же, как раньше встречались в салонах.

Вследствие введения вначительных реформ в армии, над которыми мне приходится напряженно работать,—покойный Фридрих Прусский только теперь оживает для нас,—сообщения бедного барона фон-Пирша извлекаются из пыли архива,—я, разумеется, очень занят теперь.

Но мое сердце, прекрасная маркиза, свободно!

Люсьен Гальяр—Дельфине.

Париж, 4 июля 1786 г.

Уважаемая маркиза. Лицей—свободное государство, и туда открыт доступ даже горбатым. После того как слуга маркиза не принял горшка с цветущим растением,—хотя

он был прислан как будто, бы по вашему заказу, причем спрятанное в нем письмо благополучно вернулось ко мне,—я выбираю этот, более удобный путь. Если не получу от вас другого приказанья, то буду держаться этого способа переписки.

Так как вы были столь добры, что справились о моей судьбе,—чего никогда не приходило в голову никому!—то я осмелился приложить к письму принца и это письмо.

Мне живется недурно. Женщина, которая в минуту слабости произвела меня на свет, уже умерла. С помощью грязных денег, накопленных ею, я содержу ребят. Несколько парней, бежавших из монастыря, состоят их руководителями. Я же сам пишу статьи, памфлеты, песенки, и так как в материале для этого никогда недостатка не бывает, то нет недостатка и в людях, которые за это платят.

«Путь открывается таланту!..»—эти слова Бомарше становятся истиной. Я и дальше оставался бы предан тому, кто произнес их,—он охотно позволял мне составлять для него мемуары и политические статьи,—если бы не то, что для него это не являлось конечной целью. С тех пор, как королева позволила ему диктовать ей слова и поступки, его тщеславие победило в борьбе с его остроумием. Он выстроил себе дворец, как раз против Бастилии, на углу улицы, по которой ежедневно проходят толпы бедных рабочих из предместий! Они начинают понимать, что говорят камни: замок героя слова и крепость тирании!

В первый раз я испытал смущение, когда он выступил в защиту Компании парижских Вод против графа Мирабо. Я знал, что у него есть акции этой компании, ценность которых возросла втрое, так как эта настоятельная потребность народа сделалась предметом самой беззастенчивой спекуляции. Ответ Мирабо был ударом молнии для высохшего дерева его славы. Даже успех его оперы не спас его. Слова нашего великого мыслителя слушали охотно, но действия они не имели. Я отказался помогать ему. Тогда же я впервые пришел к заключению, что христианская добродетель поддерживать слабых является преступлением. Надо идти только с победителями.

И я нашел этих победителей в предстоящих битвах, я иду с ними шаг за шагом и осуществление наших надежд держу в своих руках, потому что я действую! Это помогает мне радоваться жизни. Моя последняя брошюра «Долой Бастилию!», выпущенная мною анонимно, — нельзя легкомысленно подставлять свою шею под нож других, когда надо наточить собственный нож! — была, конечно, конфискована. Но многие сотни успели ее прочесть и тысячи уже знают, что Бастилия — не простое здание, которое сторожат устаревшие пушки и полуинвалиды, а само государство!

Простите меня, маркиза! Мое перо уже привыкло к свободе, так же, как и я. Я не хотел вас пугать, ведь вы живете на другой звезде. Если бы я мог, то сохранил бы вам эту звезду. Но ведь и для вас это не была счастливая звезда!

Принц Фридрих-Евгений Монбельяр — Дельфине.

Париж, 4 июля 1786 г.

Дорогая Дельфина! Несмотря на то, что я мог в полумраке комнаты держать твою руку в своей руке, мог слегка коснуться губами твоей мягкой щеки, я все же прошу тебя прекратить посещение Пюи Сегюра. Ты недостаточно сильна, чтобы со спокойствием установившегося ума слушать речи сомнамбулы. И я сам должен признаться, то впечатление, которое производит эта бедная крестьянская девушка с Вогез, когда она говорит во сне, очень сильно. Я сделал сегодня опыт, в присутствии одного только Пюи Сегюра. Она описывала сцены из американского похода, которые только я один мог бы так отчетливо изобразить. Когда же мы стали расспрашивать о будущем, то ее снова охватил такой же мучительный страх. Она бормотала: «Кровь!.. кровь!..», в ужасе закрывала лицо руками, как будто видела своими закрытыми глазами что-то страшное и на цыпочках, высоко подняв юбку, проходила по комнате, говоря со стоном: «Кровь поднимается... поднимается!..».

Я бы, конечно, не стал придавать ее предсказаниям больше значения, чем выходкам какого-нибудь безумного больного, потому что я верю лишь тому, что может быть доказано,—мы уже уразумели, что «Система природы» Гольбаха является скорее продуктом человеческого высокомерия, нежели человеческой мудрости!—если бы не возникали повсюду подобные же явления. Мой старый рейткнехт пережил нечто подобное в одном постоялом дворе Сент-Антуанского предместья. Одна маленькая тапцовщица в Воксалле, заснувшая во время репетиции, имела страшные видения. Во всех кругах населения можно встретить людей, охваченных великим страхом, точно болезнью.

Может быть, моя единственная возлюбленная, мы с тобою не так легко поддались бы этой варазе, если бы наша преследуемая любовь не была полна страха. Чем это кончится?!

Так как маркиз хочет в воскресенье поехать в Сен-Клу, то, наконец, у нас будет возможность увидаться наедине. Будь в полночь под большой липой, в саду своего отеля. Я знаю такой вход, который защитит меня от всех нескромных взоров. Мы должны поговорить, хотя я впервые испытываю ощущение, что я обманываю человека, который мне доверяет.

Граф Гюи Шеврез—Дельфине.

Замок Сен-Клу, 25 июля 1786 г.

Прекраснейшая маркиза! Мы только теперь узнаем о вашем пребывании в Париже. Не потеряли ли вы, в конце концов, свое сердечко, отдав его какому-нибудь Мирабо—теперь это в моде—что вы так безжалостно позабыли нас? Принцесса Ламбаль одновременно пишет вам, чтобы пригласить вас в Сен-Клу, а я стараюсь прищипорить коня моего остроумия, чтобы он мог конкурировать с умом парижан. Ведь вы, как я узнаю об этом, к великому моему смущению, тоже состоите ученицей лица! Знаете вы прелестную песенку о лице? Вы ее получите,

когда приедете сюда. А покамест—в виде приманки!—я сообщаю вам лишь ее заключение.

Craignons, qu'une jalouse fée,
Bornant les sages du Lycée
Dans leurs projets,
Hors du giron de la science
Ne les change par sa puissance
En perroquets *).

Считаете вы в самом деле возможным, что мужчины и женщины, сидя вместе целыми часами в одном помещении, могут долго выдержать, и живое чувство не возьмет верх над сухой наукой? Или же бедная любовь должна обратиться в бегство перед всеми этими теориями и принципами, которые кажутся мне школьниками, вооруженными сеткой для ловли прелестных мотыльков, чтобы потом посадить их на булавку? Признаков для этого накопилось достаточно.

Возьмем хотя бы одежду для женщин—полумешок, полурубашка; для мужчин—темный фрак и жилет,—указывающую, повидимому, что она более не желает выполнить свою задачу: украшать и подчеркивать прелести носительниц. Но там, где прекращается желание нравиться, возникает грубость нравов, разговор становится тяжело-весным, фантазия уступает место рассудительности, искусства падают. Ум общества воспитывается только в таких кругах, где мужчины, находясь возле женщин, подстрекаемые желанием нравиться, стараются блистать своим остроумием и изощряют все способности своего ума, а женщины, в своей тихой борьбе за достойнейшего, постоянно помнят, что они—прекраснейшее произведение искусства природы.

Но философия наших дней, поучающая нас, не верящих в бессмертие, что никакая потеря не может быть так невознаграждена, как потеря времени, и ничто так не драгоценно, как время!—беспощадною рукой разрушила эту привлекательность нашей общественности. Наслаждаться хотят, но не давая себе труда нравиться. Без твердой уве-

*) Боюсь, чтобы какая-нибудь заботливая хозяйка, ограничив мудреных людей в их проектах, вне дома науки, не преобразила бы их своим могуществом, в попутее.

ренности в скором обладании, женщине почти уже не оказывают внимания. На каждое женское существо смотрят как на куртизанку, и если она хочет иметь успех, то должна конкурировать с куртизанкой.

Мы, моя красавица,—маленькая кучка приверженцев прошлого—бежали в Сен-Клу от Парижа и его реформ и теперь с содроганием замечаем, что эти реформы следуют за нами в образе Калонна.

Покупка Сен-Клу, к которой королева принудила его, окончательно лишила его спокойствия. Даже для Полиньяк, которая предпочла титулу герцогини его всегда открытый кошелек, он является теперь человеком с плотно застегнутыми карманами.

Приезжайте, дорогая Дельфина, чтобы богатством своей красоты и своего ума заставить нас позабыть о висящих пустых кладовых казначейства. Привезите с собой королеве свежий воздух Вогеz. Она очень страдает, а маленький дофин является как бы воплощением ее забот. Но ее всегда может развеселить какое-нибудь радостное событие.

Когда прелестная графиня Тюрпен обручилась с маркизом Лемьер, это послужило поводом к празднеству. Мы все явились в костюмах регентства и воображали, что вернулись эти счастливые времена. Одно меткое замечание остроумного отца невесты переходило из уст в уста. Лемьер из-за своих долгов, которые, впрочем, уплатила королева, не пользовался расположением Тюрпена и поэтому всячески старался подделаться к нему. Однажды он сказал ему: «Достаточно увидеть вас, чтобы поверить, что вы отец Туанеты!» Граф возразил ему с самым серьезным видом: «Вы забываете, monsieur, что мы имеем счастье жить в такое время, когда уже ничему больше не верят!».

Из этого длинного письма вы можете составить себе понятие, какие длинные разговоры ожидают вас здесь. М-те Кампан слышала, что новейшей модой в Париже является презрение к светской болтовне. Недавно какой-то герой пера высказал в *Mercure de France*, что это—«презренное искусство паразитирующей придворной сволочи!» Любезный тон, который принимают по отношению

к нам, пользуясь ругательным лексиконом, введенным парижским парламентом и старательно им обогащаемым!— Он добавил, что следовало бы, наконец, перестать обучать юношество этому искусству, тем более, что оно самое бесцельное из всех искусств!

В самом деле, идеалисты такого сорта, как Лафайет, не могут натворить столько зла, сколько делают революционные филистеры, которые преклоняются перед целью, как перед божеством. Они еще превратят наши замки в казармы и будут в наших розовых садах сажать репу!

Вы знаете, что полем моих битв всегда был паркет. Только недавно я велел наточить свою шпагу, и ношу пистолеты в карманах плаща, потому что я твердо решил, что сдамся парижской черни только тогда, когда я буду уже не я, а комок кровавых лохмотьев!..

Принц Фридрих-Евгений Монбельяр—Дельфине.

Париж, 2 августа 1786 г.

Ты спрашиваешь меня, должна ли ты ехать в Сен-Клу? Уж одно то, что ты можешь об этом спрашивать, возлюбленная моя, заключает в себе ответ. Мы не должны щадя обманывать друг друга, это было бы началом духовной разлуки. Отсутствие радости тяжело ложится на нашу любовь, на наших тайных свиданиях тяготеет сознание вины! Поезжай спокойно, моя бедная голубка, может быть, вдали от меня тебе легче будет дышать.

Я нашел сегодня на стенах Парижа прибитыми стихи, объявляющие счастливыми тех ягнят, которых пастух окружал изгородью, чтобы волки и лисицы не могли их напугать. В заключение говорилось:

Mais si ces mêmes loups avaient formé l'enceinte
Pour vous mieux dévorer sans péril et sans crainte
Du berger vigilant, de la garde des chiens,
Que seriez vous, hélas?... De pauvres parisiens *).

Мне кажется, как будто и мы принадлежим к их числу!

*). Но если бы эти самые волки построили ограду, чтобы можно было вас погнать без опасения и страха перед бдительным пастухом и сторожевыми псами, то чем вы были бы тогда... уны? Бедными парижанами!

Граф Гибер—Дельфине.

Париж, 26 августа 1786 г.

Дорогая маркиза. Только теперь я узнаю, что вы променяли Париж на Сен-Клу. Дурной знак, сказал бы я, если бы дело касалось кого-нибудь другого, а не вас, потому что тот, кто отправляется ко двору в настоящее время, не будучи к тому вынужденным, принадлежит к его партии.

Вам, вероятно, представят совсем другую картину путешествия короля в Нормандию, чем та, которую я нарисовал вам. Будут говорить о девушках в белых платьях, о растроганных до слез крестьянах, о народе, кричащем «ура», о мужчинах и женщинах, почитающих себя счастливыми, если им удастся поцеловать край одежды монарха! Каждый властитель видит своих подданных только такими, хотя бы они тайно носили под плащом кинжал, намереваясь всадить его в грудь ему. Корона и церковь, когда они являются во всем своем блеске, обладают точно такой же обвораживающей силой. Мистическое очарование, окружающее их, действует даже на неверующих.

И в полках, которые осматривал король, он видел только красивые мундиры! Что в этих полках находятся члены того самого народа, который на всех постоянных дворах осмеивает короля в шуточных песнях и судит обо всем, что делает правительство, и что недовольство собственным положением, как и положением Франции, одинаково охватило как офицеров, так и солдат, и что армия, которая еще недавно вызывала опасение, что она неготова для встречи с врагом, потому что ее начальники слишком много веселятся, теперь находится в другой опасности и готова восстать против своего верховного вождя оттого, что ее начальники слишком много думают—этого обыкновенно не видит ни один король!

В Бресте, как я слышал, хотят соорудить Людовику XVI памятник. Даже при великом корбле это было предоставлено потомству. Уж не потому ли так то-ро-

нятся теперь, что опасаются, как бы потомство этого не позабыло? Калонн, разумеется, постарается представить это королю, как доказательство верноподданных чувств народа, между тем, как, в сущности, это есть лишь одно из проявлений раболепства некоторых, жаждущих титулов буржуа.

Я бы желал, конечно, чтобы вы, при вашем уже и вашей преданности королю, постарались уничтожить влияние Полиньяк на Марию-Антуанетту. Но королева уже окончательно лишилась популярности, благодаря процессу Рогана и покупке Сен-Клу. В самом деле, около миллиона затрачено на покупку нового дворца, в то время, как парижский народ лишен возможности есть мясо, вследствие всеобщего вздорожания!

В церкви св. Женевьевы освящен новый портал, выстроенный по инициативе королевы. Он так великолепен, что, если бы Господу Богу захотели отвести лучшее место в церкви, то пришлось бы посадить Его перед дверью! Народ стоял кругом во время церемонии освящения и сочинял по этому поводу злые шутки. «Австриячка нам дарит двери, и в благодарность мы вежливо выведем ее через них!»

М-ше Сталь, бывшая свидетельницей этой сцены, тотчас же занесла ее в свою записную книжку. Она очень сожалеет, дорогая маркиза, что лишена вашего общества. В ее салоне господствует новая страсть: все стараются превзойти друг друга в изобретении историй на одинаковую тему,—безумие любви. Но она сама всех превзошла в своем рассказе: «Безумцы Сенарского леса».

Так как мне придется в скором времени делать доклад королю об успехах реформ в армии, то я надеюсь еще увидеть вас в Сен-Клу. Никакой другой личной притягательной силы для меня там не существует. Даже мое честолюбие не может решить, долго ли можно будет считать за честь удовлетворение, которое она получает на службе у такого правительства!

Принц Фридрих-Евгений Монбельяр—Дельфине.

Париж, 27 августа 1786 г.

Любимая моя! Поразительное известие о созыве нотаблей, которое ты мне сообщаем, вынуждает меня ехать в провинцию. Так как от их собрания будет очень многое зависеть, то я должен употребить все усилия, что бы повлиять на мои круги. Конечно, я никому не говорил о твоём сообщении, но думаю, что это дело станет известным раньше, чем это желательно Калонну. Для него собрание нотаблей является соломинкой, за которую хватается утопающий, так как реформы налогов, предлагаемые им,—и от которых ты при твоём, легко воспламеняемом энтузиазме, ожидаешь спасения мира,—в сущности, представляют лишь сладкую конфетку, чтобы скрыть горькое лекарство-дефицит, которое придется проглотить этому больному ребенку—Франции. И все же я должен признаться, что приветствую такое развитие вещей, потому что оно внесет ясность в наше положение, и даже если эта ясность будет ужасна, все же она предпочтительнее вечных сумерек, в которых мы обретаемся.

Что маркиз всеми силами противился этому и даже не побоялся павлечь на себя немилость короля,—это тоже вполне понятно. В его глазах такое обращение к какой бы то ни было корпорации, хотя бы это было его собственное сословие, является уступкой общественному мнению. Для него реформы и в особенности предложение о распространении поземельного налога на дворянство, равносильны капитуляции перед третьим сословием. Я думаю также, что он боится опубликования дефицита, так как он тесно связан с большими банками, и поэтому всеобщее финансовое расстройство не может не отразиться на нем.

Может быть,—и эта надежда укрепляет во мне силы для предстоящей борьбы,—он даст тебе свободу, если не будет больше нуждаться в наследнике!

Наша переписка станет еще затруднительнее, чем прежде. Мое открытое несогласие с политическими взгля-

дами маркиза окажет свое действие на узенькую полосу земли, отделяющую Монбельяр от Монжуа, и гнев его против меня еще усилится. Можешь ли ты пенять на меня, моя возлюбленная, что эта вражда внутренне освобождает меня? Пусть будет, что будет, но мы не будем раз'единены, даже тогда, когда будем казаться недосигаемыми друг для друга! Уметь молчать, но не терять друг друга,—это пробный камень любви.

Граф Гюи Шеврез—Дельфине.

Сен-Клу, 3 сентября 1786 г.

И вы могли нас покинуть, прекрасная Дельфина. Ибо на этот раз вы нас действительно покинули. Королева, державшая себя, действительно, по-королевски во время последней аудиенции, — она улыбалась вам, собственно-ручно надевая вам на шею цепочку со своим портретом, как доказательство, что поведение маркиза отнюдь не ставится вам в упрек, она шепнула вам «до свидания!» — и рыдая бросилась в объятия Ламбаль, как только двери закрылись за вами.

Вы пошли к королевским детям. Вскоре после того пришел дофин к своей августейшей матери. Он шел медленно, погруженный в раздумье, и его темные глаза на худеньком личике вопросительно смотрели на нее. Он протянул к ней свою маленькую, бледную ручку и сказал, качая головкой: «Мне кажется, и маркиза Монжуа плакала!..»

Разве нужны были эти слезы, моя прелестная приятельница? Разве как раз теперь не был подходящий момент, для того... чтоб остаться, предоставив маркизу уехать? Когда, год тому назад, мы получили известие о рождении вашего ребенка и когда потом маркиз, преисполненный отцовской гордости, говорил о своем сыне и наследнике, то мне тотчас же стало ясно, что вы исполнили только свой долг. Но теперь, когда вы уже избавлены от него, — возвращайтесь же к нам, прекрасная маркиза, возвращайтесь, пока пропасть, разделяющая нас, не сделалась непроходимой!

Моим девизом остается: *Ma vie au roi, mon coeur aux*

dames *) Будьте же милосердны и не становитесь причиной того, что первая часть девиза вступит в борьбу со второй!

Граф Гибер—Дельфине.

Париж, 9 сентября 1786 г.

Уважаемая маркиза. С поспешностью, похожей на бегство, семья Монжуа покинула Париж. А между тем, как было бы интересно поговорить с вами о многознаменательных событиях последнего времени.

Калонн был вынужден необходимостью к такому шагу, который, при известных обстоятельствах, может сделаться началом конституционного развития,—конечно, не с ним, а против него! В кругу Неккера господствует сильная тревога. Неккер опасается, что Калонн, побуждаемый временными заботами и ослепленный минувшим успехом, не оказался бы достаточно неблагоразумным и не разоблачил бы финансовое положение таким образом, что авторитет правительства был бы окончательно погребен. Неккер,—я могу доверять вам это, так как я в свое время беспощадно отзывался о нем, как о министре — сообщил мне наедине, что он, в отчете 1781 г., сознательно скрыл истину, и теперь в этом направлении питает самые серьезные опасения.

Знаете ли вы что-нибудь об этом?

Может быть, возможно было бы предупредить серьезные последствия, если бы можно было своевременно получить надлежащие сведения. Напишите мне, прошу вас, также и о своих ближайших планах. Останетесь ли вы до собрания нотаблей во Фроберге? Моя служба, быть может, приведет меня, в Эльзас, и я, конечно, не упущу случая поцеловать ручку прекраснейшей женщины Франции.

Люсьен Гальяр—Дельфине.

Париж, 11 октября 1786 г.

Уважаемая маркиза. С радостью исполняю ваше желание, жалея только о том, что его так нетрудно исполнить! Вы всегда будете знать мой адрес, хотя бы он часто менялся. Мое перо, которое,—по уверению никого дру-

*) Моя жизнь королю, мое сердце дамам.

того, а самого начальника полиции, Ленуара,—пишет не чернилами, а ядом, вынудит меня оставаться в тени во время собрания нотаблей. Даже из моих единомышленников лишь очень немногие понимают мой восторг, по поводу надежды на события будущего года.

Нотабли, которые все еще умеют ослеплять наивных людей блеском своего выступления и искусными формами своего обхождения, будут теперь вынуждены перед целым миром раскрыть свою внутреннюю сущность, и тогда все увидят, что даже их лучшими поступками руководит только себялюбие!

Благодетели их—это опиум для народа. Их верность королю, только средство обеспечить себе богатейшие доходы, их гордость—маска, скрывающая их внутреннюю пустоту!

Только среди женщин есть исключения. Я узнал это путем самого прекрасного и самого горького опыта моей жизни. Есть одна, которая соединяет в себе все добродетели и все преимущества дворянства, точно так же, как я узнал другую, душа которой представляла открытую сточную канаву, воспринимавшую в себя грязные воды всех пороков третьего сословия. Это была моя мать. Понимаете вы, маркиза, почему самым горячим желанием всей моей жизни было — держаться от нее как можно дальше и почему вы для меня являетесь звездой, к которой тянется мое искалеченное тело?

Дети будущего не должны иметь таких матерей, как моя мать. Это высшая цель революции.

Принц Фридрих-Евгений Монбельяр—Дельфине.

Монбельяр, 20 октября 1786 г.

Возлюбленная! Наконец, посылаю тебе нежный привет по верному пути. Как благодарен я тебе, моя ненаглядная, за все милые, полные любви, записочки, которые ты мне посылаешь. Я ношу их на своем сердце. Они могут защитить меня от враждебных ударов, как защищает меня твоя любовь, делая меня неуязвимым ко всякому личному страданию.

То, что ты пишешь о нашем сыне, глубоко радует меня. Его крепкие силы сделают его способным сопроти-

вляться бурям будущего. И как тебе помогает ребенок забывать муки настоящего,—«когда я вижу его—я вижу тебя», пишешь ты,—так и мне помогает в этом моя работа.

Нигде, среди сельского дворянства, не замечается веяния нового духа. Как раз это обстоятельство, что дворянство обеднело, делает его неспособным к восприятию современных идей. Но оно тем легче откажется от своих привилегий в отношении налогов, если увидит, что и финансисты, и те, кто владеет бумагами, будут обложены новыми налогами. С крупными землевладельцами дело обстоит иначе. Маркиз Монжуа находит среди них самых сильных приверженцев. И когда этот стройный старик, с орлиным профилем и спокойными движениями, протянет свою длинную, с синими жилками руку перед собранием, чтобы двинуть против нашего нового, еще неиспытанного, блестящего оружия свои почтенные орудия традиции, то можно заранее предсказать, что он выиграет игру. Он отвергает всякую общность интересов с третьим сословием и особенно энергично отрицает эту общность с выскочками, говоря: «Оттого, что они захватили места, принадлежащие нам по праву, они думают, что они нам равны? Богатым можно сделаться, но знатым надо быть!» Даже в борьбе со мной наружное спокойствие не покидает его, и только я замечаю более резкий тон его голоса и сверкание непримиримой ненависти в его глазах. Но мы находимся еще в периоде стычек на форпостах, настоящая же битва начнется в Париже.

Один единственный диссонанс внесло твое письмо, моя любимая жена, в чистый аккорд твоих ласковых слов. Ты хочешь оставаться во время собрания нотаблей во Фроберге ради своего ребенка, которому парижский воздух не очень полезен. Ты даже радуешься, что останешься с ним одна и будешь избавлена от постоянной муки, которую доставляют тебе нежные ласки, расточаемые маркизом ребенку! А я? А то, что мы можем пропустить подходящий момент, чтобы вполне принадлежать друг другу?

Пораздумай, моя любимая, своим сердцем, которое, в сущности, ведь является головой женщины.

Принц Фридрих-Евгений Монбельяр—Дельфине.

Париж, 16 февраля 1787 г.

Любезная моя! Знать, что тебя нет здесь—достаточно мучительно для меня, но думать, что ты находишься одна во Фроберге, во власти мрачных мыслей—просто невыносимо, и разрывает мое сердце! Мне кажется, будто на бумаге твоего письма лежала твоя рука, которую ты только что прижимала к своему пылающему лбу и как будто около каждого твоего слова слышится глубокий вздох. И все же одной единственной мысли должно быть достаточно, чтобы ободрить тебя,—ведь наша судьба зависит только от твоей воли! Если ты хочешь расстаться с человеком, который употребляет доброту, внимание, благородство, чтобы, прикрываясь ими, как можно больше мучить тебя, то ты можешь это сделать. В самом деле, ты уже достаточно отблагодарила его за все его жестокие благодеяния. Возьми на руки своего ребенка и приходи ко мне. Если кто-нибудь будет презирать тебя за это, то ведь его приговор нас не коснется!

Мрачные предчувствия, говоришь ты, повидимому, нарушили спокойный сон маркиза. Часами слышала ты, как он ходил взад и вперед по ночам и когда он—что вошло у него недавно в привычку—отправлялся из нового замка в старый, покинутый бург, то ты видела, как в его окнах свет то появлялся, то снова исчезал. И в одну из таких ночей, твое сострадательное сердце заставило тебя пойти к нему, и ты молча протянула ему руку...

Как могу я сердиться на тебя за это, моя единственная? Не забывай только, что другой человек еще более достоин сострадания!

Члены собрания нотаблей, должно быть, уже прибыли в полном числе. Парижане, которые, однако, не могут видеть пьесы, разыгрывающейся за закрытыми дверями, ведут себя точно дети перед спущенной занавесью театра Петрушки. Повидимому, у всех теперь есть свободное время, так как все высыпало на улицу. Шутят, смеются, но это веселье, которое точно легкое дуновение ветерка вызывает красивую рябь на поверхности воды, не по-

звояет, однако, забывать, что буря может взволновать темные воды этого потока до самого илистого дна.

Когда сделалось известно, что Калони заболел и распространился слух, что он харкает кровью, то газетные остряки спрашивали: чьей кровью, своей или кровью нации? Когда же он в первый раз вышел из дому, то нашел на своих собственных дверях такой аншлаг: «Актёры министра финансов будут играть пьесы: «Лишняя предосторожность» и «Обманчивые надежды». Роль суфлера исполнит он сам». — В театре Версаля была поставлена опера «Теодор» Паэзиелло. Когда главный герой, покинутый король, стал изливать свое горе, из партера вдруг раздался голос: «Позовите же нотаблей!» Громкий смех и бесконечные крики «браво» заставили прервать представление. Хотели арестовать виновника беспорядка, но королева восстала против этого. Публика же отнеслась к ее доброте, как к слабости, к заискиванию перед нею, и сопровождала громкими свистками отъезжающий экипаж королевы.

Тот, кто пытается защищать в гаветах или в жарких спорах реформы, содержание которых отчасти стало известно, всегда встречает сильное неудовольствие. «Мы не хотим милостей, мы требуем прав! — крикнул недавно Гальяр одному из таких тайных эмиссаров правительства. — Человек рождается свободным, а между тем, он повсюду в оковах *). Реформы представляют ничто иное, как только новое средство сделать его покорным властителям. Мы их отвергаем. Мы требуем признания суверенитета народа, а не утоления нашего голода посредством хлебных крошек, которые падают со стола богатых».

Нотабли наружно спокойны, но тем взволнованнее они внутренно. Это совсем иное дворянство, чем дворянство Версаля, на которое теперь с изумлением взирают парижане. Много мужчин с громкими именами появляются в заштопанной одежде, а священники имеют огрубевшие от работы руки.

Прежде, чем ты получишь это письмо, мы уже все соберем. Только что появившаяся брошюра еще усили-

*) Первая фраза «Общественного договора».

вает всеобщее возбуждение. Она называется: «Последние мысли короля прусского», и заключает в себе, между прочим, следующие фразы, которые сегодня уже выступили огромными буквами на плакатах, расклеенных на углах улиц!

«Нации, которые ведут войны на занятые деньги, никогда не будут знать мира. После войны с соседом, начинается война с кредиторами, и народ никогда не знает покоя. Остается один только выход—банкротство, и оно неизбежно».

Маркиз Монжуа—Дельфиню.

Париж, 3 марта 1787 г.

Моя милая, необыкновенно напряженная работа третьего бюро собрания нотаблей только сегодня доставила мне возможность поблагодарить вас за желательные для меня регулярные сообщения. Я рад слышать, что вы и Годфруа вполне здоровы.

Хотя тайна переговоров не позволяет мне подробно рассказывать вам о них, тем не менее, я считаю себя обязанным, доверяя вашему ненарушиму молчанию—всякое оглашение фактов может повлечь за собой неисчислимы бедствия—не скрывать от вас серьезности положения.

Пораженные намеками министра финансов на величину долгов и возмущенные требованием обложения нас новым поземельным налогом—французское дворянство до сих пор само облагало себя налогами крови и жизни за короля и потому не может позволить, чтобы с ним обращались, как с лавочником третьего сословия, которого надо принуждать к жертвам для отечества,—мы потребовали отчета, чтобы сравнить его с *compte rendu* Неккера. Вчера этот отчет был дан самым недостаточным образом. Из него, повидимому, следует, что долг с 81-го года, когда был констатирован излишек в 10 миллионов, возрос до 112 миллионов, это означает,—если цифры правильны и нельзя создать новые источники для уплаты—что нам грозит государственное банкротство, и если это огласится, то произойдет страшное финансовое расстрой-

ство. Я прошу вас иметь это в виду и приготовиться к тому, что я могу при этом потерять большую часть, если не все свое состояние, так как банкирский дом Сент-Джемса должен пострадать очень сильно.

Само собою разумеется, что мы делаем все от нас зависящее, чтобы предотвратить несчастье. Но точно так же, само собою понятно, что мы не можем превратиться, как это, повидимому, ожидает от нас правительство, в безвольное орудие его желаний. Все семь бюро,—несмотря на страстное сопротивление Лафайета и его приверженцев, повидимому, добивающихся одобрения уличных политиков,—отклонили поземельный налог, пока нам не будут даны подробнейшие сведения о финансовом положении. Неужели мы должны быть вынуждены взвалить себе на плечи последствия чудовищной расточительности и позорной недобросовестности в недрах самого правительства? Король, слушающий дурных советников, сумел сделать так, что дворянство, на которое только он и мог опереться, находится теперь в лагере его противников.

Если произойдет что-нибудь необыкновенное, то я пришлю вам известие с экстренным курьером.

Граф Гибер—Дельфине.

Париж, 22 марта 1787 г.

Уважаемая маркиза. Ваш ответ на мое письмо был так дипломатичен, что я снова убедился в способности женщин к политике.

Между тем, события оправдали мои предсказания. Калонн будет ими свергнут, в особенности теперь, когда его необдуманное обращение к гласности оказалось ударом по воде. Народ стоит на стороне нотаблей, только потому, что они фрондеры. Цифры, которые, несмотря на самые строгие запреты и требования молчания, все же проникают наружу, усиливают волнение и лишают нас всякого кредита и всякого престижа. Говорят о тайных вооружениях Англии, о прусских войсках, стягивающихся к голландской границе. Смерть Верженна, способного человека, умевшего

управлять нашей внешней политикой в самые трудные времена, неспособность этого лакея Монморена—преемника Верженна — все это предвестники смутных дней.

Но не для того пишу я вам сегодня, чтобы напугать вас, а чтобы просить вас о милостивом разрешении посетить вас во время моей инспекторской поездки в Альзас. Если в мае вас уже не будет во Фроберге, то я надеюсь получить от вас известие об этом. Или же вообще я могу надеяться получить от вас несколько строк, несмотря на явную немилость, в которой я нахожусь? Моя непоколебимая преданность вам может, по крайней мере, рассчитывать на дозволение поцеловать вашу руку!

Принц Фридрих-Евгений Монбельяр—Дельфине.

Париж, 9 апреля 1787 г.

Возлюбленная Дельфина. Спешу сообщить тебе с экстренным курьером новость, которая близко касается нас и тебя. Калонн получил сегодня отставку. В парижском населении уже не существует более никаких сомнений насчет ужасающих размеров дефицита. Банкирские дома Сент-Джемс и Бутен со вчерашнего дня закрыты. В сегодняшнем заседании маркиз имел вид призрака, но держался безукоризненно и с достоинством. Он просил, как я слышал, об отпуске. В какой степени он может пострадать от разорения Сент-Джемса—этого не знает никто.

Я твердо надеюсь, что эти строки ты получишь до его прибытия, и что твое доброе сердце не встретит неподготовленным постигшее его бедствие.

Маркиз Монжуа—Дельфине.

Париж, 9 апреля 1787 г.

Моя милая, опасения оправдались, хотя это уже не поразило меня. Я потерял свое состояние. Того немного, что мне удалось спасти в течение последних дней, хватит только на то, чтоб избавить нас от лишений. Я сожалею о таком положении только из-за вас, потому что мы привыкли к роскошной жизни. Но для моего на-

следника, наоборот, я готов даже считать это счастьем. Богатство ставило французское дворянство в такие условия, которые отнимали у него лучшие силы,—бедность же неминуемо выдвинет перед ним альтернативу либо погибнуть, либо вернуть богатство. Будущее требует железного поколения.

Я не оставлю своей супруге и своему наследнику никаких других драгоценностей, кроме моего честного имени. И я жду,—это единственное, что я еще могу ждать от жизни,—что они окажутся достойными этого сокровища.

Я следую за этим письмом, так как мне нужно было уладить некоторые дела в Страсбурге. Фроберг остается нам. Но нам придется ограничиться только замком.

Граф Гюи Шеврез—Дельфине.

Сен-Клу, 4 мая 1787 г.

Дорогая Дельфина! Несчастье, постигшее вас, глубоко огорчило меня, хотя я и принадлежу к старой школе и поэтому не могу публично проливать слезы об этом. Вы знаете, даже нотабли плакали, когда Калонн, этот бедняга, пострадавший за грехи других, удалился, а король обещал им доклад о всех счетах. Очевидно, они, как следует, поделили свои слезные железы, чтобы проливать слезы и от горя и от радости.

Королева буквально остоленела, когда узнала о вашей участи. Она как раз пришла из комнаты больного дофина, где уже оставила весь свой запас слез. Сегодня она сказала мне, чтоб я передал вам: она почитает себя счастливой, что еще может помочь вам. «Что маленькая маркиза должна будет продать свое жемчужное ожерелье, это не так волнует меня,—прибавила королева.—Быть может, с этим великолепным украшением связано какое-нибудь злое проклятие. Но то, что она будет осуждена жить в этом мрачном бурге, точно райская птичка, привыкшая к солнцу и посаженная в клетку — вот что меня приводит в содроганье!» Она предлагает вам вступить в ее придворный штат и дает вам тайком средства для этого из своей собственной шкатулки.

Разве мы не можем, среди мрачного бушующего океана, населить остров блаженных беглецами с другого берега? Недавно мы почувствовали возможность этого.

Гимар танцевала на сцене маленького театра, вместе с Лаурой, самой младшей, бесподобной ученицей Вестриса, едва достигшей двенадцатилетнего возраста. «Прошедшее и будущее» — так называлась пантомима, которую они представляли. Гимар изображала маркизу Помпадур в пышном придворном платье, осыпанном сверкающими драгоценностями, а маленькая Лаура, в развевающейся рубашонке, вместо всякого украшения, обернула свою головку красным платком, в виде тюрбана. Она приподнималась и опускалась, порхала и кружилась вокруг маркизы, торжественно выступавшей в па менуэта, и это «будущее» должно будет победить каждого!..

Королева распорядилась пригласить танцовщиц к ужину. Еще раз богиня радости вложила свой скипетр в руки королевы. Снова взлетали к потолку пробки шампанского и, точно стрелы Амура, попадали в обнаженные груди нарисованных наяд, и все смелее становились песни, прерываемые жемчужным смехом королевы...

Было совсем как прежде!

В полночь открылись двери в покои короля. Он вошел с мертвенно бледным лицом. Пение смолкло, танцовщицы остановились, и дрожащее «будущее» боязливо укрылось в объятиях бледного «прошедшего». Король пошептался со своей супругой и свет в ее глазах угас.

Это был день, когда Ломени де-Бриен сделался министром финансов, а Калонн бежал в Англию, и злое слово «государственное банкротство» были впервые произнесены в собрании нотаблей!

Слишком скоро вернулись мы с острова блаженных на берег действительности! Но когда вы, очаровательница, будете с папп, мы не дадим себя изгнать оттуда.

Принц Фридрих-Евгений Монбельяр — Дельфине.

Париж, 27 мая 1787 г.

Возлюбленная моя! Я ничего о тебе не слышу и чувствую сильную тревогу. Так как я не знаю, что случи-

лось и что может случиться, то не решаюсь доверить это письмо почте или обыкновенному курьеру. Гальяр взял на себя доставить это письмо в твои руки.

Я умоляю тебя, сообщи, наконец, маркизу свое решение. Он даст, он должен дать тебе свободу теперь, когда ему уже нет надобности считаться ни со своим положением при дворе, ни со своей общественной ролью. Если же он этого не сделает, то решишь, наконец, милая Дельфина, и приезжай, под защитой Гальяра, ко мне. Не в Этьюп и не в Монбельяр, где тебя стали бы искать, а в тихое гнездышко, недалеко от Парижа, которое мы нашли.

Моя любовь превратилась в страстную тоску. Даже сумятица последних дней, роспуск нотаблей, бурные требования созыва генеральных штатов,—ни на мгновение не могли заглушить громкого голоса моего сердца, призывающего тебя, моя ненаглядная!

Во времена опасности любящие должны быть вместе. А теперь, когда все рушится, когда боги, перед которыми мы некогда преклоняли колена и с искреннею верой приносили жертву за жертвой их ненасытной алчности, оказались глиняными идолами, когда твердый кулак железной эпохи сорвал со всех святынь, — брака, семьи, дружбы и верности королю,—украшенные драгоценностями одежды, в которые их нарядили столетия, и обнажил их жалкие остовы,—теперь, моя Дельфина, освобожденные люди в праве протянуть друг другу руки над этими развалинами! И они будут не только строителями нового человеческого счастья, но решили также соорудить храм и нового божества.

Но зачем я все это говорю тебе? Разве нужно уговаривать там, где ничто не должно решать, кроме твоего внутреннего чувства?

Принц Фридрих-Евгений Монбельяр—Дельфине.

Париж, 19 июня 1787 г.

Моя Дельфина—моя, вопреки всему! Я дал утихнуть первому взрыву бури в моей душе... теперь осталось только опустошение.

Если бы маркиз держал тебя в глубокой темнице, если бы ты носила железные цепи на руках и на ногах,—я бы тебя завоевал! Но ты сама, сама накладываешь на себя цепи,—кто же может освободить тебя?

Знаешь ли ты, что ты написала мне, понимаешь ли ты, какие раны нанесли моему сердцу твои даже самые ласковые слова?

«Маркиз с железной силой воли сохранял свое самообладание в Страсбурге. Когда опустели конюшни и нагруженные мебелью возы, один за другим, с грохотом колес и щелканьем бича, выезжали из Монжуа и старый садовник дрожащими руками накладывал ставни на темные висящие окна опустошенного замка, а слуги бесконечной вереницей подходили прощаться,—он стоял прямо и гордо, и для каждого у него нашлась улыбка, как во время торжественных приемов».

Разве этими словами ты не восхваляешь жестоко-сердого старика, который находит улыбку для уходящих подчиненных, а для жены не знает ничего другого, кроме пытки?

«Но вечером единственный старый слуга, которого мы у себя оставили, нашел его без чувств, возле его письменного стола. Только после многих тревожных дней (ты беспокоилась о человеке, который тебя купил?! он пришел, наконец, в себя. С тех пор ходить и разговаривать ему трудно. Он неустанно заставляет себя возить в кресле по угрюмым пустым комнатам. Только руками он может двигать, как всегда...»

Чтобы удерживать тебя, тебя и нашего ребенка!

«Но как раз теперь, в минуту страшной нужды, я должна уйти от него, должна покинуть человека, который все потерял, внушить ему мысль, что я могла, конечно, пользоваться его богатством, но не могу делить с ним его бедность? Вопрос, который ты требуешь, чтобы я поставила ему, и побег, который остается для меня единственным выходом, если его ответом будет жестокое «нет!»—это должно будет убить ослабленного человека. Можешь ли ты требовать от меня, чтоб я была его убийцей?».

Но чтоб он убивал в нас все, что составляет счастье и надежду, следовательно, нечто, гораздо более важное, чем жалкое существование человека, уже отмеченного смертью,—ты на это соглашаешься?

Я не могу иначе! У меня невольно сжимаются кулаки против тебя, Дельфина!..

Рассказ Гальера дополнил картину, которую ты мне нарисовала. Я никогда не видел этого сильного, почти грубого человека таким расстроенным.

«Она так побледнела, так похудела!—говорил он.—Она бродит по высоким мрачным комнатам, которые всегда внушали ей трепет, с тех пор, как она в первый раз вступила в них. И под белым платком, в который она кутается, ее плечики вздрагивают, несмотря на лето. Она подносит малютку к каждому солнечному лучу, который врывается в глубокие окна то здесь, то там. С тех пор как поселяне, узнав о поведении маркиза в собрании нотаблей, приветствовали криками «ура» опустошение увеселительного замка в парке, а маленький, грязный мальчуган бросил в ее сына камнем, когда маркиза гуляла с ним, она больше не решается выносить его из узкого замкового двора».

Ты с ума сошла, Дельфина. Неужели ты хочешь принести в жертву старику твоего собственного ребенка?

«Не пиши мне больше!—просишь ты.—Твоя страсть так раздувает пламя моей любви, что она грозит сжечь все то мужество и чувство долга, которое у меня остается». Наперекор расстоянию, наперекор всем опасностям я отправлял бы к тебе своих курьеров ежедневно, если бы ты свое желание обосновала только этой фразой, потому что все, все надо сжечь, чтобы твоя любовь ярко засияла, как сигнал победы! Но ты прибавляешь другие слова! Ты говоришь: «Каждое твое слово—это яд для огромной зияющей раны моего сердца. Я погибаю, а между тем я должна жить ради того единственного, что у меня осталось от кратковременного счастья,—ради нашего ребенка!»

Я умолкаю, Дельфина. Может быть, полное спокойствие поможет тебе найти решение. Все сомнения в твоей любви, в твоей верности, которые поднимаются со мне, я постараюсь заглушить, постараюсь подавить все страстные желания избытком работы, которая нам предстоит.

Прощай!

Люсьен Гальяр—Дельфине.

Париж. 25 июня 1787 г.

Уважаемая маркиза. Исполняя свое обещание, я посылаю вам сегодня свой первый отчет. Даже без всякого настоятельного требования я намерен говорить вам правду, без всяких стеснений.

Принц совершенно подавлен горем. Он плакал внутренними слезами, как все сильные люди. Целыми днями он запирался один. Только известие, которое принес ему маркиз Лафайет, что оба министра, военный и морской, подали в отставку, в виду угрожающего поведения прусских войск на границе Голландии и пустой казны Франции, вывело принца из состояния апатии.

Он человек действия, маркиза, поэтому он не погибает!

Распространившийся слух, что мы будем вынуждены поступить бесчестно и оставить без помощи своего голландского союзника, приводит парижан в сильнейшее негодование. На площади Дофинэ сожгли портреты министра финансов, насильственно взятые из книжных магазинов. Перед Версальским дворцом пробовали даже устроить шумную демонстрацию. Произошло бы, вероятно, столкновение со швейцарской гвардией замка, если бы не распространилась весть, что новорожденная принцесса только что скончалась. Народ спокойно разошелся. В настоящее время народ пока еще покорный ребенок!

Мой адрес вам известен. Я не подписываю этого письма. Сношения со мной могут оказаться опасными для нас.

Люсьен Гальяр—Дельфине.

Париж, 19 августа 1787 г.

Уважаемая маркиза. Принц покинул Париж. Только на короткое время, сказал он,—чтобы познакомиться с настроением в провинции. Уехали также Лафайет и Мирабо. Я думаю, с тех пор как парламент королевским приказом отправлен в Труа, что они хотели избежать такой же участи.

Мы живем в постоянном волнении. Мы насильственно открыли себе доступ в парламент во время бурных прений. Я старался сохранить, насколько мог, хладнокровие и вижу в отклонении поземельного и штемпельного налога не столько признак всеобщего демократического духа, не желающего преклоняться перед властным словом абсолютного монарха, сколько доказательство эгоизма сословий. Будь они такие патриоты, как они уверяют, они не стали бы в момент величайшей опасности, когда правительство апеллирует к их самопожертвованию, так судорожно сжимать рукой свои кошельки!

Мне и моим единомышленникам такое разоблачение мотивов их поведений очень на руку. Оно дает нам возможность с еще большей энергией выставить в подходящий момент—на ряду с заявленным ими требованием буржуазной свободы—и свое требование социального равенства.

В политических клубах это требование раздается достаточно громко. И полиция давно уже слышала его. Недавно какой-то необузданный человек крикнул в Палате Рояле через головы фланёров: «Кишками последнего священника мы задушим последнего короля!» Хотели его арестовать, но потом отпустили, когда к посрамленню полицейских чиновников оказалось, что эта фраза взята у Дидро, в память которого, как раз в этот день, произнесена была в академии громкая хвалебная речь!

Насильственная регистрация налогов.—король хочет доказать свое самодержавие в такую минуту, когда

оно является только химерой!—постоянно вызывает бурные сцены. Графа Артуа вчера освистали по дороге в Счетную палату. Ни один сборщик налогов,—я в этом уверен!—не найдет в себе мужества выполнить приказание короля против желания парламента.

Простите меня, если моя страстность далеко увлекла меня за пределы данного мне поручения.

Люсьен Гальяр—Дельфине.

Париж, 26 сентября 1787 г.

Благодарю вас, уважаемая маркиза, за ваше письмо. Я внутренне радуюсь, что могу оказать вам некоторую помощь, поддерживая ваш интерес к политическим событиям.

Принц вернулся. Провинциальные собрания, которые происходят теперь везде, охвачены, по его словам, одинаковым настроением. «Я пожалел однажды о смерти Руссо, Вольтера и Дидро. Но теперь я знаю,—прибавил он,—что о мертвых нечего жалеть, когда дух их бессмертен!»

Король думал, что ему удастся обойти парламенты. Он обращался с ними, как с непослушными детьми, но должен был убедиться, что перед ним не дети, а мужчины. Взятие назад уже зарегистрированных эдиктов о налогах было признанием его смущения и его слабости, и этому не помогут никакие громкие речи монархистов. Вступление Вильгельма Оранского в Гаагу с помощью прусских войск приводит в ярость честную Францию, окончательно потерявшую уже всякий остаток уважения к своему верховному военачальнику. Мы всадили миллионы в военные гавани, суда и реформы армии и даже настолько не обладаем политическим могуществом, что не можем себя оградить от злорадного смеха наших соседей! Прусские и английские дипломаты, которые здесь солидарны, без труда достигают своих целей. В высшей степени удивительно, что г. маркиз хочет присутствовать на провинциальном собрании в Страсбурге. Может быть, я должен уведомить принца, что в это время вы будете одна?

Граф Гюи Шверёз—Дельфине.

Версаль, 22 ноября 1787 г.

Прекрасная маркиза, до сих пор я колебался отвечать вам, так как что же мне оставалось сказать? Должен ли я был жаловаться, что вы не можете приехать? Должен ли я высказывать надежды, которые были бы только пустыми словами? Или я должен, для вашего увеселения, описывать вам тоном парижских парламентских советников «пышную придворную жизнь», «упоение удовольствиями», среди которого мы живем, и «золотой дождь, который на нас изливается, в то время, как народ бедствует и погибает?»

Вместо этого, представляю вам картину действительности. В сопровождении лишь нескольких самых верных своих приближенных королева шла по пустынным садам Трианона, на которые осень уже наложила свою печать. Смерть новорожденной принцессы нанесла ей удар, от которого она еще не оправилась, тем более, что какая-то старуха, среди окружающих ее, сказала ей, что это зловещий знак. Она была, как и все мы, в траурной одежде. Маленький дофин попрежнему цеплялся за ее руку, и его черное платье еще резче выставляло его бледность. Целью нашей прогулки был хутор.

— Я хочу хоть один раз доставить себе радостный день,—сказала королева с грустной улыбкой и взяла полный кошелек, чтобы раздать деньги обитателям маленьких домиков, которым она покровительствовала.

Когда мы приблизились, к нам навстречу вышли лакеи, посланные вперед, чтобы оповестить о визите королевы. Они имели смущенный вид. «Люди на работе», сказали они. Королева прикусила нижнюю губу. «Мы подождем», ответила она и села на каменную скамью. Люди выглядели в маленькие окошечки, то там, то сям, и тотчас же исчезали. Наконец, позавалась веселая толпа ребятишек, бежавших с дуга нам навстречу. Королева позвала их, взяла самото маленького на колени, поцеловала его и каждому сунула в руку золотую монету. Родители же украдкой смотрели на это из-за изгороди.

— Еще год назад они все лежали передо мной во прахе!—горько проговорила королева.

Мы, молча, пошли назад. Только она шла перед нами, гордо подняв голову, с высокомерно презрительной улыбкой на устах.

Вслед за тем мы все обратили внимание на перемену настроения не только у нее, но и у короля, который, более чем когда-либо, выказывает склонность к секретным совещаниям со своей супругой и никогда не упускает случая привлечь ее в совет министров. Но мера его добродушия, повидимому, наконец, истощилась.

— Новаторы хотят перестроить Францию по английскому образцу,—сказал он недавно с горечью, а затем, во время последнего официального приема в Версале, громко заявил: «Идея создать постоянные генеральные штаты носит характер, подрывающий монархию. Если она осуществится, то между королем и народом останется только одна промежуточная сила—армия».—Все были удивлены, так как король впервые напомнил о силе.

Несколько дней тому назад происходило парламентское заседание в присутствии короля, и на этом заседании еще ярче выразилась перемена его настроения. Вы знаете, что до сих пор я избегал политики еще больше, чем некрасивых женщин. Если же я отправился на это заседание, то только потому, что этого рода зрелища нарушают всегачи жизненную пустоту, с тех пор, как театры стали делаться все скучнее, танцовщицы старше и даже сомнамбулы, которые раньше вызывали у нас такой приятный трепет, стали заниматься политическим ясновидением.

Впрочем, оказалось, что на это заседание стоило идти. Хранитель печати, надутый и красный, как индейский петух, держал во имя короля речь—грозную филиппику и после каждой фразы останавливался, чтобы наблюдать за ее действием.

— Только король один имеет верховную власть в государстве!.. (Несколько советников заметно пожимают плечами). Сам Господь Бог даровал ему эту власть и он

ответствен только перед Богом!.. (На всех лицах появляется насмешливая улыбка). Законодательная власть находится, только в руках короля»... Громкое «ого!» раздается в зале.

Затем прочитывается эдикт о займе—дело идет о кругленькой сумме в 400 миллионов!—и шлюзы красноречия открываются.

Каких только водопадов не увидали мы! В особенности выдавался один господин, Дюваль д'Эпремениль. Он развернул весь катехизис энциклопедистов: «Права человека», «Суверенитет народа», «Общее благо», «Общая воля»... Даже во сне все это продолжало звучать в моих ушах! О займе никто и слышать не хотел, напоминая отчасти дрессированную собачонку, у которой слюнки текут при виде жирного кусочка, но которая, косясь на него, все же отворачивает голову, когда ей говорят: «Пфуй—это от короля!».

Однако, несмотря на все возражения, велено зарегистрировать эдикт. Ропот неудовольствия поднялся в зале. Этим моментом воспользовался герцог Шартрский,—мне неприятно давать ему титул его славного, покойного отца, герцога Орлеанского,—и объявил, что поведение короля незаконно!

Последовала короткая пауза всеобщего смущения, но, к сожалению, никто не воспользовался ею, чтобы предложить корону новому народному герою, хотя m-те Жанлис способна играть роль Помпадур даже без суфлера.

— Это законно, потому что я этого хочу!—прозвучал громко и ясно голос короля в зале. И двор удалился вместе с его свитой.

Сегодня уже изгнанный герцог превратился в мученика народной свободы! Я знаю достаточное количество членов третьего сословия, которые проливают о нем горькие слезы. Это—малютки из опереточных зал и жрицы Венеры из Пале-Рояля!

Такого рода фарсы напоминают мне «буку», которым нас пугали в детстве. Если «великая революция», которую стараются напугать взрослых, ничего другого не умеет

делать, как только грозить розгой да забрасывать гнилыми яблоками и пестрыми пряниками, то!..

Ах, если бы могли снова вернуться дни Шантильи! Ведь мы так еще молоды, прекрасная Дельфина!

Маркиз Монжуа—Дельфине.

Страсбург, 12 декабря 1787

Моя милая. Заседания Провинциального собрания протянутся до конца месяца. Я чувствую себя достаточно крепким, чтобы выдержать это, хотя мое положение не из легких. Большинство членов склоняется в пользу поземельного налога. Что Роган через посредство своего викария присоединил свой протест к моему протесту, конечно, больше повредило нашему делу, нежели принесло пользы. Барон Флаксланден с удивлением спросил меня, почему я так упорствую, ведь мне уже нечего бояться этого обложения? Знамение времени: не могут понять, что человек может бескорыстно защищать принципы и поступать сообразно с этим!

Во всех же других вопросах царит отрадное единодушие. Желание ограничить всеми способами полномочия правительства, сделать невозможными злоупотребления интендантов, разбогатевших вследствие нашей уступчивости,—вот что занимает преобладающее место в переговорах.

Очень сожалею, что непрекращающиеся проливные дожди вызывают неприятную сырость в замке. Оставайтесь по возможности в одной комнате, где камин должен постоянно топиться, чтобы ребенок не испытывал вреда от сырости.

Принц Фридрих-Евгений Монбельяр—Дельфине.

Монбельяр, 15 декабря 1787 г.

Мое страстное желание побеждает мою гордость и мой разум. Ты одна. Я прошу тебя, передай рейткнехту твой ответ на мой вопрос: могу ли я видеть тебя?

Принц Фридрих-Евгений Монбельяр—Дельфине.

Монбельяр, 18 декабря 1787 г.

«Я не выдержу,—говоришь ты,—глаза у меня заливаются слезами, если я когда-нибудь выйду из бурга на яркий дневной свет. Сердце у меня разорвется, когда я увижу тебя...»

Еслиб я не знал наверное, что никого нет у тебя... Честное слово, Дельфина, я бы должен был думать, что у меня есть соперник!

Призраки прошлого встают передо мной. Хорошо, что начинаются жаркие битвы, куда я могу ринуться...

Люсьен Гальяр—Дельфине.

Париж, 11 мая 1788 г.

Уважаемая маркиза. Что я обещал, того я не забываю. Если я не писал до сих пор, то только потому, что я потерял принца из глаз на многие месяцы и боялся показаться навязчивым, не имея возможности сообщить о нем никакого известия.

Только вчера я впервые увидел его среди мятежа в Пале-Рояле. Он пожал мне руку. «Дело становится серьезным», сказал он мне, указывая глазами на жестикулирующую кричащую толпу. «Начинается агония абсолютной монархии», отвечал я. Он кивнул головой и вскоре опять затерялся в толпе.

Начиная с 4 мая, когда король лишил власти парламент, волнение возрастает. Парламентские советники, аристократы и священники братаются на улицах с лавочниками, рабочими и журналистами. А ослепленному народу они внезапно представляются как настоящие герои свободы!

Бурный поток из Парижа разливается по провинции и точно состязается с непогодой, которую посылают нам небеса. Признанные стражи престола, священники и дворяне, поднимают против него оружие, предназначенное для его защиты, и тем разрушают в народе последние остатки детских грез о неприкосновенной святости королей.

А король старается укрепиться в обветшавшей крепости абсолютизма, не замечая, что она уже превратилась в развалину.

Граф Гибер—Дельфине.

Гренобль, 20 июня 1788 г.

Дорогая маркиза. Моя поздка в Альзас не состоялась в прошлом году из-за слухов о войне. А в этом году ей чуть было не воспрепятствовала внутренняя война. Я пережил такие дни, которые не легко забываются, и в моей душе происходила тяжелая борьба между солдатом и гражданином.

Мы узнали в Париже, что регистрация новых эдиктов в Дофинэ происходила при помощи штыков и вызвала вооруженное сопротивление населения. Комендант, герцог Тоннер, просил о помощи. Меня послали на рекогносцировку в Гренобль, и едва я туда прибыл, как испуганные поселяне тотчас же наполнили улицы.

— Вся горная область восстала, — рассказывали они. — Мужчины в кожаных куртках и зашнурованных башмаках, вооруженные косами и цепями, навозными вилами и дубинами, точно дикие, устремляются с гор целыми толпами. Я вызвал гарнизон, но было поздно. В город уже ворвались массы людей страшного вида, огромного роста, с большими всклокоченными бородами. Герцог Тоннер, на которого они напали в его дворце, был тяжело ранен. Генерал Жукур, призванный на помощь, сказался больным, а первый же офицер, отряд которого был послан навстречу мятежникам, бросил свою шпагу и, протянув руки, крикнул: «Мы не стреляем в своих отцов и братьев!»

Только после нескольких кровавых стычек нам удалось, наконец, овладеть этим отчаянным положением. Но мы чувствовали себя как в неприятельской стране. Самый крошечный мальчишка старался доказать свою любовь к отечеству тем, что показывал язык каждому человеку в мундире!

Вы знаете мои взгляды и поэтому поймете, что я с радостью следую приказу отправиться на маневры в

Альзас, так как это избавляет меня от необходимости исполнять далее роль защитника абсолютизма.

В будущем месяце я уже буду в Страсбурге и оттуда буду иметь смелость нанести вам визит во Фроберг.

Граф Гюи Шеврез—Дельфине.

Версаль, 10 августа 1788 г.

Прекраснейшая! В Версале передается с рук на руки рисунок Гибера: под мрачными сводчатыми воротами бурга видна прелестная фигура женщины, нежной и изящной, словно фея. Мягкими складками ниспадает белое платье вокруг ее стройных членов, а на ее тонком личике блестят огромные, испуганные детские глаза. «Дельфина» — стоит внизу надпись среди пылающего сердца.

Дельфина! Какое очарование снова охватывает меня! Как я завидую счастливцу, который мог вас увидеть! Как прославляю я несчастье, которое делает вас еще красивее!

С тех пор, как дофин покинул нас, — он в самом деле как будто не умер, а тихо ушел от нас, — королева ни разу больше не засмеялась. Только ваше изображение звало на лице ее подобие улыбки.

— Я нежно целую мысленно милую, маленькую маркизу, — сказала она.

И еще другая, совсем другая женщина улыбнулась вашему изображению. Это была Гимар.

«На последний танец», так пригласила она своих друзей. Ее отель сиял огнями сотен свечей, ее стол сгибался под тяжестью серебряных приборов, а потолок украшен был сеткой из чудных роз. Она еще раз протанцевала все танцы, которые некогда были ее триумфом, танцевала их медленно, нерешительно, точно во сне. А в это время с потолка сыпался дождь из розовых листьев.

— Розы вянут! — заметила она грустно.

— От вас зависит, чтобы они расцвели снова. — Как можете вы уходить от нас? — Что такое опера без вас? — кричали ей со всех сторон. Но ее решение покинуть сцену оставалось непреклонным.

— Парикмахеры и лакеи стали теперь судьями талан-

гов,—сказала она.—Я же своими успехами обязана была только приговору лучших кругов. Неужели же теперь я могу допустить, чтобы меня критиковал всякий сброд!—объявила она, и мы больше не противоречили ей.

Спустя два дня, она прислала мне карикатуру: скелет женщины, с нарумяненной мертвой головой, в парике, украшенном перьями, и в розовой газовой юбочке, танцующая, вскидывает на воздух кости ног. «Скелет грации»—была подпись, а на другой стороне почерком Гимар было написано: «Благодарность парижан!»

В вашем старом бурге, с его привидениями, милая Дельфина, пожалуй, все же уютнее теперь, чем в Париже!

Граф Гибер—Дельфине.

Париж, 23 августа 1788 г.

Дорогая маркиза. Я все еще чувствую вашу атмосферу вокруг себя, хотя уже две недели нахожусь в Париже. Я думаю, что эта атмосфера не может испариться, потому что вы скоро и ясно дали мне понять, что это не раздушенный воздух салонов, наполненный мимолетною игрой в любовь и легко улетающий в открытые окна, а суровый воздух Вогеа.

Я знаю женщин—очень мало, впрочем!—нашедших в браке осуществление своих мечтаний о счастье. Около вас царит такое же спокойствие. Никакое легкомысленное желание не может существовать возле вас! Как это случилось, что возле вас я чувствовал себя, как возле этих счастливиц, хотя на ваших чертах ясно были написаны страдания и лишения?

Я грезил об этом в течение всей дороги и поэтому картины пути почти бесследно проходили передо мной. Плохое лето, весенние наводнения,—все это придавало ландшафту такой же печальный вид, как и людям. Но странно, как сияет лицо каждого крестьянина, как только упоминают о генеральных штатах! Народ ожидает от своих представителей—как прежде ожидал от Бога—избавления от всех своих зол.

Со времени призвания назад Неккера,—что казалось мне единственным выходом, как я уже говорил вам,—и я

тоже начинаю в это верить. Он решил как можно скорее созвать генеральные штаты и вернуть парламентам всю их власть. В данный момент это, конечно, представляется как бы поражением короля, но это единственная возможность установить прочное конституционное королевство.

В настоящее время на Париж сыплется дождь из брошюр Ленге, который не может вынести, чтоб о нем забывали, и предлагает самым серьезным образом, для успокоения умов,—как «символ свободы»,—снести Бастилию! Анонимное «Письмо одного гражданина» 'рассыпается в чрезмерных похвалах третьему сословию, «которое одно только создает богатство нации и только из него выходят руководящие умы науки и искусства!» В другой брошюре говорится «о чистых нравах добродетельного народа, который, сознав свою силу, сломит тиранию дворянства, как уже сломил тиранию королевства!»

В таком тоне написаны почти все брошюры, и мелкий люд, видя постоянно такие низкие поклоны, которые отвешивают ему черезчур ревностные народные трибуны, скоро должен будет вообразить себя единственным призванным властителем Франции.

Когда я высказал это Неккеру, он возмущился. Он преувеличивает уважение к общественному мнению, уверяя, что только им будет руководствоваться во всех своих действиях.

Говорят, впрочем, о новом собрании нотаблей, которое должно будет обсуждать число депутатов, размеры представительства сословий и др. вопросы. Не буду ли я иметь счастье тогда снова увидеть вас в Париже?

Люсьен Гальяр—Дельфине.

Париж, 8 октября 1788 г.

Уважаемая маркиза. Принц впервые спросил меня вчера о вас и о том, имею ли я о вас какие-нибудь известия? Я отвечал отрицательно, согласно данному обещанию. Принц был чрезвычайно взволнован, что при теперешних условиях может быть замечено у отдельного лица лишь тогда, когда степень его волнения значительно

превышает господствующее кругом всеобщее возбуждение.

Повидимому, сама судьба теперь против правительства. Что бы оно ни делало, чтобы укрепить свое положение, все это ведет к его ослаблению!

Король разрешил созыв генеральных штатов. Это могло бы либо всех примирить с ним, либо, по крайней мере, объединить все три сословия в мирной работе. Но он хочет сделать еще больше, хочет заставить позабыть о своем диктаторском выступлении 8-го мая и поэтому спрашивает своих добрых граждан их мнение о числе депутатов от каждого сословия. Этим актом он бросил яблоко раздора в их среду. Привилегированные, которые только что были передовыми борцами за свободу, являются противниками социального равенства. Третье сословие видит перед собой своих врагов!

Я ждал этого момента многие годы, маркиза. Но никогда я не думал, что это произойдет по инициативе короля.

Теперь наступает расплата! Теперь мы разворачиваем счет столетия. Дефицит государства—ничто перед этим счетом!

Рабство, барщина, плети, голод, кровь мужчин, детей, дочерей народа,—все это стоит в этом счете и требует уплаты!

В обществе знатных людей, как мне рассказывали, один господин, по имени Казотт, имел видение: он увидел их головы под мечом палача. Они смеялись над сумасшедшим ясновидцем и затем, в своих клубах, с циничными шутками бросали кости, делая ставкой свои собственные головы. Безумцы, они не хотят знать, что кости уже брошены!

Не пугайтесь, уважаемая маркиза. Вы знаете, мне всегда снились кровавые сны. Но никогда, пока я жив, ни вам, ни маленькому Годфруа, никто не посмеет нанести ни малейшего вреда. Разве я могу позабыть когда-нибудь, что он, своей крошечной ручонкой, гладил меня по щеке, как будто и не замечая моего горба! Порою мои мысли

так путаются, что я не могу решить, чего я желаю пламеннее: Францию ли освободить от тирании или вас обоих из вашего мрачного замка!

Принц Фридрих-Евгений Монбельяр—Дельфине.

Париж, 8 ноября 1788 г.

Я видел твое изображение, под которым нарисовано было пламенное сердце и на нем твое имя. Я разговаривал с графом Гибер, который прожил у тебя целые недели и приходит в восторг, как только услышит твое имя. Я видел в собрании нотаблей маркиза. Он не имеет вида ни больного, ни параличного. Он только похудел и немного больше постарел...

Я требую от тебя правды—самой безусловной истины. И то, о чем я, ослепленный любовью, осмеливался только просить, теперь я требую: полная разлука или соединение! Никакая горестная жалоба не может теперь поколебать меня.

Маркиз Монжуа—Дельфине.

Париж, 22 ноября 1788 г.

Моя милая. Вы снова требуете от меня свободы, после того, как я уже твердо уверовал, что ваши романтические грезы разлетелись, как и все грезы в наше рассудочное время. Я узнаю, кроме того, что вы принесли себя «в жертву» мне, из сострадания к больному, к обедневшему? Плаксивые слабые люди могут, пожалуй, находить трогательным такое поведение. Я—нет! Потому что вы сделали только то, что было вашим долгом, ничего больше!

В одном пункте вы правы: старый, бедный человек не может служить обществом для молодой красивой женщины. Я делаю вывод из этого признания и даю вам свободу. Вам—одной, само собою разумеется. Потому что ваш ребенок, перед глазами света, мой сын и остается наследником моего имени.

Развод в такие возбужденные времена не встретит никаких непреодолимых препятствий. Я сделаю все не-

обходимые предварительные шаги, как только вы решите основной вопрос: ребенок или свобода?

Я приеду, чтобы лично переговорить с вами,—в полном спокойствии, разумеется, не прибегая к жаргону парижских улиц,—но в данный момент я не могу уехать, потому что каждый из нас необходим, так как правительство хочет уравнивать с нами третье сословие в числе его представителей.

Вашего ответа я жду с тем же курьером.

Разлука с Годфруа, само собою разумеется, должна быть окончательной и безвозвратной.

Принц Фридрих-Евгений Монбельяр—Дельфине.

Париж, 3 декабря 1788 г.

Любимая, единственная, прости меня, ты, ненаглядная, прости. Твои письма,—письмо маркиза,—сообщения Гальяра,—восторг и возмущение, радость и страх разрывают мне душу! Моя бедная голубка, как ты страдаешь, и так страшно одинока! Ты надеешься смягчить маркиза после того, как первый шаг уже сделан. Я же боюсь, что поражение его партии окончательно ожесточило его. Честь сословия, честь имени—вот его единственный идол. Еслиб он оставил нам ребенка, это было бы признанием его позора. Он никогда на это не согласится. Нам остается только одно—побег. Так как я уверен в твоей любви, то и предлагаю тебе его. Если ты готова, то все остальное—не более как детская игра.

Маркиз Монжуа—Дельфине.

Париж, 10 декабря 1788 г.

Вы писали мое последнее слово. Я не намерен отступать ни на один шаг. Лишь настолько я могу пойти навстречу вашим желаниям, что не требую от вас немедленного решения. Я даю вам год на размышление. В течение этого времени вы должны избегать всяких непосредственных сношений с принцем. Но вам дается право в этот промежуток выбрать самой подходящую воспитательницу для ребенка.

Я слышал, что холод в Альзасе еще сильнее, чем здесь. Так как у нас может не хватить дров, то я дал поручение свалить деревья в парке.

Принц Фридрих-Евгений Монбельяр—Дельфине.

Париж, 23 декабря 1788 г.

Моя любимая Дельфина. Внизу ликует народ. Несмотря на морозную ночь, толпы поющих людей проходят по улицам. Я бы хотел заткнуть себе уши, чтобы не слышать ничего, напоминающего о радости.

Ты не можешь бежать. Ты не можешь подвергнуть бедствию и позору твое дитя, которое может когда-нибудь спросить тебя: «Кто мой отец, тот ли, чье имя я ношу, или тот, чья ты любовница?»—«Я сама,—пишешь ты,—готова была бы вынести все, с улыбкой, ради тебя, но ради ребенка—я не должна!»

О, вы, женщины! Вы так свободны и сильны и в то же время так слабы и связаны!

Но ты хочешь ждать и надеешься смягчить окаменелое сердце старика! Я хочу укрепить себя твоей надеждой, любимая моя. Ведь он должен носить камень в груди, вместо сердца, если твои просьбы не в состоянии будут смягчить его!

Я остаюсь пока здесь. Отчет Неккера о генеральных штатах,—где правительство признает за представителями нации право устанавливать налоги и бюджет и уравнивает число депутатов третьего сословия с числом депутатов двух первых сословий,—умнее, чем я ожидал от него, и, конечно, представляет единственный путь к успокоению возбужденных умов. Мы теперь можем надеяться на спокойное конституционное развитие.

Прощай, мое горячо любимое дитя. Поцелуй нашего сына, которого я нежно люблю, хотя ужасная судьба ставит его между нами,—его, который должен был бы еще теснее соединить нас!..

Люсьен Гальяр—Дельфине.

Париж, 5 января 1789 г.

Уважаемая маркиза. Ваша судьба сразила меня более жестоко, чем когда-либо могла сразить моя собственная судьба. Но, как несомненно то, что я—горбатый сын публичной девки и дворянина и ни во что не верю, как только в свою силу,—так верно и то, что выход найдется, как найдется выход и для Франции! Я, Люсьен Гальяр, закончу дело вашего освобождения, которое было начато Иоганном фон-Альтенау.

Я бы хотел иметь возможность внушить вам надежду, которая составляет уверенность, охватывающую всех нас. Сознание силы сделало ее возможным,—той силы, которая превратила в оружие в наших руках каждую фразу превосходной брошюры: «Что такое третье сословие?» Она появилась вчера, и к вечеру была уже в руках у всех, а сегодня ее слова звучат в ушах всех привилегированных. «Что удерживает вместе общество? Промышленный и духовный труд. Кто совершает его? Третье сословие. На кого взваливается в армии, в церкви, в судопроизводстве, в управлении все то, что требует напряженного труда и усилий и не приносит ни почестей, ни богатства? На третье сословие!» Эти слова запечатлеваются неизгладимо даже в самом тупом мозгу. «А кто, наоборот, занимает лучшие места, самые доходные должности, кто управляет не только государством, но и королем, кто окружает его как бы стеной, чтоб он не мог видеть собственного народа?—Аристократия!» Это пробуждает ненависть даже в самой бесстрастной душе,—ненависть, хватающуюся за топор и прибегающую к поджогу там, где нет умения владеть мечом.

Терпение, маркиза. Третье сословие, которое само себя освободило, освободит и всех угнетенных и поработанных, а также и вас!

Граф Гибер—Дельфине.

Париж, 26 февраля 1789 г.

Дорогая маркиза. Ваше молчание заставляет меня опасаться, не оскорбил ли я вас бессознательно? Я бы искренно пожалел об этом! Именно теперь, когда привыкают опноситься недоверчиво к своим лучшим друзьям,—партийные раздоры проникают даже в самый интимный круг,—не хотелось бы порывать связи, как бы она ни была тонка.

Избирательная борьба в провинциях буйвально насытила воздух взрывчатыми веществами. Даже Неккер встревожен и пробует обуздать требовательность третьего сословия. Но печать не признает больше никаких церемоний. В ее глазах конституционная монархия, которую генеральные штаты должны были еще только создать, представляет уже превзойденную ступень.

Суровая зима, последовавшая за плохим урожаем прошлого года, гонит всех бродяг Франции в Париж, и они держат себя самым непринужденным образом и говорят речи на всех площадях города. Дворянин, не желающий подвергаться оскорблениям, вынужден носить гражданскую одежду.

Вы, вероятно, уже слышали об агитации графа Мирабо в Провансе. Путем своих декламаций о свободе и равенстве он желает очистить себя от своего прошлого, а народ встречает его восторженно, где бы он ни показывался. Мы не можем закрывать глаза на то, что зажигательные речи честолюбцев и фанатиков возбуждают такие дикие вожеления в массах, о которых до сих пор они, в своей скромности, не имели понятия. Я прочел не без глубокой тревоги, что даже более спокойное население Альзаса оказывается затронутым, но надеюсь всетаки услышать от вас, что ваш тихий замок, столь далекий от мира, так же далек и от его битв!

Люсьен Гальяр—Дельфине.

Париж, 12 июля 1789 г.

Уважаемая маркиза. Необычайная быстрота, с которой совершаются события, заставила меня замолчать, но не могла заставить меня забыть свой обет. Вы знаете из газет, что произошло: поражение короля, удивительное возвышение третьего сословия, начало национального собрания! У его дверей ждет народ, готовый к битве и к тому, чтобы, если понадобится, превратить свои слова в действия!

16 июля.

Чрезвычайное свершилось. Известие об отставке Неккера и созыве враждебного народу министерства прервало мое начатое письмо. Я бросился в Пале-Рояль.

— Они обсуждают в Версале Варфоломеевскую ночь патриотов!—кричали мне встречные.

Дрожащим от гнева голосом Демулен призывал граждан к оружию. Точно подгоняемые какою-то посторонней силой, тысячи людей шли сомкнутыми рядами в том же направлении. Из всех боковых улиц человеческие массы вливались в наш движущийся поток. Весь Париж был охвачен одним только чувством!..

Испуганный неисчислимыми толпами народа, который стекался к площади Людовика XV, где стояли войска, маршал Безанваль отдал приказ к отступлению. Ужасный план властителя рушился.

На следующее утро Париж напоминал военный лагерь, и 14-го июля, утром, как только рассвело, всюду раздавались громкие крики: «к Бастилии!» Каждый из нас знал, как будто сама судьба диктовала нам поступки, куда мы должны идти. Я не хочу терзать ваше мягкое сердце описаниями того, что заставляет мою кровь застыть от одного только воспоминания. Я скажу только, что произошло: укрепленный замок пал. Это первый из огромного числа тех замков, которые кругом в стране грозно направляют на нас свои пушки, скрывая в своих потребках сокровища, накопленные их владельцами, ве-

ками грабившими нас и удерживавшими в заточении в своих темницах несчастных людей, которых нужда делала ворами и убийцами и передовыми борцами за свободу.

У меня есть к вам настоящая просьба, маркиза, касающаяся вашей собственной безопасности.

Найдите какой-нибудь предлог для своего переселения в ближайшее время во дворец в парке. Я имею сношения с альзасскими крестьянами. Если так долго подавляемая ненависть вложит и им в руки факел для поджога, то целью их будет укрепленный замок, а не маленький покинутый дворец...

Принц Фридрих-Евгений Монбельяр—Дельфине.

Безансон, 23 июля 1789 г.

Моя любимая! На пути к тебе,—тревога заставляет меня забывать обо всем,—я должен был временно остановиться здесь. Моему курьеру поручено передать тебе это письмо и ждать меня. Вся провинция охвачена мятежом. Горящие замки, точно чудовищные факелы, освещают ночи, насыщенные грозой. Я с трудом избежал неистовства крестьян, которые подожгли Амбли, где я ночевал. Они связали меня, и я должен был беспомощно глядеть, как они закололи Шевалье и срывали одежду с его несчастной жены. Забыли ли обо мне в суматохе грабежа? Или мне помог неизвестный друг? Я не знаю ничего! Кто-то перерезал мои веревки... Я нашел свою лошадь и ускакал сюда, где дал себе сделать перевязку. До этой минуты я не обратил внимания на свою раненую руку.

Через 24 часа я надеюсь уже быть возле тебя. Не выходи из замка. Вели поднять флаг на сторожевой башне; в доказательство, что ты там находишься.

Принц Фридрих-Евгений Монбельяр—Дельфине.

Монбельяр, 6 августа 1789 г.

Все кончено. Я прекращаю борьбу. Только одно остается мне—проститься с тобой. Ты решила против меня, Дельфина! Ежедневно, днем и ночью, я переживаю

тот момент, когда над нашей жизнью был произнесен последний приговор!

Как все произошло—навсегда останется для меня тайной, потому что уста Гальяра сомкнулись навеки. Я привез его труп на своей лошади сюда и похоронил. Маркиз бросил бы его на растерзание волкам в лесу.

Замок уже был в огне, когда я приехал. Гальяр крикнул с выражением непоколебимой уверенности только два слова: «во дворе!» Я бросился в парк. Как безумный стучал я в закрытые ставни. Гнилое дерево поддавалось моим усилиям. Я пробежал по комнатам, наполненным запахом тления, громко призывая тебя. Тебя там не было! Опрометью я бросился назад...

Возле трещащих балок, объятых огнем, я увидел маркиза с лицом, залитым кровью. На одной руке он держал плачущего мальчика, в другой дымящийся пистолет. Умирающий Гальяр лежал у его ног, а ты, как безжизненная, ухватила за его колени...

Я оторвал тебя. Ты взглянула на меня точно помешанная...

Маркиз резко расхохотался. «Поджигатель!» крикнул он. Я хотел уже броситься на него, но он заслонил себя ребенком—моим ребенком!

— Дельфина!—крикнул я.

— Свобода или ребенок!—прозвенел его голос, сквозь грохот обрушивавшихся стен.

Тогда ты отвернулась от меня... Я не упрекаю тебя. Ты не могла поступить иначе. Я навсегда прощаюсь с тобой!

ЭПИЛОГ.

Принц Фридрих-Евгений Монбельяр—Дельфине.

Этиоп, 21 июня 1827 г.

Дорогая маркиза. Со вчерашнего дня я примирился с жизнью.

После целых десятилетий жизни, богатой приключениями, я, наконец, вернулся в те места, где каждое дерево, каждый цветок священны для меня, где я, почти еще мальчик, впервые заключил в свои объятия единственное счастье моего сердца.

Я шел по аллее мимо высохшего пруда, заросших изгородей, к маленькому, белому замку, который задумчиво выглядывал из зелени мне навстречу.

И вот я увидел на полуразрушенных каменных ступенях какую-то черную фигуру, которая сидела, опустив на руки голову, окутанную вуалью.

Когда же я поспешно подошел к ней, то на меня внезапно взглянули глаза,—те глаза, которые точно звезды сияли мне всюду, вплоть до ледяных полей России!—твой глаза, Дельфина!..

Мы плакали оба... Мне кажется, это были слезы радости!

Завтра я возвращаюсь в Италию. С тех пор, как умер император, Франция мне стала чужой.

Я нарушаю обещание, которое я тебе дал. Я не вернусь больше в Лаваль...

Я не хочу унылой старческой дружбой разрушать светлое воспоминание о твоей верности и твоей любви..

ОГЛАВЛЕНИЕ.

Лили Браун—критико-биографический очерк Р. Григорьева.	7— 15
Письма маркизы.	17— 18
Годы девичества.	19— 41
Владетельница замка Фроберг.	42— 82
Немецкая трагедия.	83— 111
Пастушеские игры.	112—140
Дитя.	141—175
Калиостро.	176—207
Принц.	208—256
Последний акт.	257—310
Эпилог.	310



ИЗДАТЕЛЬСТВО „ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА“.

Состоящее при Народном Комиссариате по Просвещению издательство „ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА“ ставит своей задачей дать в переводе на русский язык все наиболее выдающиеся произведения мировой художественной литературы, начиная с конца XVIII века и до наших дней.

С этой целью Издательство „ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА“ выпускает в свет две серии книг: основную и народную библиотеку.

Основная библиотека заключает в себе собрание сочинений европейских, американских и колониальных писателей, избранных с таким расчетом, чтобы книги этой серии по окончании издания составили систематически подобранную библиотеку, могущую служить не только материалом для чтения, но также пособием к изучению истории мировой литературы во всем разнообразии ее национальных оттенков, литературных школ, течений и художественных форм изложения.

Составляя неразрывные части единого целого, книги основной библиотеки будут по техническим условиям выходить вне порядка, указанного в каталоге, а в зависимости от времени их напечатания.

Общее количество книг основной библиотеки — около 1500 томов. Средний размер тома — около 20 печатных листов (320 стр.).

Народная библиотека состоит из небольших по объему книг, доступных пониманию и восприятию самых широких масс русской демократии.

Пользуясь художественной литературой, как могучим средством культурного воздействия и международного единения, народная библиотека имеет целью познакомить читателей с наиболее интересными особенностями исторических судеб, культуры, быта и психики европейских наций, а главное — с теми сокровищами веками накопленных знаний и культурных навыков, которые, являясь достоянием всего человечества, служат надежным залогом братства всех людей — залогом грядущего Интернационала.

Количество книг народной библиотеки — около 2500 томов. Размер отдельного тома — около 4 печ. листов (64 стр.).

ИЗДАТЕЛЬСТВО „ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА“

Книги обеих библиотек снабжены необходимыми пояснениями и вступительными статьями как историко-литературного, так и общеобразовательного содержания.

В первую очередь выйдут в свет переводы с французского, английского, немецкого, итальянского, испанского, португальского, шведского, норвежского, датского и голландского языков. Вторую очередь составляет литература западных славян, мадьяр, а также отдельная обширная серия литератур и словесности Востока.

Заведующие Издательством: М. ГОРЬКИЙ, З. И. ГРЖЕВИН, И. П. ЛАДЫЖНИКОВ, А. Н. ТИХОНОВ.

Редакционная Коллегия экспертов: Ф. Д. БАТЮШКОВ, А. А. БЛОК, Ф. А. БРАУН, А. Л. ВОЛЫНСКИЙ, М. ГОРЬКИЙ, Н. ГУМИЛЕВ, Е. И. ЗАМЯТИН, А. Я. ЛЕВИНСОН, Г. Л. ЛОЗИНСКИЙ, А. Н. ТИХОНОВ, К. ЧУКОВСКИЙ.

В редакционной работе принимают участие: Е. А. АДАМОВ, В. А. АЗОВ, Ю. И. АЙХЕНВАЛЬД, А. В. АМФИТЕАТРОВ, А. М. АНИЧКОВА, Ю. К. БАЛТРУШАЙТИС, К. Д. БАЛЬМОНТ, А. Н. БЕНУА, Е. М. БРАУДО, В. А. БРИМ, А. А. БРОК, В. Я. БРЮСОВ, З. А. ВЕНГЕРОВА, А. В. ГАНЗЕН, М. О. ГЕРШЕНЗОН, А. А. ГИЗЕТТИ, З. Н. ГИППИУС, П. П. ГНЕДИЧ, И. М. ГРЕВС, Р. Г. ГРИГОРЬЕВ, Б. А. ГРИФЦОВ, П. К. ГУБЕР, А. Ф. ДАМАНСКАЯ, Ю. Н. ДАНЗАС, О. А. ДОБИАШ, М. А. ЖИРМУНСКИЙ, Б. Я. ЖУХОВЕЦКИЙ, С. М. ЗАРУДНЫЙ, Ф. Ф. ЗЕЛИНСКИЙ, ВЯЧ. ИВАНОВ, В. П. ИЗМАЛКОВА, ВЛ. КАРЕНИН, Л. П. КАРСАВИН, П. С. КОГАН, А. Ф. КОНИ, М. А. КУЗМИН, А. И. КУПРИН, М. Е. ЛЕВБЕРГ, Н. О. ЛЕРНЕР, Е. П. ЛЕТКОВА, М. Л. ЛОЗИНСКИЙ, А. В. ЛУНАЧАРСКИЙ, Е. Г. ЛУНДБЕРГ, Т. И. МАНУХИНА, П. П. МУРАТОВ, С. Ф. ОЛЬДЕНБУРГ, П. П. ПЕРЦОВ, С. А. ПОЛЯКОВ, Н. И. ПОТАПЕНКО, С. Э. РАДЛОВ, Э. Л. РАДЛОВ, А. М. РЕМИЗОВ, А. Н. РИМСКИЙ-КОРСАКОВ, А. Н. СЕРЕБРОВ, Б. П. СИЛЬВЕРСВАН, Ф. К. СОЛОГУБ, В. В. СТРУВЕ, П. ТУГЕНДХОЛЬД, Г. П. ФЕДОТОВ, В. Ф. ХОДАСЕВИЧ, М. ЦВЕТАЕВА, А. Н. ЧЕБОТАРЕВСКАЯ, В. А. ЧУДОВСКИЙ, Н. Л. ШАПЕР, С. В. ШТЕЙН, С. И. ШТЕЙН, С. Я. ШТРАЙХ, Б. М. ЭЙХЕНБАУМ и др.

ВЫШЛИ В СВЕТ И ПРОДАЮТСЯ.

ОСНОВНАЯ БИБЛИОТЕКА.

- | | |
|---------------|------------------------|
| А. ЛЕСАЖ | — Хромой бес. Тюркаре. |
| Г. ДЕ-МОПАСАН | — Милый друг. |
| | — Сильна как смерть. |
| А. ФРАНС | — Остров Пингвинов. |
| ЛИЛИ БРАУН | — Письма маркизы. |
| Г. ФЛОБЕР | — Саламбо. |

НАРОДНАЯ БИБЛИОТЕКА:

№№

- | | |
|--------------------|---------------------------|
| 1. О. МИРБО | — Деревенские рассказы. |
| 2. МУЛЬТАТУЛИ | — Рассказы. |
| 3. МАРК ТВЭН | — Приключения Тома. |
| 4. Г. Д'АННУНЦИО | — Пескарские рассказы. |
| 5. А. ШАМИССО | — Петер Шлемиль. |
| 6. А. ФРАНС | — Дело уличного торговца. |
| 7. Г. АВ-ГЕЙЕРСТАМ | — Любовь и др. рассказы. |
| 8. РОБИН ГУД | — Баллады |

ГОТОВЯТСЯ К ПЕЧАТИ.

ОСНОВНАЯ БИБЛИОТЕКА:

- | | |
|---------------|----------------------------|
| ГОНКУР | — Братья Земганно. |
| Б. ИБАНЬЕС | — Власть мертвых. |
| | — Проклятый хутор. |
| А. ФРАНС | — Восстание ангелов. |
| Г. ФЛОБЕР | — Воспитание чувства. |
| Ч. ДИККЕНС | — Повесть о двух городах. |
| " " | — Наш общий друг. |
| " " | — Большие ожидания. |
| " " | — Жизнь и приключения Ни- |
| " " | колая Никкльби. |
| " " | — Жизнь и приключения Мар- |
| | тина Чеззльвита. |
| ВАЛЬТЕР СКОТТ | — Домби и Сын. |
| | — Уэверли. |
| А. ЛЕСАЖ | — Роб-Рой. |
| | — Жиль Блаз. |

НАРОДНАЯ БИБЛИОТЕКА:

Г. УЭЛДС

„ „
„ „

Г. ДЕЛЕДДА
ВОЛЬТЕР

„ „
„ „
„ „

С. Т. КОЛЬРИДЖ
Б. ИБАНЬЕС
Г. Р. ХАГГАРД
О. УАЙЛЬД

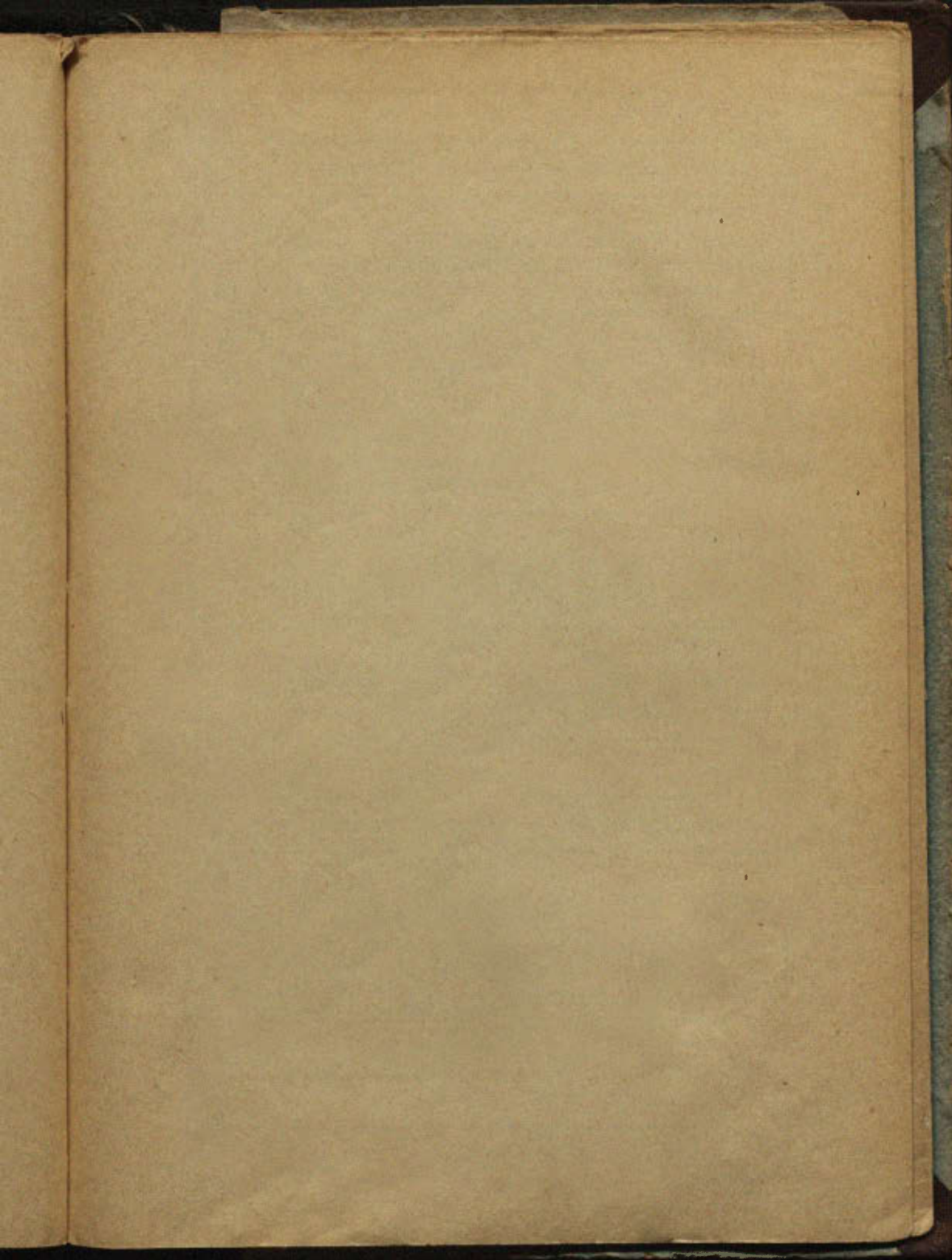
„ „

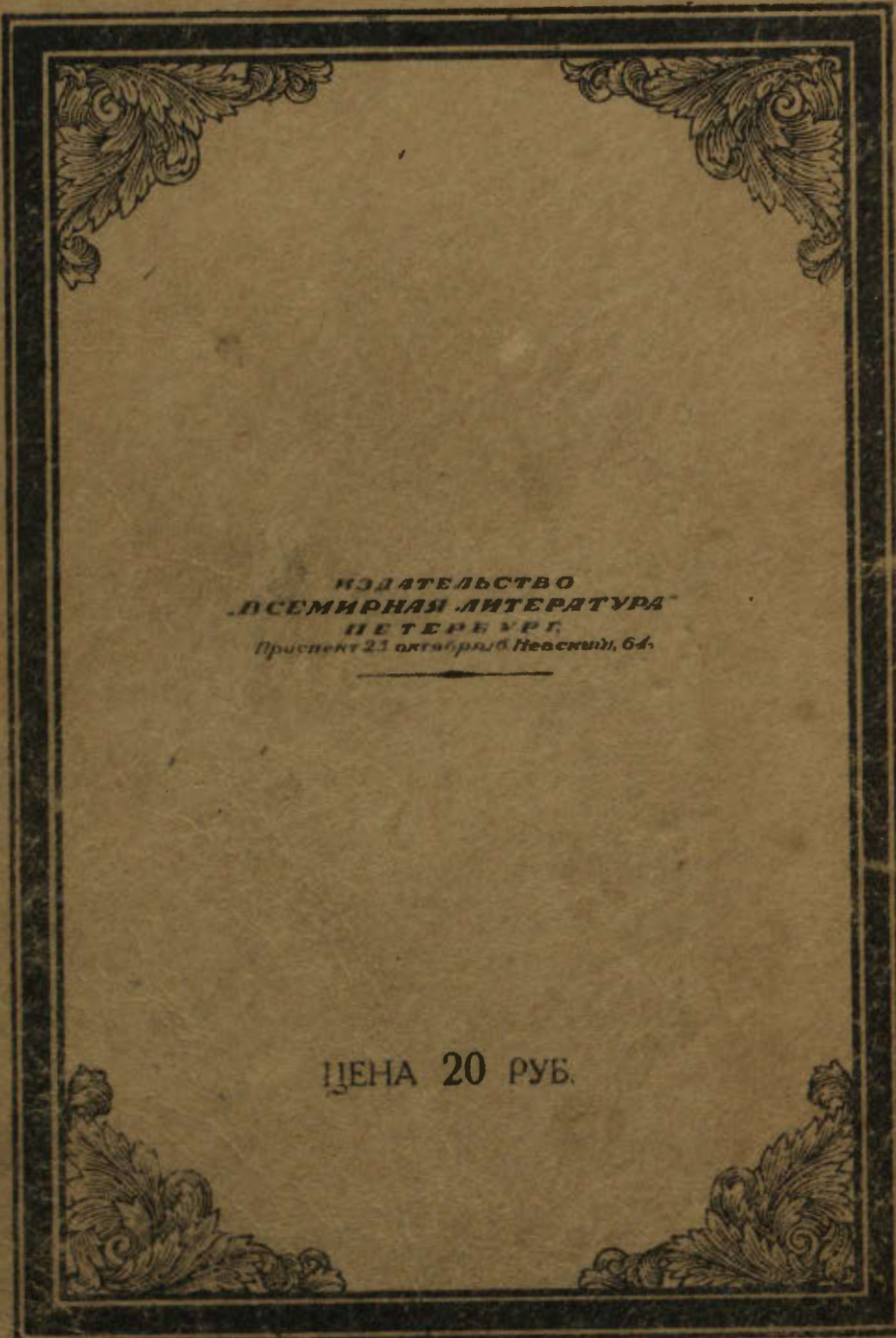
МАРК ТВЭН
ВАЛЬТЕР СКОТТ
ШИЛЛЕР
А. ФРАНС

М. СЬЕРРА
Л. НОРДСТРЕМ
ДЖ. М. БАРИ
Ю. ЮРГЕНСОН
О. ГОЛЬДСМИТ
Г. ФЕДЕРЕР
Д. ЛОНДОН
Г. БАНТ
Ч. ИЕНСЕН

- Спящий пробуждается
- Машина времени.
- Невидимка.
- Борьба миров.
- Сардинские рассказы
- Задиг.
- Кандид.
- Повести.
- Принцесса Вавилонская.
- Белый бык.
- Поэма о старом моряке.
- Валенсианские рассказы.
- Копи царя Соломона.
- Сказки.
- Гранатовый дом.
- Рассказы.
- Принц и нищий.
- Черный карлик.
- Разбойники.
- Чудо св. Николая.
- Сказка о сорочке.
- Благословенная весна.
- Обыватели.
- Белая птичка.
- Африканские рассказы.
- Векфильдский священник.
- Прометей и др. рассказы.
- Сын волка.
- Четыре дьявола.
- Гиммерландские рассказы.







ИЗДАТЕЛЬСТВО
ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА
ПЕТЕРБУРГ
Приспект 23 октября в Неаскиди, 64.

ЦЕНА 20 РУБ.